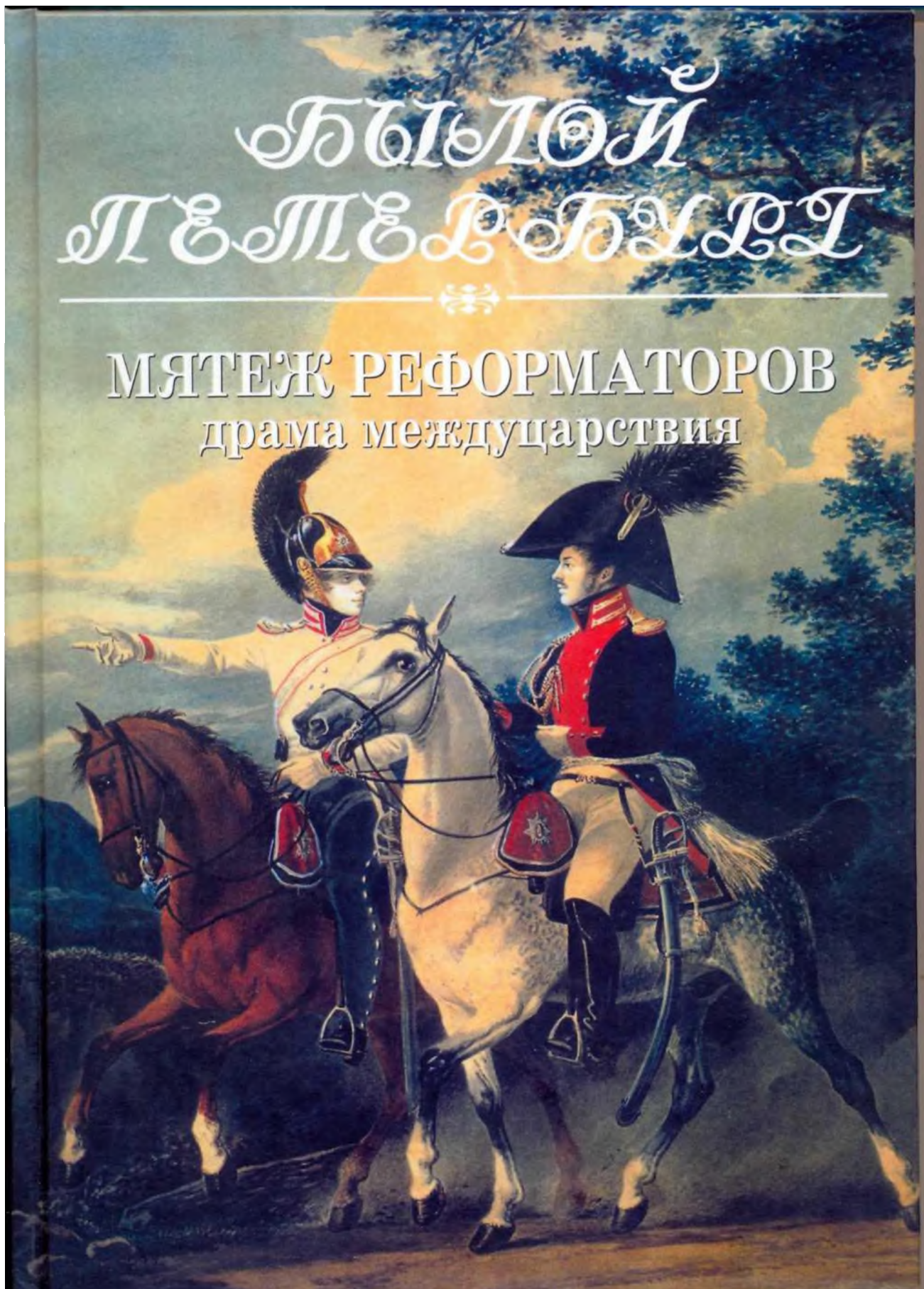


БЫЛОЕ ЛЕТЕЛО ВУДИ

МЯТЕЖ РЕФОРМАТОРОВ
драма междуцарствия



БЫЛОЕ ПЕТЕРБУРГ

**РУССКИЙ ДВОРЯНИН
ПЕРЕД ЛИЦОМ ИСТОРИИ**

19 ноября — 13 декабря
1825 года



Я. А. Гордин

**МЯТЕЖ
РЕФОРМАТОРОВ**

драма междуцарствия



ББК 84.Р7 Г
68 УДК 008

Редактор М. А. Александров

Оформление серии В. П.
Веселков

Оформление тома Л. В.
Жебровская

Издание исправленное и дополненное

На лицевой стороне переплета: А. Орловский. Портрет братьев
Владимира и Павла Пестелей. 1813 г.

ISBN 5-89803-150-2 (кн. 12)
ISBN 5-89803-009-3

© Я. А. Гордин, 1989, 2006 (с изменениями). ©
В. П. Веселков, 2006. © Л. В. Жебровская, 2006.

С восстанием крестьян неминуемо соединены будут ужасы, которых никакое воображение представить себе не может, и государство сделается жертвою раздоров и, может быть, добычею честолюбцев.

Полковник Трубецкой, 1844

Мы не хотим вызвать революцию, напротив, мы хотим предотвратить ее.

Полковник Бок. 1818



ВЛАСТЬ И ГВАРДИЯ

Падение постепенное дворянства; что из
того следует? восшествие Екатерины II,
14 декабря и т. д.

Пушкин

Солдаты реформ

В истории России XVIII—начала XIX веков есть явление, не имеющее аналогов в жизни европейских стран того же периода. Впрочем, я бы затруднился найти аналог этому явлению в европейской истории вообще. Явление это — политическая роль русской гвардии.

Невозможно достаточно полно понять период нашей истории от Петра I до Николая I, не исследовав политическую историю гвардии. Работа эта между тем еще не проделана. Не изучен с достаточной точностью социальный состав гвардии, характер и динамика его изменения. И эта неизученность рождает исторические мифы.

Речь идет именно о политической истории, ибо после окончания Северной войны на протяжении многих десятилетий XVIII века гвардия не принимала сколько-нибудь активного участия в масштабных военных действиях. Главной сферой деятельности гвардейских полков оказалась чистая политика.

Слово гвардии стало решающим во все переломные моменты русской истории с 1725 по 1825 год. Хотя внутривнутриполитическая роль ее была определяющей и в предшествующие два десятилетия.

Жанр и задача данной книги исключают возможность углубленного исследования этой проблематики, но беглый обзор участия гвардии в политической жизни страны, ее роли в создании нового государства необходим. Иначе останется неясным и реальное соотношение сил в ноябре-декабре 1825 года, когда - в очередной раз - решилась судьба России.

Необходимо также попробовать понять мотивы действий гвардии на разных этапах русской истории.

«Весь узел русской жизни сидит тут», — сказал Лев Николаевич Толстой о периоде петровских реформ.

Одна из главных нитей, образовавших этот узел, была разрублена, а если угодно — разорвана сотнями воюющих чугунных шариков, посланных в пятом часу пополудни 14 декабря 1825 года от угла Адмиралтейского бульвара и Сенатской площади в сторону монумента создателя гвардии. А мишенью были стоящие возле монумента мятежные гвардейские батальоны, взбунтовавшиеся, по сути дела, против результата титанического деяния Петра — основанной на всеобщем рабстве военной империи. Но этому предшествовало для гвардии наполненное событиями столетие...

Гвардия была первым и, может быть, наиболее совершенным созданием Петра. Эти два полка — шесть тысяч штыков — по боевой выучке и воинскому духу могли потягаться с лучшими полками Европы.

Гвардия была для Петра опорой в борьбе за власть и в удержании власти. Гвардия была для Петра «кузницей кадров». Гвардейские офицеры и сержанты выполняли любые поручения царя — от организации горной промышленности до контроля за действиями высшего генералитета.

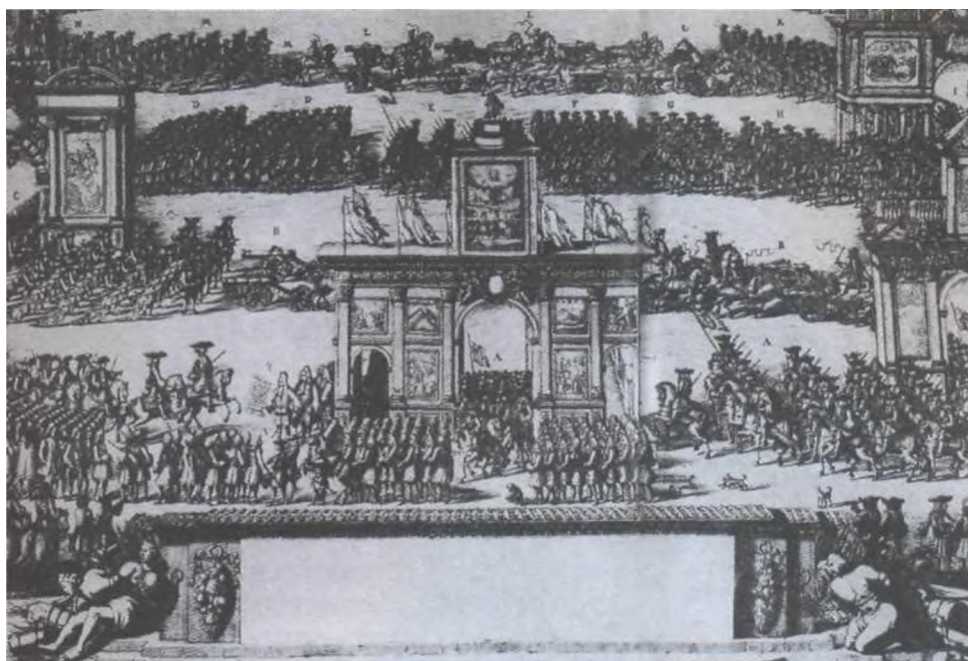
Гвардия всегда знала свой долг. Так она была воспитана. Гвардия казалась Петру той идеальной моделью, ориентируясь на которую он мечтал создать свое «регулярное» государство — четкое, послушное, сильное в военном отношении, слаженно и добросовестно работающее.

Гвардия боготворила своего создателя. И недаром. Дело было не только в почестях и привилегиях. Петр дал семеновцам и преображенцам мощное самоощущение участия в строительстве священного храма нового государства. Гвардеец не только был, но и осознавал себя государственным человеком. И это совершенно новое для маленького русского человека самоощущение давало петровскому гвардейцу необыкновенные силы.

Стрелец царя Алексея Михайловича тоже был патриотом. Но он стоял за традицию, за незыблемость или медленную эволюцию государственного быта, сливающегося для него с бытом домашним, его идеалом было сохранение окружающей его жизни и ее эталонных ценностей. Петровский гвардеец понимал себя создателем нового и небывалого. В отличие от стрельца, он был куда меньше связан с бытом, он был аскетичнее. Он был предан будущему. Он жил с ощущением постоянного порыва, движения, совершенствования. Он был человеком реформ как жизненного принципа.

Именно это мироощущение и самоощущение, а не бритый подбородок и европейский мундир принципиально отличали петровского гвардейца от солдата допетровского.

Но в том же могучем самоощущении берет начало и та трагическая раздвоенность, то несовпадение личных возможностей и условий для их реализации,



*Возвращение гвардии в Москву после Полтавской победы.
Гравюра А. Ф. Зубова. 1710 г. Фрагмент.*

которые радикально влияли на политическое поведение гвардии с 1725 по 1825 год.

Петр пытался вырастить деятельных, инициативных людей с чувством личной ответственности — в условиях жестокого самодержавного деспотизма, ни одной из прерогатив которого он поступиться не желал.

Он хотел вырастить рабов с деловыми качествами свободных людей.

Петр разбудил жажду ответственного действия в русском человеке — в русском дворянине прежде всего — и поместил его при этом в жесткую структуру

военно-бюрократической деспотии. И если при жизни Петра система обладала еще определенной внутренней динамикой и гибкостью, которые сообщала ей сверхчеловеческая воля и энергия царя, то после его смерти она приобрела целеустремленную тенденцию к окостенению, к антиреформистскому бытию, к тому, что мы впредь будем называть ложной стабильностью.

Разумеется, в послепетровскую эпоху в правящем слое начались отбор и размежевание. Одни сохранили дух движения, совершенствования, созидания. Другие стремительно усвоили черты рабской подчиненности. Вторых оказалось значительно больше.

В 1718 году Александр Кикин, человек недавно еще очень близкий к царю, а теперь замешанный в дело царевича Алексея, вися на дыбе в застенке Тайной канцелярии, на вопрос Петра: «Как же ты, умный человек, пошел против меня?» — отвечал: «То-то, что умный, а уму с тобой тесно!».

Вот эта «теснота уму», Петром разбуженному, в условиях самодержавия, усовершенствованного и укрепленного тем же Петром, стала причиной драмы дворянского авангарда на много десятилетий вперед...



*Царевич Петр Алексеевич.
Миниатюра из Титулярника
царя Алексея Михайловича.
1672 г.*

Не представив себе, хотя бы в общих чертах, решающих событий этой сотни лет, событий, определенных вмешательством гвардии в политическую жизнь империи, не проследив, хотя бы конспективно, последовательный процесс превращения дворянской оппозиционности в дворянскую революционность, мы не поймем неизбежности взрыва 14 декабря и непоправимости случившегося в тот день.

Пушки на Истре

17 июня 1698 года под стенами Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря на берегу реки Истра встали лагерем четыре мятежных стрелецких полка.

Эти полки воевали под Азовом, несли тяжкую гарнизонную службу в захваченной крепости.

Но на Истру они пришли с последнего места службы, из города Торопец, где они нищенствовали и голодали, не получая жалования, терпели притеснения местных властей и тосковали по женам и детям, оставшимся в Москве.

Доведенные до отчаяния, стрельцы шли в Москву за справедливостью.

А на противоположном берегу реки уже ждали их Семеновский и Преображенский «потешные» полки, полки солдатского строя и артиллерия.

Стрельцов пытались уговорить. «Боярин и большого полку воевода» Алексей Семенович Шеин посылал к ним генерала Патрика Гордона, генерала князя Ивана Кольцова-Мосальского, дважды ходил в лагерь мятежников посольный воевода князь Иван Ржевский. Стрельцов убеждали, «чтоб они в винах своих великому государю добились челом и шли в указанные места, где им по ево, великого государя, указу быть велено, а противности и упорства не чинили».

Но стрельцы, чуявшие, что здесь, на берегу Истры, страшно решается их судьба, «во всем отказали и говорили невежливые и свирепые слова, и стали в упорстве, что иттить им к Москве; и обоз свой укрепили, и знамена распустили, и с пушки и с ружьем против большого полку ратных людей ополчились».

И боярин и большого полку воевода Алексей Семенович с товарищи, видя их, стрельцов, такую многую противность, велел для страха из пушек по ним выстрелить. И они, воры и противники, из обозу своего из пушек и из мелкого ружья большого полку по ратным людям стреляли ж и на вылазку выходили, и ясаками кричали, и знамена укрывались; и ранили бомбардира-иноземца, который от той раны умре, да дву человек подъячих, да солдата.

И боярин и большого полку воевода, видя их такую многую противность и непокорство, велел по ним из всех пушек стрелять. И они, противники, видя большого полку ратных людей крепкое ополчение, а в своей братьи многих раненых и побитых, знамена приклонили, и ружье покинули, и били челом великому государю виною своею...»

Так говорилось в донесении о разгроме взбунтовавшихся.

Тут надо сказать, что против стрелецких легких пушек Шеин и Гордон выставили 25 более тяжелых орудий.

Затем был скорый розыск и казнь зачинщиков. А по возвращении в августе того же года Петра из-за границы начался большой розыск и массовые казни стрельцов. Тут-то и вступила Россия окончательно в петровскую эпоху.

Вопрос о политической подоплеке стрелецкого выступления — непрост. Но некоторые историки склонны считать мятеж 1698 года спровоцированным теми невыносимыми условиями, в которые сознательно были поставлены стрелецкие полки. В. И. Буганов в предисловии к документам розыска писал: «Это движение ... неверно квалифицировалось как реакционный бунт стрельцов, инспирированный консервативным боярством и духовенством и направленный против петровских преобразований»¹. Опубликованный свод документов подтверждает это мнение.

Нет нужды идеализировать стрелецкое войско как военный и политический институт. Стрелецкое войско отжило свой век, а на памяти современников были кровавые стрелецкие бунты.

Но стрельцы были живыми людьми, а исторический поток состоит из конкретных человеческих судеб.

Мы можем попытаться представить себе психологическое состояние стрельцов, на глазах которых разваливался, уничтожался привычный, родной, освященный традицией мир.

На них наступала новая, чуждая, жестокая реальность, железная петровская эпоха. Они и рады были бы получить место в этой новой реальности. Они готовы были служить молодому царю — по-человечески, в пригодных для жизни условиях. Но для них не было места.

За несколько дней до столкновения с гвардейскими полками на Истре они составили царю челобитную: «Великому государю и великому князю Петру Алексеевичу ... с многоскорбне и великими слезами холопи твои, московские стрелецкие полки...» Так начиналась челобитная. А после перечисления обид и нестерпимых тягот заканчивалась: «А боярин и воевода князь Михаила Григорьевич

¹ Восстание московских стрельцов. 1689 год. М. 1980. С.3.

Рамодановский нас, холопей твоих, вывед по полкам из Торопца, велел рубить, а за что — того мы, холопи твои, не ведаем. Да мы же, холопи твои, слыша, что в Московском государстве чинится великое страхование, и от того города затворяют, а отворяют часу в другом или в 3-м, и всему московскому народу чинитца наглость. Да нам же слышна, что идут к Москве немцы и то, знатно, последуя брадобритию и табаку, всесовершенное благочестию испровержение. Аминь».

Стрельцов выгесняли из истории — политически и физически. И страх за собственную жизнь сливался в их душах со страхом за страну.

Стрельцам не оставляли иного выхода, кроме отчаянного, бесперспективного мятежа. И причина тут не только в личных качествах Петра или его доверенных лиц, а в принципиальной бескомпромиссности родившегося в эти дни российского неограниченного самодержавия. Бескомпромиссности, которая, будучи возведенной в политический принцип, привела к серии роковых столкновений с собственным народом и в конце концов к гибели империи.

Есть известия, что во время розыска о стрелецком движении Петр думал собрать нечто вроде земского собора.

«Сегодня царь решил выбрать из всех своих подданных: бояр, князей, офицеров, стольников, писцов, горожан и крестьян по два человека с тем, чтобы представить собравшимся на правах собора полную власть, допросить по его приказанию Софью об ее преступных замыслах. Затем они должны были определить наказание, которого она заслуживала, и всенародно объявить его», — писал 11 октября 1698 года австрийский дипломат Корб, находившийся в Москве.

Никаких иных известий о «соборе 1698 года» не сохранилось.

Петр перечеркнул собственную идею. И это крайне симптоматично. Очевидно, молодой царь инстинктивно искал поддержки у сословий, но узаконив свои действия по традиции XVII века советом с представителями сословий, Петр тем самым признал бы право сословий на участие в управлении государством. А он вовсе не хотел создавать подобный прецедент. И единолично принял решение о массовых казнях и лично в этих казнях участвовал.

Традиция земских сборов, которых академик Л. В. Черепнин насчитал за полтора предпетровских века 57, полагая причем, что на самом деле их было больше, — эта традиция была пресечена Петром навсегда.

В предпетровскую эпоху незаурядный мыслитель Юрий Крыжанич, всматриваясь в политический быт русского государства, пришел к выводу, что земские соборы, в критические моменты корректирующие действия верховной власти, спасают страну от «людодерства» — тирании — как постоянной формы политического существования. Суждение Крыжанича безусловно. В эпоху «людодерства» Ивана Грозного соборы своей функции не выполнили. Но потенциально они могли развиваться в представительную систему.

Я пишу здесь об этом потому, что первой акцией, которую планировали вожди декабристов после своей победы, был созыв всероссийского собора для определения государственного устройства...

А пока что на берегах Истры прекрасно вооруженная и обученная гвардия — главная ударная сила карательного корпуса, без колебаний преданная своему создателю, — с легкостью ликвидировала попытку стрельцов отыскать справедливость — как они ее понимали.

Политика по-гвардейски

Когда в середине 1710-х годов — после Полтавского триумфа, после завоевания Финляндии, сделавшего положение Петербурга незыблемым, — Петр обратился к делам внутренним и попытался наладить государственный механизм и справиться с галопирующей коррупцией, то оказалось, что единственным рычагом, на который царь может налегать всей тяжестью, не рискуя обломать его, является гвардия.

То, что гвардейские полки — шесть тысяч телохранителей — есть гарантия удержания Петром власти, было ясно еще с первых лет царствования. По

свидетельству Берхгольца, Петр часто говорил, что «между гвардейцами нет ни одного, которому он бы смело не решился поручить свою жизнь».

Использование гвардейцев разных рангов для самых неожиданных поручений практиковалось давно. В 1706 году к фельдмаршалу Шереметеву, главнокомандующему русской армией, направленному для подавления астраханского восстания, приставлен был в качестве личного представителя государя гвардии сержант Михайло Щепотев.

Щепотев получил по указу Петра очень большие полномочия. «Что он вам будет доносить, извольте чинить», — наказывал царь фельдмаршалу. И не главнокомандующий, а гвардии сержант пользовался полным доверием царя. Гвардии сержанту вручалось право «смотреть, чтоб все по указу исправлено было, и буде за какими своими прихоти не станут делать, или станут, да медленно, — говорить; а буде не послушают, сказать, что о том писать будешь ко мне».

Вдумаемся — сержант может не только контролировать действия фельдмаршала, но и делать ему замечания, фактически — приказывать.

Щепотев — фигура типичная. Недаром Лев Толстой выбрал его одним из главных героев романа о Петре. Щепотев — в центре двух больших набросков этой начатой и брошенной Толстым исторической эпопеи.

Щепотевы — хорошая дворянская фамилия. И хотя мы не знаем из какой — благополучной или оскудевшей — ветви ее происходил гвардии сержант, но по всему видно, что жизненную ставку он сделал на военную и государственную карьеру. Толстой моделировал его судьбу на меншиковский лад — смелый, решительный, смысленный, преданный царю молодой человек из низших слоев (хоть и дворянин). Другого такого гвардии сержанта — Украинцева — Петр позже послал начальствовать над Уральскими государственными заводами, несмотря на полную его некомпетентность в горном деле. Этот подход хорошо знаком нам по большевистским временам. Для Петра, несмотря на весь его прагматизм, идеологическая преданность часто играла первенствующую роль. Гениальный самоучка, он был уверен, что преданность и напор компенсируют профессиональную неопытность.

Так именно и было со Щепотевым. Как военачальник он, разумеется, Шереметеву в подметки не годился и натворил много глупостей. Но никакие жалобы оскорбленного фельдмаршала не принимались в расчет московским штабом, созданным для руководства карательными операциями в отсутствие Петра. Щепотеву сходило с рук все что угодно. Вплоть до того, что, к изумлению Москвы, гвардии сержант вместо фельдмаршала принимал депутации мятежных астраханцев, даже не ставя главнокомандующего в известность.

Нам чрезвычайно важно представить себе самоощущение этого гвардейского «птенца», которого отнюдь не смущал и не тяготил его малый чин. И у нас, к счастью, есть такая возможность, ибо, понимая себя личным эмиссаром царя, Щепотев взял на себя истинно царскую функцию и стал издавать «указы». — «По именному де великого государя указу послан с Москвы Преображенского полку бонбандирской роты уандер офицер Михайло Иванович Щепотев от его царского пресветлого величества х кавалеру Борису Петровичу Шереметеву да х князю Петру Ивановичу Хованскому, а с ним, уандер офицером послано солдатских пехотных полков двенадцать и велено, соединясь с ним, кавалером идти на низ до Астрахани»². И далее «указ» предписывал жителям городка Черный Яр принять и поселить полки.

Если вчитаться в текст «указа», то становится ясно, что гвардии сержант считал себя равным фельдмаршалу. Он должен был «соединиться» с ним, а не поступить в его подчинение. И можно было бы счесть преобразенца Михаилу Щепотева Хлестаковым XVIII века, если бы мы не знали, что, являясь доверенным лицом государя, он обладал в корпусе Шереметева, по сути дела, большей властью, чем сам фельдмаршал.

Шереметев боялся Щепотева.

² Цит. по: Голикова Н. Б. Астраханское восстание 1705—1706 гг. М., 1975. С. 285.



*Император Петр I.
Гравюра с портрета
работы К. Моора. 1717 г.*

Гвардейские сержанты копировали своего властелина. Гвардии сержант чувствовал себя хозяином мира. Эта безграничная самоуверенность и погубила Щепотева — на следующий год он погиб, штурмуя с горстью солдат шведский военный корабль, который принял сперва за купеческое судно. Это ощущение владения миром, умение в решающий момент подогнуть жизнь под колено, этот безудержный напор и насилие давали, конечно, быстрые результаты. Но построить что-либо прочное и долговечное таким образом было невозможно...

Если до середины 1710-х годов использование гвардейцев на таких ролях было эпизодическим, то с этого переломного времени оно стало системой.

Необычайность особого статуса гвардейца делалась все грандиознее.

Когда в правительствующем Сенате — высшем государственном органе, управлявшем страной в отсутствие царя, — возникали разные конфликты, кто оказывался в роли судей?

В 1717 году сенатор князь Яков Долгорукий «без приговору всех сенаторов общего, самовластно, своею силою, являя всем страх и по каким-то своим злобам, поехав в застенки один... фискала Безобразова пытал жестоко, а другие сенаторы для той пытки, кроме племянника его, князь Михаила Долгорукого, никто не ездили». Сенаторы, считая это нарушением обязательного коллегиального принципа, пожаловались царю. Кто же был назначен разбирать конфликт первых сановников государства? Три гвардейские офицера — майоры Дмитриев-Мамонов и Лихарев и поручик Бахметев. Никакого отношения к Сенату они не имели, но, как преображенец Щепотев, эти трое оказались облечены властью судить сенаторов потому, что они были — гвардейцы.

Когда в 1723 году судили сенатора Шафирова, то, наряду с такими персонами, как сенаторы Брюс и Мусин-Пушкин, в состав суда вошли два гвардейских капитана — Бредихин и Баскаков, два «государева ока».

Когда во время податной реформы, начавшейся в конце 1710-х годов с переписи населения, гражданские чиновники и армейские офицеры не справлялись с этой гигантской задачей или саботировали ее, то для контроля и устрашения по стране рассылались десятки гвардейских офицеров, сержантов и солдат, наделенных огромными полномочиями. Крупных чиновников из местной администрации гвардейцы держали «в окопах на цепях и в железзах непрестанно». Тем, кто запаздывал в отправке ревизских сказок в столицу, гвардейскими эмиссарами «чинено... жестокое наказание батожем и держаны в тюрьме многие числа».

По своим функциям это была новая опричнина, вставшая де факто между царем и всеми остальными.

Хронологически возникновение этой «гвардейской опричнины» как систематического и последовательного явления идеально совпадает с периодом «дела царевича Алексея» — моментом открытого кризиса во взаимоотношениях Петра и России.

Трезвый исследователь эпохи Павел Николаевич Милюков писал: «Мы имеем ... наглядное доказательство того высокого доверия, которое Петр, вообще такой недоверчивый, выказывал своей дворянской ³ гвардии. В ту пору, когда, как мы видели, он стал сомневаться в своих ближайших сотрудниках и товарищах, — для того чтобы расследовать их темные дела, наказать их и вообще дать им понять, что он может обойтись и без них, — Петр не нашел ничего лучшего, как обратиться к своим майорам гвардии. Это был его последний ресурс. Майоры, полковники и капитаны гвардии явились председателями следственных комиссий и членами судов, обнаруживших целый ряд хищений и беспорядков в деятельности ближайших помощников Петра. Известен рассказ Фокеродта, что в последний год жизни Петр, „потеряв всякое терпение“, сам вошел во все подробности следственных дел, посадил возле себя, в особой комнатке своего дворца, одного из таких доверенных людей, генерал-фискал Мякинина, и на его вопрос, отсекать ли ветви или рубить самый корень, ответил: „искореняй все!“ ⁴.

Да, в последние годы и месяцы жизни Петр, видя неожиданные результаты своей деятельности — тотальную развращенность соратников, которой он и приписывал неудачи во внутренней политике, готов был «искоренять все» руками полковника Мякинина и иже с ним. Он готов был все и вся заменить верными и честными гвардейскими офицерами и сержантами. Гвардию коррупция если и коснулась, то в незначительной степени — нам неизвестны «гвардейские дела» о взятках или воровстве.

«Потеря терпения», тяжелое душевное состояние Петра в последние годы, о котором выразительно писал Ключевский, напоминает нам предсмертную драму другого великого демиурга — Ленина. Но, в отличие от свирепого реформатора XX века (который, быть может, того не сознавая, шел по стопам первого императора), Петр не пытался сменить модель — он просто не знал, по своему психологическому устройству, другого пути. Внутриполитический кризис он по-прежнему старался забить внешнеполитической активностью — кончилась двадцатилетняя Северная война, тут же началась Персидская. Изнурением основной территории страны добывались все новые пространства. Приобретение новых пространств оправдывало крайнюю степень военизации государства. Военизация государства давала возможность придавать положению видимость стабильности, используя верность и жестокую энергию гвардейских эмиссаров.

Использование военной силы для решения внутриполитических и экономических задач всегда есть признак не только кризисности положения и неорганичности структуры управления, но и растерянности власти. Когда Кромвель вошел в неразрешимый конфликт с парламентской системой Англии и не знал, как из него выйти, то он — при всем его незаурядном уме и политическом чутье — не нашел ничего лучшего как ввести знаменитый режим генерал-майоров, отдав страну в руки лично ему преданных боевых соратников, своих гвардейцев. Но, в отличие от Петра, он быстро понял порочность этого принципа и отказался от него. Россия же была отдана во власть военизированного управления — на столетия.

Одной из главных неудач Петра было то, что ему не удалось создать единую структуру управления, пронизывающую государственный аппарат, армию и гвардию, церковь, податные сословия. Он подходил к этой грандиозной задаче чисто механистически, не желая учитывать жизненные интересы различных групп. Интересы чиновничьего аппарата и армии совпадали только частично. Аппарат к

³ Термин «дворянская гвардия» вызывает серьезные сомнения, тем более что сам Милюков страницей ранее писал о комплектовании «потешных» из придворных товарищей юного царя, мелких дворян и «совсем простого происхождения ребят». Гвардия включала в себя выходцев из всех сословий (мы в этом еще убедимся) и была явлением принципиально внесословным.

⁴ Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 3. Вып. первый. СПб., 1903. С. 153.

концу 1710-х годов оказался чисто функционален по отношению к армии. Он существовал главным образом для того, чтобы снабжать армию всем необходимым, грабя податные сословия. Естественным образом интересы податных сословий категорически не совпадали с интересами аппарата и армии. Государство стремилось взять у народа как можно больше, ничего не давая взамен. Менее всего оно выполняло свою роль защитника гражданина. Он был беззащитен перед бесчинством чиновника или тем более офицера, сержанта, солдата.

К концу царствования Петра в стране явно обозначились две параллельные структуры управления — гражданская и военная. Элитой второй структуры была гвардия в своей политико-административной ипостаси.

Гражданский аппарат по сравнению с гвардией был неотлаженным, неуклюжим, медлительным, вороватым, лишенным сознания своей миссии, которое было так сильно в гвардии. Гвардия встала высоко над аппаратом и безжалостно контролировала его. Гвардейский сержант мог, как мы знаем, посадить чиновника куда выше себя чином «на цепь», бить его батогами.

Мы знаем, какое огромное значение придавал Петр всем видам государственного контроля над всеми видами деятельности подданных. Вместе с образованием Сената создан был и институт фискалов — государственных контролеров. Руководители и этого воинства — обер-фискалы — не оправдывали доверия царя и попадали на плаху. Не вполне доверял Петр и рядовым фискалам. Когда по настоянию обер-фискала Нестерова решено было начать следствие по делу сибирского губернатора князя Гагарина, эта миссия поручена была не чиновникам-фискалам, а гвардии майору Ивану Лихареву, соратнику гвардии майора Дмитриева-Мамонова на розыском поприще.

А в 1721 году Петр издал следующий красноречивый указ: «Понеже государственного фискала вскоре еще выбрать не можем: того ради пока оный учинен будет определяем по одному из штаб-офицеров от гвардии быть при сенате, перемещаясь помесечно».

Это очень важный документ. Дело не только в лишнем подтверждении уникальной роли гвардейцев в организации всеобъемлющего государственного контроля и регулирования, но и в том, что, судя по этому указу, круг гвардейских офицеров, принимавших участие в этой деятельности, был чрезвычайно широк: они сменялись ежемесячно!

Когда Милуков писал, что майоры гвардии оказались «последним ресурсом» Петра, он имел в виду совершенно определенное явление, которое историки назвали «майорскими розыскными канцеляриями»⁵.

Возникновение «майорских розыскных канцелярий» объясняется недоверием царя всем звеньям аппарата. Первые наброски этих канцелярий появились уже в 1713 году, когда гвардии майор Иван Ильич Дмитриев-Мамонов послан был в Вологду с приказом расследовать «экономические преступления» тамошних купцов и проверить сведения о взяточничестве наборщиков рекрутов. Но конституированы майорские канцелярии были специальным указом в конце 1717 года — в разгар следствия по делу царевича.

Майорские розыскные канцелярии никак не входили в общую аппаратную структуру, являясь, с существенными оговорками, прообразом секретных комитетов Николая I. Эта была именно параллельная система, замыкавшаяся — что особенно важно — только на самого царя. Так же как секретные комитеты отчитывались перед создававшим их императором. И то, и другое было попыткой противопоставить что-то бюрократии, уже в петровские времена осознавшей свой кастовый интерес и выработавшей способы защиты этого интереса.

⁵ История «майорских розыскных канцелярий» исследована в работе В. И. Веретенникова «История тайной канцелярии петровского времени». Харьков, 1910.



Деревянный Петропавловский собор в земляной крепости. Гравюра. Начало XVIII в.

На примере первой и едва ли не самой значительной из майорских канцелярий — канцелярии Ивана Дмитриева-Мамонова — можно понять основополагающий принцип их образования.

Гвардии майор Дмитриев-Мамонов, Рюрикович и свойственник царя (женатый морганатическим браком на племяннице Петра царевне Прасковье), начал службу еще в потешном Преображенском полку. (Это, кстати, еще раз подтверждает огромный социальный и сословный разброс состава гвардии — от Рюриковича до вчерашнего конюха.) Отличился в боях Северной войны. Был сотрудником Петра в составлении воинских уставов. То есть во главе первой «неформальной» розыскной организации Петр поставил лично близкого себе человека, дав ему огромные права — розыскная канцелярия гвардии майора могла сама арестовывать, вести следствие, пытать — «розыскивать накрепко» — и даже выносить приговор. При этом царь постоянно контролировал деятельность канцелярий, получая от них подробные донесения.

Главой другой канцелярии стал гвардии майор Семен Салтыков, принципиальный сторонник самодержавной власти, сыгравший большую роль в восстановлении самодержавия в феврале 1730 года. Канцелярия Салтыкова вела, в частности, следствие по делу о хищениях, к которому прикосновенны были такие персоны, как Меншиков и генерал-адмирал Апраксин.

Еще одной канцелярией ведал гвардии майор Андрей Ушаков, впоследствии грозный глава Тайной канцелярии при нескольких царствованиях.

В эту же систему входила и канцелярия гвардии подполковника князя Василия Долгорукова, специально расследовавшая злоупотребления Меншикова.

Одна из канцелярий занималась — параллельно с гласным следствием — исследованием дела о сообщниках царевича Алексея.

Можно сказать, что в 1715-1718 годах образовалась целая сеть этих гвардейских следственных органов, подотчетных только Петру и возглавлявшихся лично ему преданными лицами.

На основе этих гвардейских следственных органов, в процессе расследования дела царевича Алексея, выросла Канцелярия тайных розыскных дел — страшная секретная полиция с широчайшими полномочиями.

Те особые функции, которые возложены были Петром на гвардию, развили в ней сознание своей особости, своей вознесенности над всем остальным в стране. И это сознание осталось жить в умах гвардейцев — целое столетие.

Противопоставив гвардию бюрократии, Петр создал совершенно новую для России ситуацию. Наиболее активная часть дворянства — составлявшая костяк гвардии,

воспитанная в стремительном процессе реформ, после смерти императора уже органически не могла подчиниться правительствующей бюрократии, слиться с нею.

Ключевский специально обратил на это внимание. Говоря о дворцовых переворотах, которые имели куда более глубокий смысл, чем просто смена персон на престоле, он писал: «Одна особенность этих переворотов имеет более других важное политическое значение. Когда отсутствует закон, политический вопрос обыкновенно решается господствующей силой. Такой силой в русских дворцовых переворотах прошлого века была привилегированная часть созданной Петром регулярной армии, два гвардейских полка — Преображенский и Семеновский, к которым в царствование Анны прибавились два других — пехотный Измайловский и Конногвардейский. Гвардия принимала деятельное участие во всех затруднениях, возникавших из вопроса о престолонаследии. Ни одна почти смена на престоле в означенные 38 лет не обошлась без решающего вмешательства гвардии»⁶.

К сожалению, Ключевский не разработал этот сюжет, но на двух страницах, ему посвященных, он наметил ряд важнейших соображений, как совершенно точных, так и, с нашей точки зрения, требующих коррекции.

Первое самостоятельное выступление гвардии как политической силы произошло сразу после смерти первого императора. Ключевский суммирует сведения источников: «28 января 1725 г., когда преобразователь умирал, лишившись языка, собрались члены Сената, чтобы обсудить вопрос о преемнике. Правительственный класс разделился: старая знать, во главе которой стояли князья Голицыны, Репнин, высказывалась за малолетнего внука преобразователя Петра II. Новые неродовитые дельцы, ближайшие сотрудники преобразователя, члены комиссии, осудившей на смерть отца этого наследника



«Капрал докучает женкам».
Рисунок Ф. Васильева. 1719 г.

царевича Алексея, с князем Меншиковым во главе, стояли за императрицу-вдову. Пока сенаторы совещались во дворце по вопросу о престолонаследии, в углу залы совещаний как-то появились офицеры гвардии, неизвестно кем сюда призванные. Они не принимали прямого участия в прениях сенаторов, но, подобно хору в античной драме, с резкой откровенностью высказывали об них свое суждение, грозя разбить головы старым боярам, которые будут противиться воцарению Екатерины. Вдруг под окнами дворца раздался барабанный бой: оказалось, что там стояли два гвардейских полка под ружьем, призванные своими командирами — князем Меншиковым и Бутурлиным. Президент Военной коллегии (военный министр) фельдмаршал князь Репнин с сердцем спросил: „Кто смел без моего ведома привести полки? Разве я не фельдмаршал?“ Бутурлин возразил, что полки призвал он по воле императрицы, которой все подданные обязаны повиноваться, „не исключая и тебя“, — добавил он.

⁶ Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 27.

Это появление гвардии и решило вопрос в пользу императрицы. Когда в мае 1727 г. Екатерина опасно занемогла, для решения вопроса о преемнике собрались члены высших правительственных учреждений, Верховного тайного совета, Сената, Синода, президенты коллегий; среди них появились и майоры гвардии, как будто гвардейские офицеры составляли особую политическую корпорацию, без содействия которой не мог быть решен такой важный вопрос»⁷.

Ключевский не прав, следуя классической схеме и деля противоборствующие группировки по признаку родовитости или безродности. Расстановка сил была сложнее. Это очевидно из примера, лежащего на самой поверхности. Как совершенно справедливо пишет историк, Екатерину I возвели на престол гвардейские полки во главе с Меншиковым и Бутурлиным. Но если Меншиков — выразительнейший образец «нового человека», безродного деятеля, то его союзник Бутурлин — нечто противоположное. Потомок одного из древнейших дворянских родов, восходившего к полуполюгендарному Радше, служившему Александру Невскому (и, таким образом, дальний родственник Пушкина), Иван Иванович Бутурлин, чьи предки были боярами, ближними стольниками, окольными, должен был по простейшей логике примыкать к Голицыным и Долгоруким и держать сторону Петра II. Но вся карьера Бутурлина — свидетельство относительности сословного принципа подхода к политической борьбе петровского и послепетровского периода. Офицер Преображенского полка с момента его основания, родовитый Бутурлин оказался одним из самых надежных соратников Петра. Он колебался в 1725 году, прежде чем стал решительно на сторону Екатерины, тем более, что с Меншиковым у него были серьезные личные счеты. Но, сделав выбор, именно он сыграл решающую роль в судьбе престола.

Не менее характерна разность позиций родовитых братьев Апраксиных, один из которых, Петр, сенатор, крупный государственный деятель, арестованный в свое время по делу Алексея, но затем оправданный, принял вместе с князем Дмитрием Михайловичем Юлициным сторону Петра II, а генерал-адмирал Федор Апраксин соединился с Меншиковым и Бутурлиным.

Состав политико-психологических групп, как явствует из конкретных фактов, невозможно объяснить социально-сословными причинами. И в петровскую эпоху, и позже политические союзы в не меньшей степени определялись индивидуальным выбором, уровнем понимания исторической ситуации, степенью осознания своего долга перед страной и характером понимания этого долга. Речь шла, в конечном счете, о выборе генеральной модели развития России. Выбор этот делался иногда четко, иногда смутно, иногда с высокой долей компромиссности, но суть позиции, вектор движения и определял принадлежность человека к той или иной группировке.

Равно как и группировки в верхах и на уровне среднего шляхетства, гвардия постепенно отыскивала свой вектор, свое понимание пути реформирования и развития государства.

В цитированном уже наброске Ключевского есть важнейшее замечание: «...как будто гвардейские офицеры составляли особую политическую корпорацию...». «Политическую корпорацию» — не занимавшийся специально этой проблематикой Ключевский учуял суть ситуации: русская гвардия превращалась именно в политическую корпорацию.

Дав в нескольких фразах беглый обзор «переворотного периода», Ключевский далее формулирует фундаментальные положения: «Это участие гвардии в государственных делах имело чрезвычайно важное значение, оказав могущественное влияние на ее политическое настроение. Первоначально послушное орудие в руках своих вожakov, она потом становится самостоятельной двигателем событий, вмешиваясь в политику по собственному почину. Дворцовые перевороты были для нее подготовительной политической школой, развили в ней известные политические вкусы, создали настроение, привили к ней известный политический образ мыслей. Гвардейская казарма — противовес и подчас открытый противник Сената и Верховного тайного совета»⁸.

⁷ Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 27.

⁸ Ключевский В. О. Указ. соч. С. 29.

Это — мудрый пассаж. Но, вместе с тем, здесь есть чему возразить. Во-первых, подлинную политическую школу гвардия прошла еще при Петре. К эпохе дворцовых переворотов она пришла уже «политической корпорацией». Ее претензии на решение вопросов, подлежавших компетенции правительствующих учреждений — Сената и Верховного совета, — зиждились на воспоминаниях о той роли, которую отвел ей Петр в последнее десятилетие своего царствования, роли контролирующей и регулирующей силы, подотчетной только царю.

Во-вторых, вряд ли в 1725 и 1727 годах гвардия была просто «послушным орудием» в руках Меншикова и Бутурлина. Она была «послушным орудием» — идеальным орудием — в руках своего создателя. С его смертью она стала во многом самостоятельной силой. Гвардия пошла за Меншиковым и Бутурлиным потому, что их программа в этот момент совпала с программой, органически близкой гвардейской, — Екатерина представлялась преобразенцам и семеновцам гарантом буквального следования предначертаниям первого императора. Гвардия выбирала не просто царствующую особу — она инстинктивно выбирала принцип.

Причем выбирала гвардия не между петровской и допетровской Россией. Да, Голицыны и Долгорукие не были полными единомышленниками Петра. Более того, их можно считать оппозицией. Недаром обе семьи были причастны к делу царевича Алексея. Но ни князь Дмитрий Михайлович Голицын, крупный администратор и замечательный политический мыслитель, ни его младший брат Михаил Михайлович Голицын, блестящий генерал, герой Лесной, Полтавы, завоевания Финляндии, ни князь Василий Владимирович Долгорукий, один из любимых полководцев императора, поддерживая внука Петра, и не помышляли о возврате к допетровским временам. Их расхождения с Петром I касались не самой принципиальной необходимости проевропейских реформ, но характера и темпа этих реформ. Как выяснилось через пять лет, оба Голицына и Василий Долгорукий были сторонниками ограничения самодержавия и противниками безмерно возросшей единоличной бесконтрольной власти царя.

Меншиков, Бутурлин, Толстой — лидеры екатерининской группировки — исповедовали самодержавные принципы Петра и стояли за это направление реформы. Их последующее недолгое сотрудничество с Голицынами и Долгорукими было вынужденным компромиссом.

И гвардия, как видим, выбирала в январе 1725 года между двумя тенденциями политического реформирования страны: умеренного, но несомненного движения в сторону ограничения самодержавия и неизбежного при этом увеличения свободы в стране, с одной стороны, и дальнейшего развития и укрепления военно-бюрократического государства, основанного на тотальном рабстве, с другой.

До самого конца своего правления Петр искал способы уравновесить систему управления, способы создания политической стабильности в стране. Он штудировал европейские государственные установления и, проштудировав, отбрасывал. Он искал свой вариант — чтоб и самодержавие с рабством были целы, и подданные довольны и спокойны, чтоб строжайшая регламентация и «регулярность» торжествовали, и свободная инициатива развивалась во всех сферах.

Петр хотел добра своей стране. Он хотел страну организовать, сделать ее динамичной, единой, сильной. Для этого он и искал свою самодержавно-коллегияльную модель России.

В XVII веке земские соборы в известной степени объединяли государство и народ. Петр решительно оборвал этот вид связей, рассчитывая пронизать единой структурой аппарат управления, армию и народ.

Ему это не удалось. Если интересы аппарата и армии отчасти совпадали, то интересы народа отнюдь не совпадали с интересами аппарата и армии, составлявших государство. Процветание этого государства держалось на ограблении народа и подавлении его достоинства.

Внушить миллионам крепостных мужиков то почти религиозное почтение к государству, которое испытывала гвардия, Петр не смог. Да и никто не смог бы.

Противоречие это со временем должно было встревожить ум и совесть дворянского авангарда — людей не ослепленных самодовлеющим значением государства и потому не потерявших инстинкта социального самосохранения.

Однако был и еще один принципиальный фактор: государственный аппарат и армия (прежде всего квинтэссенция армейских идеалов — гвардия) отнюдь не были едины.

Разрушив старые связи, Петр не смог создать новые. Противопоставив гвардию бюрократии, он, как сказано, создал новую для России ситуацию. Консервативная по сути своей, замкнутая на собственные интересы «бюрократическая корпорация» мыслила государственную стратегию совершенно по-иному, чем «гвардейская корпорация» с дворянским авангардом во главе. У дворянского авангарда, мощно представленного в гвардии, вырабатывалась своя политико-психологическая задача.

Завоеванная страна

Роль армии, а особенно гвардии, росла с каждым годом петровского царствования. И это не было прихотью царя или его природным пристрастием к военному делу. В ситуации постоянной войны армия, естественно, выдвигалась на первый план. Страна работала на армию.



*Конклюзия Пресветлому
царскому Богом
сопряженному союзу".
Гравюра А. Ф. Зубова.
1715 г.*

Управлять военными методами, опираясь на гвардию, как на силу наиболее организованную, преданную и целеустремленную, Петру казалось правильным и эффективным.

Последние годы царствования главной заботой императора была податная реформа. Суть ее состояла в замене «подворной» подати податью «подушной». То есть единицей для налогообложения становился не двор (одно хозяйство), а душа — взрослый мужчина.

Целью реформы было финансирование армии, на которую при старой форме налога средств не хватало.

Реформа была выгодна государству, но не выгодна населению. Страна сопротивлялась. Военный нажим усиливался. Точность переписи достигалась пытками. Крестьяне отвечали побегам.

В 1724 году с западной границы доносили, что «приходят беглецы, собравшиеся многолюдством, с ружьем и с рогатины и с драгунами держат бой, яко бы неприятели». Яко бы неприятели... Доведенные до отчаяния мужики и в самом деле не считали драгун пограничных застав своими. Как не считали своими гвардейцев, выколачивавших точное число душ для ревизских сказок. Они готовы были бежать в

другую страну от этих непривычно одетых и преданных какому-то своему новому богу солдат.

Податная реформа имела прямым и важным следствием не просто увеличение дохода казны. После нее, после тщательной переписи каждый человек был учтен и крепко схвачен самодержавным государством.

«Вольные и гулящие люди», которые испокон веку были на Руси и которых вовсе не надо отождествлять с разбойниками и бродягами, загнаны были в крепостное состояние. «Вольные и гулящие люди» — самим фактом своего существования свидетельствовали о возможности свободного состояния. Это был крайне важный элемент общественного климата допетровской Руси.

Автор фундаментальной работы о податной реформе Е. В. Анисимов пишет: «„Вольным и гулящим“ не было места в сословной системе государства Петра. Их попросту приравнивали к беглым, уголовным элементам и преследовали в соответствии с этим»⁹.

Декабрист Михаил Александрович Фонвизин, замечательный политический мыслитель и историк, печально заметил: «В его (Петра. — Я. Г.) время в некоторых государствах западных крепостное состояние земледельцев уже не существовало — в других принимались меры для исправления этого зла, которое в России, к несчастью, ввелось с недавнего времени и было во всей силе. Петр не обратил на это внимания и не только ничего не сделал для освобождения крепостных, но, поверстав их с полными кабальными холопами в первую ревизию, он усугубил еще тяготившее их рабство»¹⁰.

В 20-е годы армейские полки стали размещаться в тех уездах, которые должны были их содержать. На помещиков была возложена обязанность построить специальные слободы для солдат. Строительство несметного количества специальных изб-казарм требовало массовой вырубке лесов и огромного крестьянского труда.

Если сравнивать ситуацию с временами Ивана Грозного, то можно сказать, что в результате податной реформы старая идея разделения страны на земщину и опричнину радикально трансформировалась — осталась одна всеобъемлющая опричнина.

Страна выбивалась из сил, но, уstraшенная военной мощью власти, не решалась на открытое сопротивление, а прибегала к обману на всех уровнях. Петру приходилось увеличивать и увеличивать сложную многоступенчатую систему контроля. В 1722 году учреждена была при Сенате должность генерал-прокурора с куда большими полномочиями, чем генеральный ревизор. Вместе с учреждением Сената учрежден был и институт фискалов — государственных контролеров.

Колеса гигантской государственной машины, непрерывно усложнявшейся, скрежетали надсадно. Зубец не попадал в зубец. Между персонами Сената и средним слоем бюрократов разгорался смертельный антагонизм. Фискалы жаловались царю: «А когда приходим в сенат с доношениями, и от князей Якова Федоровича (Долгорукого — Я. Г.) да от Григория Племянникова безо всякой нашей вины бывает к нам с непорядочным гордым гневом всякое немилосердие, еще-ж с непотребными укоризны и поношением позорным, зачем нам, рабам твоим, к ним и входить опасно. Племянников называет нас уличными судьями, а князь Яков Федорович — анти-христами и плутами».

Ставший впоследствии оберфискалом Алексей Нестеров доносил царю: «Некоторые из них, сенаторов, не только по данным им пунктам за другими не смотрят, но и сами вступили в сущее похищение казны вашей под чужими именами, отчего явно и отречься не могут: какой же от них может быть суд правый и оборона интересов ваших?»

В этом бурлении взаимной ненависти, борьбы группировок, которые отнимали значительную часть энергии государственного аппарата, гвардия как некая автономная, нейтральная сила по логике вещей должна была выполнять функции суперконтроля и регуляции.

Когда в 1722 году оберфискал Нестеров, шеф многочисленных доносчиков, оправдывая характеристику, данную ему князем Яковом Долгоруким, был уличен в

⁹ Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I. Л., 1982. С. 250.

¹⁰ Фонвизин М. А. Соч. и письма. Иркутск, 1982. Т. 2. С. 115.

крупных злоупотреблениях, пытан и казнен, то делом его вместе с генерал-прокурором Ягужинским занимался гвардии капитан Пашков.

В январе 1723 года на заседании Сената было объявлено: «Понеже бывший обер-фискал Нестеров явился ныне во многих преступлениях, того ради его императорское величество указал искать в генерал-фискалы и обер-фискалы добрых людей...»

Последние семь-восемь лет петровского царствования напряжение в стране нарастало.

Неспокойно было в армии. При расследовании дела царевича Алексея выявилась связь его с крупным военачальником князем Василием Владимировичем Долгоруким, который был закован и сослан. Выяснились небезосновательные надежды наследника на героя Лесной и Полтавы генерала Михаила Михайловича Голицына, надежды на знаменитого кавалерийского генерала Боура.

Солдаты армейских полков дезертировали тысячами, истомленные дальними и теперь уже не совсем понятными им походами в Европу, на Каспий, тяжким трудом на верфях, на каналах.

Как единая организация надежна была только гвардия.

Размышляя в сибирской ссылке о результатах петровского царствования, декабрист Фонвизин пришел к такому убеждению: «...Гениальный царь не столько обращал внимание на внутреннее благосостояние народа, сколько на развитие исполинского могущества своей империи. В этом он точно успел, приготовив ей то огромное значение, которое ныне приобрела Россия в политической системе Европы. Но русский народ сделался ли от того счастливее? Улучшилось ли сколько-нибудь его нравственное, или даже материальное состояние? Большинство его осталось в таком же положении, в котором было за 200 лет. Если Петр старался вводить в Россию европейскую цивилизацию, то его прельщала более ее внешняя сторона. Дух же этой цивилизации — дух законной свободы и гражданственности был ему, деспоту, чужд и даже противен. Мечтая перевоспитать своих подданных, он не думал вдохнуть в них высокое чувство человеческого достоинства, без которого нет ни истинной нравственности, ни добродетели.

Ему нужны были способные орудия для материальных улучшений по образцам, виденным им за границей...»¹¹.

Это удивительно точные слова. Но при этом декабрист упустил один существенный момент — сам того не желая, Петр дал толчок необратимому процессу, приведшему к возникновению таких людей, таких граждан, каким был сам генерал Фонвизин и его соратники. Парадоксальность процесса была в том, что порожденные им деятели выступили 14 декабря с оружием в руках против его результатов — неограниченного деспотизма, крепостного рабства, экономической ограниченности и политического авантюризма самодержавной империи.

Петр не хотел появления русских дворян декабристской формации — но он был их отцом.

Заботы Верховного тайного совета

Петр оставил своим наследникам государство в положении тяжком и угрожающем. Более чем двадцатилетняя Северная война, войны с Турцией и Персией истощили человеческие и финансовые ресурсы России.

Кроме того, к началу 1726 года стало ясно, что наспех созданная Петром структура власти не обеспечивает необходимого политического равновесия в верхах. Многих раздражало особое положение Меншикова. Его бестактность вызвала озлобление Сената. Правительственная междоусобица замедляла движение дел.

В январе 1726 года разнеслись слухи о возможном государственном перевороте, направленном против Екатерины и Меншикова в пользу царевича Петра. Ждали похода на Петербург с Украины главных сил русской армии, которыми командовал князь Михаил Голицын. Впервые возникла реальная опасность конфликта гвардии и

¹¹ Фонвизин М. А. Указ. соч. С. 114.

армии. Было ясно, что дело не только в правительственных склоках. Измученная страна требовала мер скорых и эффективных. И напряжение, идущее снизу, неизбежно передавалось верхам.

В этой ситуации был создан — в феврале 1726 года — Верховный тайный совет. «Быть при нас в Тайном верховном совете нижеписанным персонам: генерал-фельдмаршалу и тайному действительному советнику светлейшему князю Меншикову; генерал-адмиралу и тайному действительному советнику графу Апраксину; государственному канцлеру, тайному действительному советнику графу Головкину; тайному действительному советнику графу Толстому; тайному действительному советнику князю Голицыну; вице-канцлеру и тайному действительному советнику барону Остерману», — говорилось в указе императрицы Екатерины.

При этом Сенат, созданный Петром как высшая правительственная инстанция, был лишен теперь наименования «правительствующий» и отошел на второй план.



*Поющие слепцы.
Акварель И. А. Ерменева.
Около 1765 г.*

Иностранные дипломаты восприняли образование Совета как начало перехода к новой форме правления. Их догадки были небезосновательны. Верховный тайный совет, явившийся результатом компромисса между группировкой Меншикова и оппозицией, призванный объединить правительство в критический момент и сделать управление действенным, этот Верховный тайный совет вместе с тем фактически ограничил самодержавную власть императрицы. Правда, Екатерина вскоре попыталась нейтрализовать и этот предварительный шаг, введя в Совет своего зятя герцога Голштинского, который, как член царствующего дома, и занял там главенствующее положение. Но, как мы увидим, возникновение Совета имело последствия далеко идущие...

Верховный тайный совет занялся тем, что не удалось исправить Сенату, — положением крестьян и проблемой финансов.

Через несколько месяцев после своего возникновения совет рассмотрел обширную записку, в числе авторов которой были Меншиков и Остерман: «Как вредно для государства несогласие — о том нечего упоминать; это обнаруживается не только в духовных и других государственных делах, но и относительно бедных русских крестьян, которые не от одного хлебного недорода, но и от подати подушной разоряются и бегают, тако же от несогласия у офицеров с земскими управителями и у солдат с мужиками. Если армия так нужна, что без нее государству стоять невозможно, то и о крестьянах надо иметь попечение, потому что солдат с крестьянином, как душа с телом, и когда крестьянина не будет, тогда не будет и солдата. Теперь над крестьянином десять и больше командиров находится вместо того, что прежде был один, а именно из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из

гражданских — от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, называться могут; тому ж подобны и многие приказчики, которые за отлучкою помещиков своих над бедными крестьянами чинят, что хотят. Поэтому надо всему генералитету, офицерам и рядовым, которые у переписки, ревизии и экзекуции, велеть ехать немедленно к своим командам, ибо мужикам бедным страшен один въезд и проезд офицеров и солдат, комиссаров и прочих командиров, тем страшнее правож и экзекуции; крестьянских пожитков в платеж не достает, и крестьяне не только скот и пожитки продают, но и детей закладывают, а иные и врозь бегут. Надобно заметить, что хотя и прежде крестьяне бегали, однако бегали в своем государстве от одного помещика к другому, а теперь бегут в Польшу, к башкирцам, в Запорожье, в раскол: и так мы нашими крестьянами снабжаем не только Польшу, но и собственных своих злодеев».

Нет никаких оснований заподозрить патологического стяжателя Меншикова или холодного кондотьера Остермана в бескорыстном человеколюбии. Просто-напросто, внимательно исследовав положение разных слоев населения России, они ужаснулись возможным последствиям для государства, а, стало быть, и для самих себя этого всеобщего разорения. В записке не только о крестьянстве шла речь: «Купечество в Российском государстве едва не совсем разорено...»

После *долгих обсуждений*, в ходе *которых* всерьез говорилось, что де скоро подати брать не с кого будет, ибо податное сословие разбегается, решено было сделать крестьянам разные облегчения — в том числе убрать из деревень офицеров и солдат.

Но поскольку снижение податей означало сокращение доходов, то решено было сильно сократить бюрократический аппарат, съедавший массу средств.

Однако все это были полумеры. Рабство и бесправие крестьян, военно-полицейские способы управления были той злой почвой, на которой взрастал и усиливался политический и экономический кризис империи.

Политические аргументы

Если последним аргументом короля (царя, императора) является, как известно, артиллерия, то предпоследним можно считать ружье со штыком.

Поскольку политические группировки в России послепетровского периода не опирались на сколько-нибудь широкие общественные движения, что придавало политической борьбе простой и прямолинейный характер, то естественной опорой оставалась военная сила.

Гвардия возвела на престол Екатерину I. Прочного равновесия в верхах не наступило и после образования Тайного совета. Каждая группировка опиралась на очень конкретные воинские части.

Острый и внимательный наблюдатель полковник Манштейн, описывая в своих записках падение Меншикова в 1727 году, говорил: «В своем

смятении он худо сделал, что распустил по квартирам свой Ингерманландский полк, который он расставил было для своей безопасности близ своего дворца на Васильевском острове. Этот полк, которого Меншиков считался полковником с самого начала его образования, был вполне ему предан, и то верно, что он внушал не мало уважения врагам князя».

Ингерманландский полк, лично Меншиковым сформированный, был сильным полком трехбатальонного состава, прекрасно обученным и прошедшим с Александром Даниловичем многие сражения Северной войны. Фактически это была его личная гвардия. И его важный аргумент в политическом споре.

На следующий день после того, как ингерманландцы рассредоточились по ротным квартирам, Меншиков был арестован. Гвардейские полки поддержали не фактического, а законного главу государства — Петра II.

Но первой полностью осознанной политической акцией гвардии было устранение конституционалистов в 1730 году.

Избрание в 1730 году императрицей вдовствующей курляндской герцогини Анны Иоанновны, племянницы Петра I, в некоторых чертах своих напоминает избрание на московский престол Василия Шуйского в 1606 году. Выбранный на царство Земским

собором «узкого состава» — представителями сословий Москвы — через несколько дней после гибели Самозванца, Шуйский дал своим подданным весьма серьезные гарантии по сравнению с царствованиями Годунова и особенно Грозного.

Шуйский обещал каждому справедливый суд и наказание только по суду, неприкосновенность имущества осужденных, то есть отмену столь часто практиковавшихся в Московском государстве конфискаций фамильного достояния после казни или опалы одного из членов семьи; обещано было, что царь не станет слушать ложных доносов, все жалобы разбирать тщательно с очными ставками; царь обещал охранять безопасность граждан.

Шуйский провозгласил свои обещания в Успенском соборе перед московскими людьми — боярами, дворянами, посадскими, — а затем включил их в грамоты, разосланные по стране.

Как писал Ключевский: «...Царь Василий затеял небывалую новизну, поклялся ни над кем не делать никакого дурна без собора...»¹².

Академик Л. В. Черепнин считал, что «это было отступление от принципов самодержавия Ивана Грозного»¹³. Да, если помнить, что еще четверть века назад каждый житель Московского государства мог быть убит по прихоти царя и его присных, если помнить, что право бесконтрольно распоряжаться жизнью и смертью своих подданных, не говоря уже об их имуществе, считалось естественной прерогативой самодержца, то обещания Шуйского были моментом принципиально новым.

Шуйский правил в ситуации гражданской войны и нажима извне. Серьезного следа в государственной его практике обещания 1606 года не оставили.

Но они были. А такого рода прецеденты закрепляются в политическом сознании страны.

Как прецедент «запись Шуйского» сыграла роль на Соборе 1613 года при избрании на царство Михаила Романова. Ибо есть основания полагать, что и Михаил был при вступлении на престол ограничен схожими условиями.

Но и в том, и в другом случае это не было добровольным даром царя. Русская история доказывает, что каждая уступка была вырвана у российского самодержавия силой или угрозой силы. Путь России к формации Николая I отнюдь не был гладким и последовательным. Более двухсот лет — от крестьянской войны Болотникова до восстания 14 декабря — Россия отчаянно сопротивлялась, пытаясь сначала не допустить, а потом стряхнуть с себя неограниченное самодержавие и крепнувшее вместе с ним крепостничество. Двести с лишним лет самодержавие, несмотря на страшные уроки царствования Ивана Грозного и Смутного времени, волокло страну по этому катастрофическому пути, с огромной жестокой энергией подавляя попытки сопротивления. Так было, пока Николай I, расстреляв картечью мятежников 14 декабря, не сконцентрировал все политические, общественные и экономические пороки системы и не доказал результатами своего царствования, что так жить нельзя.

Петр I гениальной волей и железной рукой всякую оппозицию неограниченному деспотизму сломил или загнал под землю. Но вскоре после его смерти выяснилось, что формула: «так жить государство не может» — владеет умами многих близких его сподвижников. И ровно через пять лет после той зимней ночи, когда гвардейские полки шли по снежным улицам Петербурга, чтобы громом барабанов под окнами дворца заявить о своем выборе, в другой, древней столице страны произошел взрыв, выбросивший из-под земли, из-под спуда страстные мечтания десятков и сотен дворян разных рангов и социальных уровней об ограничении деспотизма, о «положительных законах», об увеличении общего количества свободы в стране, где она, свобода, последние пятьдесят лет все шла на убыль.

В 1730 году, когда Петр II внезапно умер и прямых наследников российского престола не осталось, будущее престола оказалось в руках Верховного тайного совета. И тут оказалось, что лидер Совета князь Дмитрий Михайлович Голицын давно уже продумал и разработал, с учетом европейского, особенно шведского, опыта проект ограничения самодержавия. Вдовствующей курляндской герцогине Анне Иоанновне,

¹² Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. Изд. 3. М., 1902. С. 365.

¹³ Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в XVI—XVII вв. М., 1978. С. 156.

избранной Тайным советом русской императрицей, предложены были «кондиции», лишавшие ее права единолично распоряжаться государственными финансами, вопросами войны и мира, жизнью и имуществом подданных. Анна Иоанновна приняла эти условия.

Каждый знавший историю человек, в том числе и князь Голицын, соотносили эти «кондиции» с клятвой Шуйского в 1606 году.

После «кондиций», которые были предварительным «рабочим» документом, Голицын представил Совету и собравшемуся в Москве столичному и провинциальному дворянству подробный конституционный проект, предусматривающий создание представительных учреждений с депутатами от всех сословий, кроме крепостных крестьян.

Что еще более удивительно — дворянство, объединившееся под формальным лидерством князя Черкасского, а фактическим — историка и мыслителя Василия Никитича Татищева, ответило целым рядом своих конституционных проектов, во многих чертах напоминающих голицынский.

Несколько недель русское дворянство жило напряженной политической жизнью. Несколько недель Россия была конституционной монархией.

А затем свое слово сказала гвардия.

У Анны Иоанновны и ее окружения не было средств давления на гвардию. Более того, императрица и сторонники неограниченного самодержавия были в невыгодном положении — гвардией командовали фельдмаршалы Василий Владимирович Долгорукий и Михаил Михайлович Голицын, входившие в Тайный совет и поддерживавшие планы князя Дмитрия Михайловича.

Но в феврале 1730 года гвардия сделала свой выбор самостоятельно. Она уже осознала себя ответственной за судьбу страны политической силой. Она не столько поддержала Анну, сколько отвергла конституционалистов.

Гвардейские офицеры, заполнившие залу, в которой решалась судьба конституционных проектов, как и в январе 1725 года угрозой физической расправы парализовали сопротивление конституционалистов — верховников и соперничающей с ними группировки Черкасского — Татищева, — и способствовали государственному перевороту, вернувшему Анне Иоанновне неограниченную власть.

Воспринять идею конституционной реформы гвардеец был еще не в состоянии. Это были выученики петровского самодержавия.

И здесь нам важна не идеология гвардейцев, а их представление о себе как о силе ответственной и контролирующей действия правительства. Ибо Верховный тайный совет был в тот момент именно правительством страны.

События, последовавшие за переворотом, оказались хорошей политической школой для активной, думающей части гвардии. Возвратив Анне неограниченную власть, они получили в ответ шквал беззакония, террор и последовательное национальное унижение.

Михаил Александрович Фонвизин, к сочинениям которого мы уже обращались и еще будем неоднократно обращаться, так определил результаты стараний дворянства: «Не только члены Верховного совета и дворяне, мечтавшие ограничить самодержавие, но многие из тех, которые, усердствуя Анне, противодействовали им, гибли на эшафотах или, высеченные кнутом, томилась в холодных пустынях Сибири»¹⁴. Нам важна здесь не только картина деятельного господства концентрированного деспотизма, но и отношение к этому декабристов, их представление о результатах выступления гвардии в феврале 1730 года.

¹⁴ Фонвизин М. А. Указ. соч. С. 122.



Герцог Э.И. Бирон. Гравюра И. Соколова. 1730-е гг.

С точки зрения совершенствования государственной структуры царствование Анны Иоанновны было шагом назад даже по сравнению с временами Екатерины I. Сосредоточение власти в руках чрезвычайно узкого круга лиц — два-три кабинет-министра, могущество неспособного к государственной деятельности Бирона, тупая и вздорная воля императрицы, возведенная в государственный закон, — все это было на виду.

К 1740 году, году смерти Анны Иоанновны, гвардия пришла сильно поумневшей. И было отчего.

С самого начала нового царствования Анна приступила к созданию силы, способной нейтрализовать политическую активность преобразенцев и семеновцев. 22 сентября 1730 года издан был указ о формировании нового Измайловского лейб-гвардии полка, а 31 декабря уже начал свою историю лейб-гвардии Конный полк. Упомянувшийся нами Манштейн писал: «Эти два гвардейские полка должны были служить противодействием остальным старым».

Формировались эти полки в полном соответствии с их назначением. Рядовой состав измайловцев набран был на Украине, офицеров велено было указом брать «из ливонцев, эстляндцев и курляндцев и прочих наций иноземцев и из русских». Командиром полка стал ливонец Карл Густав Левенвольде, подполковником англичанин Джеймс Кейт, майорами Иосиф Гампф, Густав Бирон и Иван Шипов. Нечто подобное происходило и при формировании Конной гвардии.

Это была с древних времен известная система создания военно-политической опоры из иностранцев. История знала варяжскую гвардию в Византии, кипчакскую — в Египте, швейцарскую и шотландскую — во Франции.

Возникновение иностранной гвардии всегда было симптомом внутреннего неблагополучия государства.

Но Анна и Бирон на этом не остановились. Постепенно из состава старых полков стали выводить дворян и заменять их солдатами простого происхождения. Власть воспринимала русскую гвардию как естественную оппозицию. Еще при жизни Анны возникала идея удалить старую гвардию из Петербурга.

После смерти Анны Иоанновны Бирон, назначенный по ее завещанию регентом при младенце Иоанне Антоновиче, правил страной три недели. И это были крайне любопытные недели.

Подспудное, низовое движение в гвардии началось сразу же, как только стало известно, кто возглавит страну.

На следующий день после прихода Бирона к власти поручик Преображенского полка Ханьков говорил сержанту-преображенцу Алфимову: «Что мы сделали, что государева отца и мать оставили? Они, думаю, на нас плачутся, а отдали все

государство какому человеку, регенту! Что он за человек? Лучше бы до возраста государева управлять отцу императора или матери». Здесь каждая фраза насыщена смыслом. Гвардии поручик говорит здесь именно об ответственности гвардии за «воцарение» Бирона — что мы, гвардейцы, сделали? Он считает, что гвардия должна была решать проблему власти. Это во-первых. А во-вторых, здесь нет антинемецкой направленности. Ханьков агитирует за герцога Антона Брауншвейгского и Анну Леопольдовну, родителей малолетнего Иоанна.

И далее Ханьков говорил Алфимову о возмущении солдат и инертности офицеров. Но на другой день оказалось, что офицеры вовсе не инертны. Быстро образовалась группа преображенцев и семеновцев, готовых действовать против Бирона в пользу Брауншвейгского семейства. Ханькова и Алфимова выдал конногвардеец Камынин (что симптоматично — молодая гвардия!), племянник кабинет-министра Бестужева-Рюмина. Он донес Бестужеву, а тот — Бирону.

Семеновцев во главе с подполковником Пустошкиным выдал регенту другой кабинет-министр князь Черкасский, к которому Пустошкин обратился за содействием, помня, очевидно, позицию Черкасского в 1730 году. Но Черкасский, сломанный годами царствования Анны, издававший ссылку, проводив подполковника, отправился к Бирону с доносом.

Вскоре выяснилось, что в Семеновском полку есть еще группа офицеров, готовых действовать в пользу герцога Брауншвейгского. Появились в гвардии и сторонники цесаревны Елизаветы Петровны, дочери первого императора.

Не доверяя стойкости молодой гвардии — измайловцам и конногвардейцам, Бирон ввел в Петербург шесть батальонов армейской пехоты и 200 драгун. Он обдумывал проект массовой замены солдат и унтер-офицеров из дворян в старой гвардии людьми из низших сословий, а гвардейцев-дворян намеревался отправить офицерами в армию.

Но времени у него уже не оставалось. Каждому здравомыслящему человеку было ясно, что взрыв неминуем.

Бирон стал правителем государства 19 октября 1740 года.

А в ночь на 9 ноября фельдмаршал Миних, один из активных сторонников назначения Бирона регентом, взяв восемьдесят преображенцев из дворцового караула, с согласия принцессы Анны Леопольдовны направился к дворцу правителя и выслал своего адъютанта Манштейна с двадцатью солдатами арестовать первого человека в государстве. Единственным препятствием, с которым столкнулся Манштейн, было незнание топографии герцогского дворца. Но в конце концов Манштейн нашел спальню Бирона и арестовал его.

Ни одна шпага не была обнажена, ни один выстрел не был сделан в защиту правителя государства. Кроме него, во время государственного переворота было арестовано два человека. И все.

Поразительный парадокс обнаружился в ночь свержения регента — во главе огромного государства оказался человек, которого никто не поддерживал, который не имел ни корней, ни опоры в почве этой страны. О правах говорить не приходится.

Это могло произойти только при полном отрыве власти от политической реальности, при страшном отчуждении аппарата власти от народа, при сосредоточении власти на крошечном пятке, точечном нереальном пространстве. Это могло произойти при разрыве нормальных связей правительства и населения страны. Процесс этот был задан лишь одним из направлений петровской деятельности, но при Анне и Бироне он оказался определяющим.

А теперь пора вернуться к вопросу о причинах, заставлявших гвардию столь решительно вмешиваться в политическую жизнь страны.

Знаменитый русский историк С. М. Соловьев писал: «Во всех дворцовых переворотах в России XVIII века мы видим сильное участие гвардии; но из этого вовсе не следует, что перевороты производились преторианцами, янычарами по своекорыстным побуждениям, войском, оторванным от страны и народа; не должно забывать, что гвардия заключала в себе лучших людей, которым дороги были интересы страны и народа, и доказательством служит то, что все эти перевороты имели целью благо страны, производились по национальным побуждениям»¹⁵.

¹⁵ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1963. Кн. XI. С. 12

Исследователь, тщательно изучивший данную проблематику, писал по поводу восшествия на престол Екатерины I: «Отныне гвардия стала политическим фактором первостепенного значения, причем перед историком выступают не отряды наемников-телохранителей или преторианцев, торговавших престолом римских императоров, а головные отряды господствующего класса, его политический авангард, который никогда не терял связи со страной. Русская гвардия вполне сознавала свою историческую роль и уверенно отстаивала политические интересы дворянства. Можно было подкупить несколько десятков гвардейцев, но гвардию в целом никто из иностранных агентов или политических авантюристов XVIII века не сумел купить, хотя подобного рода попытки делались неоднократно»¹⁶.

Если свести эти соображения, то получим следующее: русская гвардия была силой, осознавшей свою роль в политической жизни страны; гвардия была связана с коренными интересами страны и народа и действовала в этом направлении, принципиально отличаясь от корыстных преторианцев и янычар с их узкими корпоративными интересами.

Но если Соловьев настаивает на национальных побуждениях, то Я. Зутис выдвигает интересы дворянства как класса.

Все это справедливо. Но требует некоторых коррективов.

Миних не был истинным организатором и вождем переворота 9 ноября. Как мы видели, шло мощное давление снизу, не возбуждаемое никем из «сильных персон». Миних, поняв происходящее, — а после ареста Ханькина, Пустошкина и их товарищей устремление гвардии не могло остаться неизвестным фельдмаршалу, — Миних успел «оседлать волну», воспользоваться конъюнктурой. Потому он с такой легкостью осуществил государственный переворот. Гвардия двигала им, а не он гвардией.

Однако не оскорбленное национальное чувство руководило Пустошкиным, Ханьковым и теми преображенцами и семеновцами, которые шли за ними. Они желали видеть у власти вместо немца Бирона немца Антона Брауншвейгского и полунемку Анну Леопольдовну. И уж ни у кого не вызывал сомнения немец на три четверти император Иоанн Антонович. Забегая вперед, скажем, что следующий переворот, свергнув полунемку Анну Леопольдовну, вынес наверх полунемку Елизавету Петровну, а в 1725 году гвардия полунемцу Петру III предпочла чистую немку Екатерину II.

Гвардия выбирала того кандидата, который мог эффективнее править страной.

Гвардия, если воспользоваться современной терминологией, была в петровскую эпоху запрограммирована на реформы, на совершенствование государственной структуры. Петровское время, несмотря на все неудачи, было временем динамическим, временем непрерывных поисков лучших вариантов. Порочности принципа неограниченного самодержавия и стремящегося к неограниченности крепостничества гвардия не могла сознавать. Это придет позднее.

Гвардии, воспитанной в духе реформ, впитавшей в себя петровскую динамику, невозможно было принять принцип внешней — ложной — стабильности, к которой стремился режим Анны и наследником какого принципа естественным путем стал Бирон.

Гвардия свергла Бирона не просто как немца, — как фаворита, виновного в гибели многих. Бирон не годился в продолжатели петровских реформ.

Идеология гвардии как политической группировки не всегда совпадала с интересами дворянства вообще. Во-первых, потому, что дворянство никогда не было едино, а, во-вторых, потому, что гвардия сложилась как группировка во многом автономная и социально неоднородная.

Е. В. Анисимов, автор первой в XX веке книги о царствовании Елизаветы, книги, насыщенной материалами и мыслями, пишет: «Именные списки лейб-компания Елизаветы — то есть списки тех, кто совершил переворот 25 ноября 1741 г., позволяют уточнить вопрос о социальной опоре Елизаветы. Казалось бы, что тут уточнять? Все и

¹⁶ Зутис Я. Остзейский вопрос в XVIII веке. Рига, 1946. С. 148.

так известно. Гвардия — это дворянство, служившее в привилегированных полках. Именно дворяне, одетые в гвардейские мундиры, и пошли за дочерью Петра. Однако не будем спешить. Именные списки содержат подробные сведения о прохождении службы гвардейцами, участвовавшими в перевороте, об их семейном положении, пожалованиях, взысканиях, грамотности и — что особенно ценно — об их социальном происхождении. Списки показывают, что переворот осуществили 308 гвардейцев. Дворян среди них было всего лишь 54 человека или 17%! 137 человек, или 42% — выходцы из крестьян, 25 человек — из однодворцев, 24 человека — дети церковников, 24 человека — солдатские дети, 14 человек — бывшие холопы и их дети. Кроме того, в реестрах упомянуты бывшие монастырские служители, казаки, инородцы, посадские и купцы. Всего выходцев из «разных чинов» (кроме дворянства и крестьянства) было 117 человек или 37%. Вместе с крестьянами они составляли 83% (254 чел.) общей численности участвовавших в перевороте гвардейцев. Иначе говоря, Елизавета была возведена на престол в основном недворянами»¹⁷. И далее исследователь убедительно доказывает, что среднее и особенно высшее дворянство вовсе не было заинтересовано в смене Анны Леопольдовны Елизаветой.

Открытие Е. В. Анисимова необыкновенно важно для понимания идеологии русской гвардии и ее политической роли. Елизавету возвели на престол представители всех слоев и групп российского населения, притом что ни одного из этих слоев и ни одну из этих групп они уже не представляли. В отдельности ни крестьянству, ни купечеству, ни поповским и солдатским детям, ни холопам и инородцам совершенно незачем было рисковать головами, бросаясь в это плохо подготовленное предприятие. Теоретически за Анну Леопольдовну и малолетнего императора могли вступить и измайловцы, и конногвардейцы, и полки гарнизона. В отдельности ни одна из этих групп не была специально заинтересована в Елизавете. Но собранные вместе, составившие особую автономную группу — гвардию, эти люди должны были выдвигать Елизавету, дочь Петра, в силу своей особой гвардейской идеологии.

С Елизаветой, как шестнадцать лет назад с Екатериной, у гвардии было связано представление о петровском принципе реформирования и совершенствования, о движении в сторону истинной стабильности, достигаемой в результате реформ, а не застоя.

По данным Е. В. Анисимова, 101 из 308 гвардейцев, героев переворота, начали службу при Петре, а 57 участвовали в войнах со шведами и турками. Это и были носители гвардейской традиции.

17 *Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. М. 1988. С. 49.*



*Императрица Елизавета
Петровна. Гравюра с
портрета работы Л. Токке.
1761 г.*

Два факта — то, что у гвардейцев 25 ноября не было лидера из знати, и то, что остальная гвардия дружно поддержала зачинщиков,— говорят о том, что переворот был делом гвардии как особой политической группировки.

Группировки, сознающей свой долг и свою политическую ответственность. Если не мы, то кто же?

Политическая линия гвардии была вполне самостоятельной. Если в 1725 году гвардия пошла за Меншиковым, поскольку совпали их позиции, то в 1727 году гвардия решительно поддержала Петра II и Долгоруких. И не потому, что командовал в этот момент полками князь Василий Владимирович Долгорукий, а опять-таки по совпадению политических позиций. Через три года гвардия поддержала Анну Иоанновну, которую она до того и в глаза не видела, а тот же фельдмаршал Долгорукий и фельдмаршал Голицын, командовавшие гвардией, несмотря на весь свой авторитет, популярность и давние связи с преображенцами и семеновцами, не смогли направить энергию гвардии в нужную им сторону. Ту же самостоятельность проявила гвардия и в 1740-1741 годах. Вельможи и генералитет примирились с противоестественным вознесением Бирона на вершину власти. (Нелепая фронда Антона Брауншвейгского была подавлена Бироном без труда.) Не примирилась только гвардия, и заставила верхи последовать за собой.

В ноябре 1741 года никакие интриги иностранных дипломатов в ее пользу не помогли бы Елизавете, если бы гвардия не поддержала ее столь энергично. Решительная инициатива переворота снова, как и год назад, шла снизу, из гвардейских полков.

Гвардия последовательно и настойчиво корректировала действия верхов.

Любопытно и важно, что в отличие от переворота 1740 года, когда лозунгом гвардии была смена личностей, переворот 1741 года проходил под лозунгом принципиально иного свойства: «Пойдемте же и будем только думать о том, чтобы сделать наше отечество счастливым во что бы то ни стало!» Слова эти произнесла Елизавета, но она знала, чего ждут от нее гвардейцы. И дело здесь не только в возвращении к петровской терминологии, но в углубляющемся понимании происходящего. Из узкой сферы внутрдинастической борьбы гвардия и ее лидеры выходили на простор общегосударственных программ.

Когда Петр определил преображенцам и семеновцам уникальную роль автономной контролирующей и регулирующей силы, он и не думал о подобных последствиях. Но логика процесса поставила гвардию на то место, которое осталось вакантным после упразднения земских соборов и любого рода представительных учреждений, так или

иначе ограничивающих самодержавный произвол, когда он явно вредил интересам страны.

Этот «гвардейский парламент», сам принимающий решения и сам же их реализующий, был, пожалуй, единственным в своем роде явлением в европейской политической истории.

«Зверски в отчаянии живут...»

Брауншвейгское семейство было сметено столь же легко, как и Бирон. Началась елизаветинская эпоха, эпоха движения, но движения крайне противоречивого.

Произошло несомненное по сравнению с предыдущим десятилетием рассредоточение власти. Упразднен был кабинет министров, учреждено при императрице «министерское и генералитетское собрание» для занятий внешними и внутренними делами. Но собрание это или конференция занималось, главным образом, делами внешними. Внутренние дела в основной своей части легли на Сенат, который приобрел в этот период небывалое значение. «Елизаветинский Сенат действительно в истории русского государства занимает особое место — он не знает себе предшественника, так как в области внутреннего управления даже Сенат Петра I не достигал подобной самостоятельности»¹⁸. Сенат не только занимался законодательной деятельностью, не только был высшей судебной инстанцией, но и назначал губернаторов и всю высшую провинциальную администрацию, то есть реально контролировал страну. И дело было не в лени императрицы, которая могла при желании пойти путем Анны Иоанновны и передать управление в руки нескольких кабинет-министров, а в насущной необходимости расширить непосредственную опору власти, отказаться от принципа максимального ее сосредоточения, к чему вела логика неограниченного деспотизма...

Цитированный выше историк считает возможным употребить термин «сенатский конституционализм елизаветинского царствования». И дело не в том, насколько — практически — было ограничено самодержавие Сенатом при Елизавете, а в тенденции, в направлении движения.

«Сильная личность» елизаветинского царствования, Петр Иванович Шувалов, был, несмотря на особое свое положение, на право контролировать Сенат, отнюдь не всемогущим.

Идеализировать государственную практику правительства Елизаветы не стоит. Но тенденция этой практики была разумная.

Однако параллельно с этой тенденцией шла другая.

С начала царствования Анны росли дворянские привилегии. Но не за счет самодержавия, а за счет крестьянства. Вместо того чтобы стремиться к равновесию прав сословий и, стало быть, равновесию политических сил в стране, самодержавие откупалось от дворянства крестьянскими головами. Это и была та ложная стабильность, о которой мы уже говорили. Задабриванием дворянства самодержавие покупало себе сиюминутное спокойствие, не думая о перспективе. Елизавета продолжила в этом вопросе политику Анны. Дворяне получили свои земли в полную собственность, без разделения уже на поместья и вотчины, дворяне теперь владели именьями. Петровский принцип майората — наследования земли старшим сыном, предотвращавший дробление имений, — был отменен в 1731 году. На первых порах это ублаготворило множество младших сыновей, но в будущем стало одной из причин разорения дворянства и падения его политического значения.

Вместе с тем при Елизавете дворяне получили право продавать и покупать крестьян с землей и без земли. Расширялась судебнополицейская власть помещиков над крестьянами.

Государство выдавало крестьян помещику, лишая их своей защиты, обрывая последние связи основной массы подданных с властью. Петр начал этот процесс, Елизавета продолжила. О его завершении мы еще будем говорить.

Власть одновременно разоряла крестьян подушной податью и вместе с тем сокращала их экономические возможности, превращая в рабов нерасчетливого, как правило, помещика. И хотя одним из первых мероприятий нового царствования было прощение

¹⁸ Зутис Я. Указ. соч. С. 199.

недоимок за все предшествующие годы, а затем и неоднократное снижение подати в связи с введением косвенных налогов, спасти положение это уже не могло.

В конце XVI — начале XVII веков процесс закрепощения крестьян сопровождался постоянными восстаниями, завершившимися грандиозной крестьянской войной Болотникова и хаосом Смутного времени. Ответом



*Нищая старуха с девочкой.
Акварель И. А. Ермешва. Около 1765 г.*

на следующий этап закрепощения при Петре I было массовое бегство крестьян и восстание Булавина.

При Елизавете, когда окончательно определилась пагубная политика выдачи крестьянства дворянству, следовало ожидать реакции народа. Начинаясь трагический кризис взаимоотношений крестьянства и правительства, кульминацией которого явилась гражданская война — восстание Пугачева.

А пока что мужики сопротивлялись по-другому.

Главной формой сопротивления были побег. Как мы помним, массовые побег стали бедствием к концу петровского царствования. С 1719 по 1727 год из центральных районов России бежало 200 000 человек — по официальным данным, скорее всего приуменьшенным. Но при Елизавете бегство приняло небывалые размеры. Крестьяне бежали не только на традиционный Дон. Бежали в Финляндию, в прибалтийские провинции, в Польшу, в Пруссию, в Швецию. Бежали в Сибирь, в астраханские степи, в Оренбургский край, в Среднюю Азию, в Турцию.

В именном указе от 14 марта 1745 года сказано: «Уведомились мы, что при ревизии в Астрахани явились многие из подлых, объявляющие о себе, что не признают своих помещиков, ни того, где родились, которых по указам о ревизии выслать оттоль велено в Петербург на поселение, а иные подлые люди по привычке жить кругом Астрахани от той высылки бегут в Пермь и бусурманятся, также в степи на кубанску сторону на р. Куму и на бухарскую сторону за Яик, и там, промыслом звериным питаюсь, зверски в отчаянии живут».

Русский историк С. В. Ешевский темпераментно комментировал этот указ: «Ничто не может лучше характеризовать этой жажды воли. Беглецы



Нищие.
Акварель И. А. Ерменева. Около 1765 г.

русские и в Остзейских провинциях, в Польше, в Пруссии, даже в Турции оставались верны религии отцов; надобно было, чтоб было положение их столь отчаянное, когда они решились лучше бусурманиться, чем воротиться к помещикам»¹⁹. И он совершенно прав.

На западной границе раскольники организовали цепь перевалочных пунктов для переброски беглых. В сенатском докладе от 16 сентября 1749 года содержится такое невеселое признание: «Смоленской губернии многое число за рубеж в Польшу вышло и вывезено не только числом людей, но и целыми деревнями».

Начались спонтанные, неудержимые, как эпидемии, массовые переселения. Разносились слухи, что в таких-то местах разрешают вольно селиться и даже денег дают по 5 рублей и от податей на 5 лет освобождают. И крестьяне шли семьями, деревнями, со всем имуществом.

Против переселенцев бросали войска, жестоко наказывали.

Но была еще и иная, не столь мирная форма протеста. Страну наводнили вооруженные разбойничьи ватаги. Костяк их составляли беглые солдаты.

Разбойники действовали на суше и на воде, превратив огромные районы страны в поле боевых действий. Чиновник, плывший с караваном из Москвы в Сибирь в 1744 году, сообщил, что между Москвой и Казанью он несколько раз вынужден был отбиваться пушечным огнем от волжских пиратов. А на Оке он насчитал более 50 разбитых и ограбленных судов. Когда отряды вооруженной вольницы стали показываться недалеко от Москвы, Елизавета именным указом от 7 сентября 1744 года повелела Сенату принять особые меры для борьбы с разбоями. Были сформированы специальные конные части и оборудованы суда. Во главе команд поставлены были сыщики.

Один из таких сыщиков доносил в 1752 году: «...В Серпейском уезде появилось много воров и разбойников. Оные злодеи ходят великими партиями с огненным ружьем, с рогатины и прочим злодейским ружьем и разбивают помещичьи дома». Подобные донесения поступали из десятков уездов. Началась «малая гражданская война».

Но правительственные команды, снабженные особыми инструкциями, имели мало успеха.

В 1756 году командир одной из таких команд майор Бражников доносил, что вступил в бой с разбойничьей ватагой, вооруженной, кроме ружей, еще и пушками. Команда майора Бражникова потерпела поражение, потеряв 27 человек убитыми, в то время как разбойников убито оказалось только шестеро.

Разбойники захватывали небольшие города и забирали налоговые деньги из правительственных учреждений.

Именным указом от 22 октября 1759 года Елизавета оповестила Сенат: «Известно нам, что во многих провинциях, и особенно в Московской и около Новгорода, великие разбои

¹⁹ *Ешевский С. В.* Сочинения по русской истории. М., 1900. С.143.

завелись и ужасные грабительства, как проезжающим, так и живущим по деревням помещикам чинятся».

Страна шла к большой гражданской войне.

Ясно было, что требуются меры скорые и эффективные, чтобы предотвратить потрясения и придать государственному организму стабильность подлинную, а не мнимую. Недаром Петр Шувалов, едва ли не центральная и наиболее характерная фигура царствования, был бешеным прожектером. Прожектером в прямом, а вовсе не уничижительном смысле. Недаром Иван Шувалов, фаворит императрицы, человек умный и гуманный, взывал к ней в 1760 году: «Всемиловнейшая государыня, воззрите на плачевное многих людей состояние, стонущих под игом несправедия, нападков, грабежей и разорения».

Но в ситуации преддверия гражданской войны правительство Елизаветы все круче ориентировалось на дворянство, с одной стороны создавая себе опору в этом сильном слое, с другой — увеличивая социальную и политическую дисгармонию и провоцируя крестьянство на еще более яростное сопротивление.

В середине пятидесятых годов начал реализоваться один из проектов Петра Шувалова — составление Уложения. В одной из глав Уложения сказано было: «Дворянство имеет над людьми и крестьяны своими мужского и женского полу, и над имением их полную власть без изъятия, кроме отнятия живота и наказания кнутом, и произведения над оными пыток. И для того волен всякий дворянин тех своих людей и крестьян продавать и закладывать, в приданье, и в рекруты отдавать, и во всякие крепости укреплять, и на волю вечно и для промыслу и прокормления на время, а вдов и девок для замужества за посторонних отпускать ... мужескому полу жениться,



Крестьянский обед. Акварель И. А. Ерменева. Около 1765 г.

а женскому полу замуж идти позволять, и, по изволению своему, во услужение, работы и посылки употреблять и всякия, кроме вышеописанных, наказания чинить или для наказания в судебные представительства представлять, и, по рассуждению своему, прощение чинить и от того наказания освобождать». Государство по этому проекту закона о крестьянах оставляло себе только право казнить, пытать и наказывать кнутом (наказание для государственных

преступников). Все остальное, включая сечение розгами, батогами, плетью, ссылку в Сибирь на поселение и т. д., предоставлялось помещику.

Близкие к Елизавете люди и Сенат, ощущая крайнюю неустойчивость положения, старались найти выход в максимальном удалении от того «равенства несвободы», которым Петр пытался — и не без успеха — цементировать страну. «Все были равны перед его дубинкою», — писал Пушкин.

Во времена Анны Иоанновны и Бирона дворянство получило несомненные привилегии за счет крестьянства. Но оно платило за это тем же «равенством перед дубинкой», но дубинкой, вызывавшей только страх без всякой примеси уважения, как было при первом императоре. Русский дворянин с 1730 по 1740 год не был гражданином своего государства. Двумя выступлениями, двумя стремительными государственными переворотами гвардия принципиально изменила положение. Гвардия — выходцы из дворян, крестьян, купечества, посадских, организованные в активную автономную силу, — дала правительству возможность выбирать рациональные варианты дальнейшего развития.

Правительство выбрало вариант внутренне порочный, чреватый катастрофическими потрясениями. И к концу пятидесятых годов это вызвало резкое обострение перманентного социального кризиса системы.

В этой ситуации елизаветинские верхи, понимая, что многое в создавшемся положении восходит к петровским временам, сделали попытку ревизовать два фундаментальных петровских принципа. Во-первых, поставлен был вопрос если не об упразднении Табели о рангах, дающей возможность выслуживать полновесное по своим правам дворянство, то, во всяком случае, о существенном пересмотре прав выслуженного дворянства. Разночинцы, получившие дворянство по выслуге, должны были быть лишены прав «природных дворян». Эта идея — четко отделить природных дворян от дворян, выслужившихся из низших сословий, мелькала в шляхетских проектах 1730 года. А в 1830-х годах в трансформированном виде она появилась в политических проектах Пушкина, противника Табели о рангах: «Сто двадцать лет как Табель о рангах сметает дворянство». Но в каждом случае идея эта имеет свой смысл. Для группировки Татищева «чистота дворянских рядов» была некой гарантией против поглощения дворянства, способного ограничить самодержавие, всем обязанной этому самодержавию разночинной стихией, получавшей по выслуге те же политические права. Пушкин надеялся противопоставить «истинное дворянство», осознающее свой долг перед страной, конкретной николаевской бюрократии.

Для елизаветинских законодателей это был, субъективно, еще один способ задобрить и сплотить природное дворянство вокруг трона.

Во-вторых, составители Уложения уже сформулировали тот самый указ о вольности дворянства, который обнародован был после смерти Елизаветы Петром III. Эти параграфы отменяли не только основополагающий принцип обязательного, безусловного и вечного служения дворянина государству, но и делали дворянина в некоторой степени независимым от государства — дворянин освобождался от телесного наказания, его нельзя было без несомненных доказательств арестовывать и ссылать на каторгу. Была подтверждена постоянно нарушавшаяся при Петре и его ближайших преемниках монополия дворян на земельную собственность. Отменялось право самодержца конфисковать в свою пользу землю осужденного дворянина²⁰. И в-третьих, в поисках выхода из кризиса елизаветинское правительство решило прибегнуть к созыву представителей сословий, что было решительно пресечено в свое время Петром.

Двойственность процесса стремительно нарастала — сгущалась общая рабская атмосфера в стране, и в то же время увеличивалось количество внутренней свободы дворянского авангарда, его общественной просвещенности, переходящее в качество принципиального неприятия системы: неограниченное самодержавие — неограниченное рабство.

Вулканические подземные толчки на рубеже шестидесятых годов потрясли почву империи. Правительство не справлялось с ситуацией. Наступала очередь гвардии.

²⁰ Вся эта проблематика проанализирована на большом и свежем материале в цитированной выше книге Е. В. Анисимова.

Великий обман

То, что случилось с Петром III, герцогом Голштинским, внуком Петра I, унаследовавшим по завещанию Елизаветы русский престол, в некоторых чертах своих напоминает судьбу Анны Леопольдовны. Незлобивость, взбалмошность, как нежелание, так и неспособность заниматься государственными делами, во всяком случае так утверждают современники, демонстративное предпочтение, оказываемое иностранцам, составляли причудливую смесь, которая и раздражала людей, наблюдавших жизнь двора, и в то же время давала возможность жить довольно спокойно и безопасно. Схож был и общий рисунок отношений с гвардией. И в 1741, и в 1762 годах взрыв произошел накануне удаления гвардии из Петербурга, в первом случае в поход против шведов, во втором — против датчан. Но не нужно путать причины и следствия. Не потому восстала гвардия, что ее собирались отправить на театр военных действий, а потому, что ее под этим предлогом хотели удалить из столицы, — боялись ее выступления.

Между тем масса дворян, особенно провинциальных, не имела оснований быть недовольными Петром III. Указ о вольности дворянства казался очень сильным средством умиротворения этой массы. Очевидно, в этом и был его смысл. Правительство откупалось от дворян, подозревая в них только узкосословные корыстные интересы. Но дворянский авангард жил иными представлениями. Тем более, что за спиной деятелей грядущего переворота стоял политический опыт прошедшего двадцатилетия и страшный призрак бироновщины — предельной концентрации власти и отрыва ее от реальных проблем страны.

Кризисное состояние страны, возможность перехода «малой гражданской войны» в полномасштабную, в войну с собственным народом, заставляло дворянский авангард, отнюдь не утерявший традиции инициативы и долга, искать выхода. Было ясно, что Петр III не годится в лидеры движения. Его надо было убирать. Ситуация существенно изменилась по сравнению с событиями 1730, 1740 и 1741 годов и в другом плане — произошедшее за годы елизаветинского царствования рассредоточение власти, совершенствование государственного аппарата, расширение социальной и организационной базы правительства исключали возможность переворота миниховского или елизаветинского типа — стремительного локально-

го удара малыми силами. В 1725 году, когда сторонники Екатерины тягались со сторонниками Петра II, Миних считал возможным решить дело одной гвардейской ротой во главе с Меншиковым. Но тогда и этого не понадобилось. Можно было ограничиться демонстрацией. В 1740 году хватило восьмидесяти гвардейцев. В 1741 году переворот был произведен уже тремя сотнями гвардейцев с быстрым присоединением всех остальных преображенцев и семеновцев.

Если в 1740 году не понадобилось вообще никакой организационной подготовки, то через год сторонники Елизаветы попытались создать подобие заговорщицкой организации. Как мы знаем, не это подобие сыграло решающую роль, а идущее снизу движение гвардии; но сама тенденция — характерна.

В 1762 году сторонники супруги императора Петра III Екатерины вынуждены были создать настоящую законспирированную организацию с вовлечением большого числа участников.

И еще один момент чрезвычайной важности — за Екатериной стояли люди с ясной политической программой, восходящей к идеям 1730 года, программой, предусматривающей конституционные реформы. То, что гвардия отвергла тридцать лет назад, она, умудренная опытом, готова была теперь поддержать.

Екатерину выдвигали две группировки. Одна — чисто гвардейская — во главе с братьями Орловыми. Для физического захвата власти ее было достаточно. Но в 1762 году мало было просто сменить главу государства, арестовав его ближайших людей. Предельная концентрация власти, которая создавала при Анне Иоанновне, Бироне, Анне Леопольдовне видимость устойчивости, на самом деле давала, как мы знаем, возможность опрокинуть правящую группу, с ее минимальной площадью опоры, одним коротким ударом. Куда более разветвленная структура власти, оставшаяся Петру III от Елизаветы, требовала в случае переворота немедленной замены ее другой, не менее разветвленной структурой. В 1762 году гвардии необходим был союз с группировкой политиков, деятелей, идеологов. Организаторы переворота 1762 года знали: напор снизу, из той мрачной бездны, куда ввергнуто было за

последние 60 лет российское крестьянство, усиливается и достигает критического уровня. Они знали, что сама по себе смена монарха, возбудив надежды и тем на время сняв остроту кризиса, будет только короткой передышкой. Необходимо сразу же предложить стране некую конкретную положительную программу. Двойственность, заданная Петром и развившаяся при Елизавете, приведя страну на грань взрыва, дала и возможность осознать катастрофичность положения...

Елизавета умерла в декабре 1761 года, а к июню следующего года волнения крестьян как на Урале, так и в центральной и южной России приняли такие размеры, что местных команд не хватало для их подавления. Требовались крупные контингенты. К местам волнений посылались армейские полки.



*Императрица Екатерина II
перед зеркалом.
Портрет работы В. Эриксона.
1768 г.*

Государственные доходы не покрывали расходов.

Война с Данией, затеянная Петром III, была не причиной переворота, а запалом, детонатором. Дворянский авангард убедился, что от императора ждать нечего. Дело было не столько в популярности Екатерины, сколько в непопулярности политики ее мужа и тяжком положении страны, с которым он не знал как бороться.

Дело было в том, что просвещенная, образованная, умная, европейски мыслящая императрица могла принять новый курс, предложенный ей Никитой Паниным.

Никита Иванович Панин, родовитый вельможа, хорошо знавший Европу, ориентировавшийся на шведскую государственную систему, был идеологом переворота. Очевидно, он был связан с гвардейским офицерством и помимо Орловых. Его главной идеей было возведение на престол наследника Павла Петровича с Екатериной в роли регентши и при немедленном ограничении самодержавия. Екатерина все это знала, но, принимая помощь Панина в подготовке переворота, гарантий ему не давала.

Екатерину решительно поддерживал безродный елизаветинский вельможа, воспитанный в Европе, Кирилл Разумовский, командир Измайловского полка и президент Академии Наук. Близким к Екатерине человеком была юная княгиня Дашкова, урожденная Воронцова. Воронцовы выдвинулись во время переворота 1741 года.

Один из осведомленных иностранцев, находившийся в то время в Петербурге, писал: «Панин и княгиня Дашкова, оба одинаково смотрели на образ правления в России, и если княгиня Дашкова питала, по складу своего ума, полное отвращение к рабству, то Панин, бывший 14 лет русским

посланником при шведском дворе, набрался республиканских идей. Оба они решились вырвать свое отечество из когтей деспотизма, и императрица делала вид, что поощряет их в этом намерении. Они составили условия, по которым русские вельможи, низлагая Петра III,

передали бы корону, по фамильному избранию, его супруге с ограничением ее власти. Эта надежда завлекла в заговор большую часть дворян».

Вокруг Екатерины объединился довольно широкий круг — от вельможи, воспитателя наследника, Никиты Панина, до конногвардейского вахмистра Григория Потемкина.

Причем костяк военной организации заговорщиков составили капитаны и поручики гвардейских полков. В отличие от 1741 года, инициатива перешла от солдат к среднему офицерству. Состав гвардии в значительной степени сменился за эти двадцать лет, и хранителями традиции, заставлявшей гвардию вмешиваться в кризисные моменты в государственную жизнь, стали офицеры-дворяне. Но солдаты при этом готовы были их поддерживать.

Переворот 28 июня 1762 года произошел без особых трудностей. Хотя, в отличие от предыдущих, это была крупномасштабная военная операция, в которую вовлечены были значительные массы войск. На Ораниенбаум, где находился Петр III, двинуты были пехота, кавалерия, артиллерия. У Петра III были некоторые средства для сопротивления, но не было воли к сопротивлению.

В 1741 году дочь Петра I свергла его племянницу. Для гвардии во все времена законность претендента на престол играла огромную роль.

В 1762 году внук Петра I был свергнут мелкой немецкой принцессой, не имеющей на российский престол ни малейшего права. И здесь не только для группы Панина, но и для многих гвардейцев решающую роль играло существование законного наследника Павла Петровича.

А кроме того, в этот момент куда большее значение имела идея, ради которой совершался переворот, — политическая перспектива.

Ограничить самодержавную власть новой императрицы сразу после переворота не удалось. Это было отложено Паниным на определенное время.

Но попытки радикального реформирования страны начались немедленно.

И было отчего спешить.

Известный историк В. А. Бильбасов, автор «Истории Екатерины Второй», человек отнюдь не радикальных взглядов, подводя итог первым шестидесяти годам XVIII века, писал: «Тяжело жилось русскому человеку в прошлом веке, тяжелее, чем в века предшествующие. Вполне закрепощенный земле, лишенный всех прав, поставленный вне закона, он был отдан на произвол грубого, невежественного властелина. Практика крепостного права быстро деморализовала все слои общества, все сословия: не только в крестьянском быту, но в военной службе и даже в религиозных делах жестокие нравы, культивируемые закрепощением, отравляли жизнь русского человека, делали ему отечество „нелюбезным“. Помещик смотрел



Семейство русских крестьян. Картина В. Эриксона, написанная по заказу Екатерины II. 1760-е гг.

на „души“, которыми владел, как на доходную статью; капрал „снял шкуру“ с рекрута, вбивая ему кодекс военных артикулов; последнее прибежище несчастных — церковь, в своих представителях того времени, тоже владевших „душами“, теряя дух „терпения и любви“, насилывала совесть паствы, не позволяя ей даже свободно молиться. Выход из этого действительно тяжелого положения был один — бегство из „любезного“ отечества»²¹. На самом же деле был и еще один выход — мятеж.

К моменту воцарения Екатерины, кроме повсеместных крестьянских волнений, на Урале бунтовало около 50 000 заводских крестьян. Придя к власти, Екатерина указом от 8 августа запретила заводчикам владеть деревнями с крестьянами, а повелела довольствоваться наемными работниками. Но этот указ не только не успокоил крестьян, а, наоборот, расширил мятеж, ибо породил в восставших уверенность, что императрица поддерживает их. Тогда на Урал направлен был сравнительно молодой генерал князь Александр Алексеевич Вяземский, получивший под команду целую армию — одиннадцать пехотных и семь драгунских полков. Даже будучи рассредоточенными по значительному пространству, полки эти представляли собой силу, против которой мятежники устоять не могли. Вяземский волнения подавил.

Но поскольку социальные и экономические проблемы никогда не могут быть решены при помощи штыков и палашей, то волнения на заводах вспыхивали то и дело, пока — во время крестьянской войны — Уральские заводы не стали надежной опорой Пугачева, поставляя ему пушки и лучшие формирования.

Однако формула английского историка и мыслителя Маколея: «Если не хотите, чтобы вас прогнали — проводите реформы» — была, по существу, несформулированным лозунгом столичной революции 1762 года. Необходимость реформ привела к власти Екатерину и ее окружение. Надо было платить по вексялям.

Сразу же после переворота один за другим стали появляться проекты, отыскивающие способы облегчить положение крестьян. Никита Панин предлагал запретить торговлю рекрутами, запретить продажу крестьян по одиночке, составить положение о крестьянских повинностях, чтобы ограничить произвол помещика. Князь Дмитрий Голицын предлагал даровать крестьянам право собственности на движимое имущество, что положило бы начало экономической независимости крестьянина, учредить институт специальных судей, которые, объезжая страну, разбирали бы на местах жалобы крестьян на помещиков. Влиятельный сановник, новгородский губернатор Яков Сивере, писал императрице: «Что касается

²¹ Бильбасов В. А. История Екатерины II. Берлин. 1900. Т. 2. С. 196.

крестьянина, то *здесь главным* препятствием служит неограниченная власть дворян налагать на своих крепостных какой угодно оброк или, лучше сказать, поступать с ними по внушению алчности и по отсутствию сознания собственного интереса. Несчастные существа большую частью находятся под властью таких господ, которые не знают, что богатство крепостного составляет богатство господина. Неограниченная власть требовать с крестьянина какой угодно работы и брать какой угодно оброк, часто решительно выше всякого вероятия, — есть без сомнения главная причина, почему тысячи русских беглецов наполняют Литву и Польшу». Он же, обращаясь к Екатерине, так определял причины пугачевщины: «Я не могу обманывать себя, когда вижу, что причиной того ужасного волнения масс в Оренбурге, Казани — на всей нижней Волге стало непереносимое рабское ярмо». Сивере был решительным сторонником ограничения власти помещиков над крестьянами.

Таким образом, складывалась явная оппозиция крепостному праву в том его виде, в каком оно существовало. Дело было за императрицей.

Панин и Дашкова толковали о связи политической свободы с освобождением крестьян, что свидетельствует о трезвости их представлений. Пушкин позже скажет, горько оценив послепетровское столетие, что политическая свобода дворянства «неразлучна с освобождением крестьян».



Старик-нищий с мальчиком. Акварель И. А. Ерменева. Около 1765 г.

Деятели 1762 года понимали, что никто не может быть свободен в стране, большая часть населения которой ввергнута в рабство.

Разумеется, они не думали, что крепостное право можно отменить немедленно и полностью. Еще Татищев опасался, что быстрая отмена рабства может вызвать такие же страшные мятежи, как и его введение. Но они считали, что надо начинать этот процесс, надо двигаться в этом направлении, чтобы постепенно снимать чреватое взрывом напряжение в стране.

Но едва ли не самым многозначительным и характерным, как по идее, так и по финалу, был «ропшинский эксперимент» пастора Эйзена.

Иоганн Эйзен, выпускник Иенского университета, более тридцати лет служил пастором в Дерптском уезде. Это был последовательный противник крепостного права, убежденный, что подобное состояние крестьян во всех отношениях пагубно для государства и дворянства. Он утверждал, что только личная свобода крестьян и право их на владение землей гарантируют устойчивость и благоденствие государства.

Проекты Эйзена были известны великому князю Петру Федоровичу, будущему Петру III, который, вступив на престол, вызвал пастора в Петербург и сделал своим советником по крестьянскому вопросу. Мы не знаем, чья это была инициатива. Но сам факт любопытен и заставляет усомниться в тотальном легкомыслии молодого императора. Тем более что

поиски выхода из «малой гражданской войны», окрасившие последние годы елизаветинского царствования, продолжались и в немногие месяцы царствования ее наследника.

После переворота 28 июня Эйзен, встревоженный происходящим, уехал из Петербурга. Но очень скоро вытребован был обратно.

Пригласил его на этот раз лидер гвардейского офицерства Алексей Орлов, которого скорее всего вдохновила на этот шаг Екатерина.

Дело в том, что параллельно с раздумьями о способах облегчить крепостное право императрица раздала активным участникам переворота



*Нищая с клюкой.
Акварель И. А. Ерменева. Около 1765 г.*

18000 государственных крестьян. Орлов получил обширное имение Роп-ша. И это имение он предоставил Эйзену как поле для опыта. Эйзену поручено было разработать способы перевести бывших казенных, а ныне крепостных крестьян на положение наследственных арендаторов. По замыслу Эйзена, наследственная аренда земли была первым этапом на пути постепенного уничтожения личной зависимости крестьян.

Эксперимент этот был чрезвычайно важен. И чрезвычайно важно для нас то обстоятельство, что гласным инициатором его был не Панин или кто-либо из его группы, чье отношение к крепостному праву нам ясно, а именно Алексей Орлов, лидер противостоящей Панину гвардейской группировки. Не только, стало быть, конституционалисты, но и сторонники самодержавия понимали необходимость найти форму мирных отношений с собственным народом, основанную на договоренности, а не на штыках и палахах.

Орлов был не одинок. Эйзену были представлены списки всех имений, пожалованных в последний период частным лицам. И для каждого в отдельности пастор должен был составить арендный контракт.

Вдохновленный Эйзен засел за эту кропотливую работу...

Надежд было много.

Через три недели после переворота, 18 июля, Екатерина выпустила специальный манифест против коррупции, в котором обличалось и проклиналось всяческое лихоимство и объявлялись тяжкие кары за таковое. Еще через три месяца, 19 октября, объявлено было, что «тайных розыскных дел канцелярия уничтожается от ныне и навсегда». (Тайная канцелярия продолжала существовать, переименованная в Тайную экспедицию.)

К этому времени дворянство хотело уже не только неограниченной власти над крестьянами, но и безопасности от своих крестьян. И каждый мыслящий человек понимал, что обеспечить эту безопасность только силой оружия невозможно. Можно сурово покарать за убийство помещика. Но как предотвратить это убийство?

Распустив в 1763 году депутатов комиссии "Уложения, собранных Елизаветой, Екатерина указала созвать новую комиссию для той же цели. Причем, кроме дворянских и купеческих депутатов, в комиссии должны были заседать и представители государственных крестьян. Это было небывалое новшество, тоже внушающее немалые надежды на установление политического равновесия и социального мира в стране.

Надежд было много. Никогда еще не было столько надежд на обновление российской общественной жизни, надежд на установление справедливого и рационального государственного устройства.

Антикрепостнические эксперименты, отмена тайной полиции, обличение «скверного лакомства и лихоимства» — все это делалось явно и громко. А рядом шла другая — тихая — деятельность.

Едва ли не первым крупным государственным деянием Екатерины было обуздание Сената, ликвидация елизаветинского «сенатского конституционализма».

При этом надо иметь в виду, что идея дальнейшего усиления Сената, прямого противопоставления его опасности деспотизма была достаточно популярна в 60-е годы. Известный просветитель, друг Новикова С. Десницкий предлагал императрице создать Сенат из шестисот или восьмисот человек. Причем этот многочисленный Сенат должен был включать представителей не только дворянства и духовенства, но и разночинцев...

В начале 1764 года на пост генерал-прокурора назначен был тот самый князь Александр Алексеевич Вяземский, который подавлял волнения на Урале. Тридцатисемилетний генерал, никогда не воевавший, но исполнявший «тайные поручения», человек весьма ограниченного ума (Екатерина потом жаловалась своему статс-секретарю Храповицкому: «Сколько я из-за него вытерпела! Все говорили, что он дурак»), Вяземский нужен был императрице как противовес участникам и идеологам переворота. Он не обладал самостоятельным влиянием или известностью. Он был всем обязан Екатерине и выполнял ее указания с непреклонной исполнительностью. Это был чистый кондотьер, вельможа-бюрократ. Этот человек должен был вести Сенатом, финансами, внутренними делами, то есть был одновременно министром финансов, юстиции и внутренних дел. Он подчинялся только самой императрице.

Чтобы понять стиль поведения новой властительницы, достаточно прочесть секретную инструкцию, данную генерал-прокурору при вступлении его в должность.

С Вяземским Екатерине не надо было хитрить, и она, блокировавшаяся с конституционалистом Паниным, созывавшая конституционную комиссию Уложения, сочинявшая знаменитый Наказ в лучших традициях европейского Просвещения, в секретном наказе генерал-прокурору, реализатору ее прагматических намерений, обосновывает необходимость неограниченного самодержавия. Причем обосновывает она этот тезис соображением как примитивным, так и традиционным: «Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного государя всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочее медлительнее в исполнениях и многое множество страстей разных в себе имеет, которые все к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного государя, имеющего все способы к пресечению всякого вреда и почитая общее добро своим собственным, а другие все, по слову Евангельскому, наемники есть».

Все здесь глубоко значимо: и установка на концентрацию власти, и представление о благе государства как о «собственности» самодержца, и полное непонимание представительного принципа — трактовка всех, кроме государя, как наемников, а не органичных представителей страны. Между тем написано это было в канун съезда депутатов от сословий.

Холодная и расчетливая политическая игра Екатерины началась уже тогда.

Что же до Сената, то императрица наставляет своего «сильного человека»: «В Сенате найдете вы две партии, но здравая политика с моей стороны требует оные отнюдь не уважать, дабы им через то не подать твердости и оне бы скорее тем исчезли, а только смотрела я за ними недреманным оком, людей же употребляла по их способностям к тому или другому делу. Обе партии стараться будут ныне вас уловить в свою сторону. Вы в одной найдете людей честных нравов, хотя и недалководных разумом; в другой, думаю, что виды далее простираются, но не ясно, всегда ли оныя полезны. Иной думает для того, что он долго был в той или другой земле, то везде по политике той его любимой земли все учредить должно, а все другое без изъятия заслуживает его критики, несмотря на то, что везде внутренние распоряжения на правах нации основываются. Вам не должно уважать ни ту, ни другую сторону, обходиться должно учтиво и беспристрастно, выслушивать всякого, имея только единственно пользу отечества и справедливость в виду, и твердыми шагами идти кратчайшим путем к истине».

Уроки политического прагматизма и лицемерия она решалась тогда преподавать немногим. Ибо знала, что у нее найдутся сильные оппоненты. Много позже незаурядный деятель и мыслитель екатерининской эпохи Семен Романович Воронцов, тщательно

продумавший опыт двух царствований, предшествовавших александровскому, писал: «Страна слишком обширна, чтобы государь, будь он хоть вторым Петром Великим, мог все делать сам при существующей форме правления без конституции, без твердых законов, без несменяемых и независимых судов». Воронцов декларировал это в 1801 году, ибо политические и экономические итоги прошлого столетия оказались удручающими.

После 1762 года перед властью появилась возможность выбора вариантов. Игра общественных сил была столь разнообразна, что можно было найти союзников для политики самого разного толка.

Екатерина выбрала петровский путь — концентрация власти и ужесточение (казалось бы, куда больше!) крепостного права.

Параллельно с подготовкой комиссии Уложения Екатерина издавала антикрестьянские указы, один из которых лишил крепостных последнего права — права жаловаться на своих помещиков, а второй дал помещикам новое право — отправлять крестьян без суда на каторгу. Эти указы, соседствовавшие с просвещенным Наказом и заседаниями комиссии, увенчали чреватое тяжкими катаклизмами здание рабства в России.

Часто толкуют о том, что Екатерина только уступила давлению крепостников, которые единодушно высказались за рабство. Это не совсем верно.

Во-первых, указы о праве помещика без суда отправлять крестьян на каторгу, ссылать в Сибирь и сдавать в солдаты были обнародованы до заседаний комиссии в 1765 и 1766 годах. В те самые годы, когда близкие тогда к императрице и достаточно влиятельные люди разрабатывали способы смягчения рабства, реформирования крепостного права с перспективой в будущем его отмены. Во-вторых, из двадцати выступавших на комиссии по крестьянскому вопросу депутатов — 12 были безоговорочно за рабство, а 8 занимали разные позиции иного толка. Кроме того, существовали группировки Паниных — Дашковой, был Алексей Орлов с его окружением. Расстановка сил была отнюдь не единообразной. Дело было не в этом.

Я. Зутис совершенно справедливо писал: «В историографии существует мнение, что именно во время составления Наказа произошел перелом во взглядах императрицы на крепостное право. „Более половины мною зачеркнуто, разорвано и сожжено, и Бог ведает, что станет с остальным“, — писала Екатерина II в начале февраля 1767 года, имея в виду сопротивление ее либеральным идеям, которое оказали защитники крепостного права. При этом делается ошибочный вывод, будто одинокая императрица противостояла или пыталась противостоять всему дворянству. В действительности перед нами борьба между двумя группировками... Победила та группа дворянства, которая считала образцом, достойным подражания, остзейские порядки (барщинный принцип. — Я. Г.), а потерпела поражение группа Орлова—Эйзена, мечтавшая о насаждении в России аграрных отношений по образцу Зап. Германии и Франции...»²².

Кроме группировки Алексея Орлова, за которым стояла значительная часть гвардейского офицерства, была еще, как мы знаем, группировка Панина и сочувствующего ему высшего дворянства, продолжавшего дело князя Дмитрия Михайловича Голицына.

Таким образом, Екатерине надо было выбирать не между собственным либерализмом и русским дворянством, а между разными группировками. Она выбрала крепостников и сторонников неограниченного самодержавия.

В 1766 году пастор Эйзен по желанию императрицы был удален от дел. «Ропшинский эксперимент» закончился.

²² Зутис Я. Указ. соч. С. 337.



Благоденствие России. Аллегория. Рисунок И. А. Ерменева. 1773 г.

В 1768 году Екатерина распустила «соброр» представителей сословий. Никаких практических результатов заседания комиссии не имели.

Михаил Фонвизин писал: «Это торжественное собрание, долженствовавшее доставить русским политическую самобытность, кончилось ничем. После нескольких заседаний, в которых более осмысленные депутаты позволили себе коснуться важных политических вопросов, как то: о противоестественности крепостного рабства почти половины населения империи, которое лишено всех гражданских прав, также, будет ли верховная власть, после издания нового Уложения, изменять его именными указами и т. п. Вследствие этого собрание представителей было распущено под предлогом начавшейся турецкой войны. Екатерина угадывала в собрании депутатов будущее противодействие своему неограниченному самодержавию»²³.

В знаменитом «Наказе» есть многозначительная XXI глава «О благочинии, называемом инако полицией». Глава эта основана на новейших достижениях «полицейской науки» (это не иронический термин!), в которой подвизалось немало австрийских и прусских юристов, так называемых юристов-полицейстов. Суть ее состояла в разработке и последующей реализации точных бюрократически-полицейских рецептов на все случаи общественной жизни человека.

Студент Казанского университета Лев Толстой, тщательно анализируя екатерининский «Наказ», пришел к выводам, нелестным для либеральной императрицы: «Ежели мы хотим поддержать власть, происшедшую из преобладающей силы — злоупотребления, то лучший способ есть злоупотребление и сила — как это и выразила Екатерина, положив наказание за выражение своих мыслей». И в финале — Екатерина «республиканские идеи ... употребила как средство для оправдания деспотизма».

Дело не в том, правы ли критики императрицы относительно ее истинных замыслов. Нам важно восприятие реальных результатов деятельности Екатерины людьми, представляющими либеральное дворянство. Фонвизин был одним из наиболее ярких идеологов этого слоя. Толстой — потомок Трубецких и Волконских — детство свое провел в аристократической среде, «фрондирующей правительству» (по его выражению) и не желавшей иметь дело с имперской бюрократией. Эта среда не в последнюю очередь

²³ Фонвизин М. А. Указ. соч. С. 126.

формировала то направление общественного мнения, те политические представления, которые вдохновляли деятелей тайных обществ.

Нам в данном случае необходимо понять, почему лидеры тайных обществ создали эти общества, почему они выбрали этот, а не иной путь. Для этого необходимо попытаться увидеть происходящее их глазами. Тем более, что будучи людьми близкими по времени к екатерининскому царствованию, они понимали историческую реальность тоньше и живее, чем мы, ищущие истину в океане документов...

Разумеется, императрица Екатерина не была коварной лицемеркой, затеявшей головоломную игру, чтобы обмануть Вольтера и Дидро. Она безусловно хотела добра своему государству. Но ее хитроумная политическая прагматика носила тактический, а не стратегический характер. Мы-то знаем, какой кровью закончилось первое десятилетие ее царствования. И знаем, какой катастрофой закончилось существование империи, для укрепления которой она приложила столько усилий.

Люди, приступившие через двадцать лет после ее смерти к созданию тайных сообществ в России, помнили эту кровь и увидели эту катастрофу...

Стремление контролировать и регламентировать человеческие поступки во всем их многообразии, заданное еще Петром, получило обоснование и развитие в царствование Екатерины II и, пройдя через драматический эксперимент Павла, нашло свое завершение в режиме Николая I. Но, в отличие от всех названных государей, Екатерина сумела искусно закамуфлировать эту пагубную тенденцию проникновения государственного надзора во все сферы жизни... Первый этап царствования подходил к концу. Общественная энергия переключалась на дела внешнеполитические.

В 1772 году отстранены были от власти Орловы. Началось восхождение Потемкина, с именем которого связаны административные реформы, укрепившие структуру удержания и подавления и широкие завоевательные планы.

А что же конституционная оппозиция и «гвардейский парламент»?

Фонвизин в своем «Обзрении проявлений политической жизни в России» рассказывает: «Граф Н. И. Панин, воспитатель великого князя наследника Павла Петровича, провел молодость свою в Швеции. Долго оставаясь там посланником и с любовью изучая конституцию этого государства, он желал ввести нечто подобное в России; ему хотелось ограничить самовластие твердыми аристократическими институциями. С этой целью Панин предлагал основать политическую свободу сначала для одного дворянства, в учреждении верховного Сената, которого часть несменяемых членов... назначалась бы от короны, а большинство состояло бы из избранных дворянством из своего сословия лиц. Синод тоже входил бы в состав общего собрания Сената. Под ним в иерархической постепенности были бы дворянские собрания губернские или областные и уездные, которым предоставлялось право совещаться об общественных интересах и местных нуждах, представлять о них Сенату и предлагать ему новые законы...

Выбор как сенаторов, так и всех чиновников местных администраций производился бы в этих же собраниях. Сенат был бы облечен полною законодательною властью, а императорам оставалась бы власть исполнительная с правом утверждать Сенатом обсужденные и принятые законы и обнародовать их. В конституции упоминалось и о необходимости постепенного освобождения крепостных крестьян и дворовых людей. Проект был написан Д. И. Фон-Визиним под руководством графа Панина...

Мой покойный отец рассказывал мне, что в 1773 или 1774 году, когда цесаревич Павел достиг совершеннолетия и женился на дармштадской принцессе, названной Натальей Алексеевной, граф Н. И. Панин, брат его, фельдмаршал Петр Иванович, княгиня Е. Р. Дашкова, князь Н. В. Репнин, кто-то из архиереев, чуть ли не митрополит Гавриил, и многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину II и вместо ее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие»²⁴.

У нас нет оснований подозревать Фонвизина в пустом фантазерстве. Он честно зафиксировал семейное предание. Разумеется, в начале 1770-х годов возможность государственного переворота была маловероятна. Но крайне симптоматично, что подобное

²⁴ Фонвизин М. А. Указ. соч. С. 127.

предание могло появиться. Версия, изложенная Фонвизиним, означает, что идеи подобного рода существовали, и, соответственно, мы можем определить направление мысли тех, кого декабристы считали своими учителями: поскольку верховная власть не оправдывает ожиданий, не проводит необходимых для истинной стабильности реформ, на повестку дня становятся другие методы, восходящие к традиции дворцовых переворотов — политических акций гвардии.



Изображение Пугачева, предназначенное для распространения в Европе. Гравюра. 1770-е гг.

Реально ли в принципе было участие гвардейского офицерства в этой гипотетической попытке противостояния? Безусловно. Уже весной 1763 года поступил донос на нескольких гвардейских офицеров, активных участников переворота. Капитаны Михаил Ласунский, Николай Рославлев, преображенец Хитрово выражали недовольство возвышением Орловых, предавших, как им представлялось, общие гвардейские интересы: «...Мы было чаяли, что наша общая служба к государыне утвердит нашу дружбу, а ныне видим, что они разврат.»

Когда разнесся слух, что Екатерина собирается вступить в брак с Григорием Орловым, и большая группа гвардейских офицеров решила этому воспротивиться, то на следствии фигурировали имена Никиты Панина и Дашковой как покровителей заговорщиков, а также и сведения о том, что Екатерина обещала в канун переворота быть лишь правительницей, регентшей при малолетнем наследнике. Императрица обошлась с бунтовщиками чрезвычайно мягко, они были просто удалены из столицы.

В 1767 году, во время работы Комиссии Уложения, группа гвардейских офицеров возмутилась разговорами об освобождении крестьян: «Мужики всех перебьют, и так ныне бьют до смерти и режут». Во-первых, этот пассаж свидетельствует об уровне напряженности в стране и ежедневных ощущениях русского дворянства, а во-вторых, говорит о наличии слепой оппозиции крестьянской реформе — хотя речь шла всего лишь о праве помещиков добровольно освобождать крестьян поодиночке и деревнями. За это ратовали братья Орловы и те, кто стоял за ними. Сторонники статус кво не способны были предвидеть последствий крушения крестьянских надежд, не могли и представить себе, сколько дворян будет «побито до смерти и зарезано» мужиками через каких-нибудь пять лет...

Когда дело касалось изменений такого масштаба, единства в гвардии не было.

Все тридцать с лишним лет царствования Екатерины мы можем проследить пунктир гвардейской оппозиционности. Результаты переворота 28 июня, как немедленные, так и долгосрочные, многих разочаровали.

Надежды тех, кто стоял за реформы, возлагались на наследника Павла Петровича, воспитанника Никиты Панина. И в 1780-1790-х годах сложилась низовая офицерская оппозиция, ориентированная на великого князя. В апреле 1782 года было перехвачено письмо молодого полковника Петра Бибикова своему другу князю Александру Куракину, близкому человеку наследника, путешествовавшему в это время с великим князем по Европе. В письме говорилось о несносности положения в стране, о деспотизме Потемкина, о необходимости перемен. Бибиков заверял Куракина — явно для передачи великому князю, — что он готов доказать свою преданность наследнику на деле, и намекал на то, что не он один так думает.

Бибиков был отправлен служить в Астрахань.

Подспудная политическая энергия гвардии не ослабевала...

Не надо думать, что масса народа не имела представления о том, что делалось в верхах. Крестьянство было связано с верхним слоем большим количеством промежуточных звеньев: городские средний и низший слои, оброчные крестьяне, жившие между городом и деревней, дворовые люди. Политическая информация доходила до крестьянства в виде слухов, усиливавших именно те моменты, которые более всего волновали народ. А в 1768 году в провинцию возвратились депутаты комиссии Уложения — казенные крестьяне — с сообщением о провале их миссии.

К 1772-1773 годам произошло крушение надежд, с которых началось царствование и которые Екатерина искусно поддерживала. Страна ответила на это гигантским мятежом.

Не пугачевщина заставила Екатерину отойти от своих деклараций, а невыполнение обещаний, крушение надежд на радикальные перемены вызвало пугачевщину.

Пушкин, автор «Истории Пугачева», утверждал с полным основанием: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства... (NB. Класс

приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних *было* в шайках Пугачева.)»²⁵.

Отказавшись от смягчения рабства, отринув путь, ведущий к представительному правлению или хотя бы частичному ограничению самодержавия, сделав ставку на концентрацию власти — то есть отказавшись от положительных тенденций елизаветинского царствования и усугубив отрицательные, Екатерина снова привела власть в состояние войны со своим народом. Подавление пугачевщины не решало проблемы. Круг замыкался — Россия возвращалась к состоянию завоеванной страны.

Реформы 80-х годов продемонстрировали не столько стратегическую дальновидность, сколько тактический талант императрицы: дворянам дано было местное самоуправление, что позволило говорить о децентрализации, но при этом был введен институт наместников, генерал-губернаторов, обладавших всей полнотой военно-полицейской власти и подчиненных лично императрице.

Да, появилось вольное книгопечатание, расцвет журналистики, взлет литературы — еще один этап духовного раскрепощения для дворянского авангарда. Нравы стали гуманнее. Это было неизбежное следствие лавирования. Но вместе с тем крепостное право достигло своего апогея. Закрепощенная Малороссия, не знавшая прежде рабства, еще усилившийся после свирепого подавления крестьянской войны социальный антагонизм, расстроенные финансы, падение уровня жизни низов, огромные потери в постоянных войнах, вкус к внешнеполитическим авантюрам вроде завоевания Турции и создания Греческой империи во главе с внуком Екатерины Константином, предусмотрительно названным именем основателя Константинополя...

Право генерал-губернаторов заседать в Сенате наравне с сенаторами было символом торжества военно-полицейской структуры над конституционными надеждами. «Екатерина II

²⁵ Пушкин А. С. Поля. собр. соч. в десяти томах. М.-Л., 1949. Т.8. С.357.

окончательно устранила опасность ограничения самодержавной власти как сверху, со стороны Сената, так и снизу, со стороны привилегированных губерний с их особыми учреждениями и сословными правами», — писал вдумчивый историк²⁶. Дворянам дали эфемерные местные права, лишив их возможности вмешиваться в государственную жизнь. Людей, получивших вкус к свободному волеизъявлению, вставших на европейский уровень просвещенности, осознавших свой долг не только перед государством, но и перед народом своим, вернули в военно-полицейскую структуру, укрепленную и усовершенствованную, установленную на все том же вулкане народного недовольства.

Именно в это царствование ясно выявились две взаимоисключающие линии общественного развития, зародившиеся во времена Петра I, — внутреннее раскрепощение и внешнее закрепощение. Никогда еще в России уровень самосознания дворянского авангарда не стоял так высоко, и никогда еще не достигала такого совершенства система контроля, удержания, сыска, :е нуждавшаяся в тотальном терроре. Никогда еще гром побед и треск демагогии не соседствовали с таким закабалением и унижением народа.

Имперская внешняя политика стоила дорого. Екатерине пришлось покрывать дефицит в 200 000 000 рублей серебром. Для этого — впервые в России — пришлось прибегнуть к выпуску необеспеченных ассигнаций на 156 638 000 рублей, прибегнуть к внешнему — впервые в России — займу общей суммой на 33 073 000 рублей и внутреннему на 15 570 000 рублей*.

Разрыв между доходами империи и ее расходами, как мы увидим, возрастал с каждым царствованием.

Самодержавное государство при Екатерине небывало укрепилось не столько за счет политического и социального равновесия, сколько за счет резко возросших возможностей контроля над своими подданными. Произошло окончательное окостенение структуры. Внешний блеск создал видимость благополучия и стабильности. Но это была ложная стабильность.

Каковы бы ни были субъективные намерения Екатерины, создание государства ложной стабильности и максимальное закрепление этого принципа, давшее самодержавию возможность погасить любые попытки конституционных реформ и загнать в тупик дворянский авангард — главный стратегический результат блестящего екатерининского царствования, если рассматривать события в исторической перспективе.

²⁶ Зутис Я. Указ. соч. С. 340.

НАСЛЕДНИКИ ВЕКА

Я нахожу в России два состояния — рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только по отношению, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов.

Сперанский

Едва ли не треть русского дворянства мыслила почти подобно нам.

Александр Бестужев

Старшие

Декабристы были детьми петровской эпохи.

Декабристы были детьми елизаветинской эпохи. Декабристы были детьми екатерининской эпохи.

Декабристы вышли из XVIII века. Как и Пушкин, они были наследниками лучших идей этого века. Как и Пушкин, они пытались отстаивать эти лучшие идеи века.



*Кадеты гвардейских полков
середины XVIII века. Литография.*

Они были детьми политической истории русской гвардии, созданной и воспитанной Петром, вложившим в нее тяжкое и одновременно плодотворное противоречие, о коем *много* уже говорилось.

Они были детьми русской гвардии, которая дала толчок елизаветинским переменам, а затем открыла перед Екатериной возможность выбора вариантов.

Недаром в списке книг, которые должны были читать члены продекабристского общества «Зеленая лампа», членом которого был Трубецкой, — списке, состоящем почти исключительно из книг по русской истории, вместе с Карамзина «Историей» стоят Манштейновы «Записки», подробно рассказывающие о дворцовых переворотах времен Бирона, Брауншвейгов и Елизаветы.

Декабристы были детьми 1812 года, так же как их прямые предшественники, вольнодумцы и конституционалисты екатерининской эпохи, в известной степени были детьми Семилетней войны, которая надолго вывела русскую армию в Европу и показала генералам и офицерам, как живут люди там. В Европе в то время существовала разного рода зависимость земледельцев от помещиков, но ничего подобного российскому рабству там

давно уже не было. И если в течение XVIII века Европа изживала крепостное право, то Российская империя его укрепляла и ужесточала.



*Унтер-офицер и обер-офицер
конца XVIII века. Литография.*

А что же дворянский авангард? А что же гвардия?

Еще Елизавета, всем обязанная гвардейцам, продолжила биронов-скую политику противопоставления гвардии армейских полков. Когда 18 января 1742 года происходила церемония объявления приговора противникам Елизаветы, столпам предшествующих царствований Остерману, Миниху и прочим, то охрана площади доверена была не гвардейцам, а Астраханскому пехотному полку, который вместе со знакомым нам Ин-германландским полком постоянно, с петровских времен, квартировал в столице.

Когда из-за столкновения гвардейцев с офицерами-немцами в Петербурге начались волнения преображенцев и семеновцев, то фельдмаршал Ласси вывел на улицы армейскую пехоту.

Когда в том же 1742 году в лагере под Выборгом солдаты старейших гвардейских полков попытались повлиять на ход переговоров командования со шведами и самочинно арестовали шведских парламентариев, то против них были двинуты конная гвардия и армейская пехота.

Но дело было не только в послушной правительству и политически нейтральной армейской массе. В XVIII веке стал несравненно интенсивнее процесс, начавшийся до Петра, но мощно им стимулированный, — процесс выдвижения к реальной власти бюрократии, ставшей инструментом и опорой самодержавия. В 1730 году душой и мозгом антиконституционного заговора был классический бюрократ Остерман.

На протяжении елизаветинского и особенно екатерининского царствований шел процесс, с одной стороны, усиления бюрократии, [с другой — нейтрализации подкупленной правительством значительной части дворянства, утратившей всякую политическую трезвость, уверовавшей в то, что обеспечить мир в государстве можно одними репрессивными мерами по отношению к крестьянству.

Дворянский авангард, включавший в себя лучшую часть гвардейского офицераства, но теперь уже не ограничивающийся им, постепенно, но неуклонно оттеснялся от участия в государственной жизни. Самодержавному государству теперь было что противопоставить «гвардейскому парламенту».

Недаром в 1762 году гвардейское офицерство обратилось за советом, поддержкой и покровительством к вельможам Никите Панину и Кириллу Разумовскому.

Недаром во главе заговора, погубившего Павла, стояли генералы, офицеры были исполнителями, а солдаты — по существу — соблюдали нейтралитет. Помимо всего прочего, это объяснялось и резким изменением состава гвардии. Например, если в 1762 году Семеновский полк насчитывал 1052 дворянина, что составляло почти половину нижних чинов, то к моменту воцарения Павла в 1796 году их стало всего 205 человек. А к 1801 году и того меньше. Идеология солдат, рекрутированных в основном из крестьян, весьма отличалась от идеологии той социально мозаичной группировки, которой была гвардия в момент вступления на престол Елизаветы.

Во время воцарения Павла, которое было в некотором роде государственным переворотом, ибо по желанию Екатерины, правда, законодательно не оформленному, трон предназначался Александру, гвардия осталась спокойной. Активные мыслящие офицеры помнили надежды, которые возлагались на великого князя, а солдаты не склонны были разбираться в политических тонкостях. Теперь солдатам нужны были для выступления лидеры-офицеры. Через двадцать лет бунт Семеновского полка, не возглавленный свободомыслящими офицерами, превратился в жертвенный акт.

В ноябре — декабре 1825 года члены тайного общества попытались возродить традицию гвардейской политической самостоятельности и активности в принципиально новых условиях и на принципиально ином уровне политических идей. Но для того чтобы увлечь за собой солдат, им пришлось вместо своих истинных мотивов во всей их полноте предложить нижним чинам испытанную модель XVIII века — защиту законных прав законного претендента на престол. Того претендента, который способен изменить и облегчить жизнь страны вообще и солдатскую в первую очередь...

Декабристы были детьми XVIII века и 1812 года.

Так что же вспоминалось их идеологам, когда они вернулись из заграничного похода? Как совмещалось в их сознании наследие двух эпох? На что могли опереться они, чье политическое сознание и чувство гражданского долга, генетически заложенное в них прошлым веком, было разбужено народной войной — пугачевщиной — и наблюдениями над европейским

общественным бытом, чье честолюбие было подхлестнуто бурными карьерами революционных генералов Франции?

После царствования Павла, вспоминавшегося гвардейскому офицерству и сановникам как ночной кошмар, начались бурные поиски противовеса самодержавной власти. Снова появились проекты возвышения Сената. Один из главных участников переворота, свергнувшего Павла, Никита Петрович Панин, племянник Никиты Ивановича, одного из идеологов переворота 1762 года, основываясь на известном нам плане своего дяди, предлагал молодому царю отдать выборному в значительной своей части Сенату законодательную власть. Человек, который позже займет немалое место в планах декабристов, адмирал Николай Семенович Мордвинов, писал в 1802 году: «Права в отношении к государственному благу, для твердости их, должны иметь опору, *un grade*, а не должны быть основаны на некоторых малочисленных лицах; ибо такое основание легко может быть отменено, уничтожено, ибо какую опору может составить малое число лиц? Доколе сенат не будет избранный, то в настоящем положении он не имеет достаточной власти и силы».

Проницательный Мордвинов видел опасность принципа концентрации власти на малом пространстве.

Около 1811 года Мордвинов в наброске «Для составления палат Государственных» снова предлагал ограничить с помощью Сената власть самодержца. Сенат, по мысли Мордвинова, следовало реорганизовать в двухпалатный представительный орган. Верхняя палата состояла бы из несменяемых депутатов дворянства, получающих высокое казенное жалование и парламентскую неприкосновенность. Нижняя палата представляла бы сословия — дворян, купечество, владельцев крупных мануфактур, наиболее богатых свободных

крестьян. Несколько позже Мордвинов предлагал еще увеличить права верхней палаты. Она должна была теперь называться «Государственной Думой» или «Думой вельмож».

С проектами значительного увеличения прав Сената и принципами его выборности выступили сенаторы Гаврила Романович Державин и Александр Романович Воронцов. Да и не только они.

Все реалистически мыслящие политики ощущали необходимость подобного органа.

Российское самодержавие в лице либерального Александра I ответило на предложения конституционалистов вполне традиционно. В основу указа о Сенате от 8 сентября 1802 года легло соображение одного из «молодых друзей» царя — Виктора Павловича Кочубея, который считал, что указ должен касаться «только процессуальной стороны прохождения дел через Сенат, ни о каких правах и привилегиях в нем не должно быть речи впредь до того времени, когда законы Российской империи будут в наилучшем порядке».

Параллельно с конституционными проектами возникали проекты, касающиеся положения крестьян.

В Негласном комитете, состоящем из ближайших к молодому царю людей и работавшем с участием самого Александра, обсуждался в 1801 году



*Александр I. Гравюра
с портрета работы Вуаля. 1802 г.*

проект Мордвинова о предоставлении казенным крестьянам права покупать незаселенные земли. Речь, в конечном итоге, шла о праве крестьян на земельную собственность.

На заседании этого комитета один из «молодых друзей» царя Павел Александрович Строганов, воспитанник французского якобинца Шарля Рома, говорил: «В вопросе освобождения крестьян заинтересованы два элемента — народ и дворянство... Эти девять миллионов людей, рассеянных по лицу всей земли российской, разны мыслят, разны чувствуют, но везде и всегда тяготятся своим рабством, везде и всегда мысль о неимении собственности подавляет их способности, вследствие чего промышленность (то есть плоды трудов.— *Я. Г.*) этих 9 миллионов ничтожна для народного благосостояния... Они рано исполняются величайшей ненавистью к классу помещиков, своих притеснителей». Это говорилось не на страницах осужденной книги Радищева, не на заседании тайного общества, даже не в гостиной либерального вельможи, а в Зимнем дворце, в присутствии императора. И вывод делался ясный и точный — опасность взрыва, опасность крестьянского мятежа «не столько в освобождении крестьян, сколько в удержании крепостного состояния».

Будем справедливы к Александру — сразу после своего воцарения он сделал несколько попыток принципиально изменить ситуацию в стране. Входящие в

Негласный комитет четверо личных друзей молодого императора — Адам Чарторыйский, Николай Новосильцев, Виктор Кочубей и Павел Строганов — пытались разработать систему реформ, в результате которых были бы защищены права граждан, власть императора ограничена, а вновь принятые либеральные законы сделались незыблемыми. Однако вскоре выяснилось, что «молодые друзья» совершенно не подготовлены к законодательной деятельности такого масштаба. Они оказались способны предлагать лишь конкретные частные идеи. Так 12 декабря 1801 года Александр издал указ, по которому людям «третьего сословия» — купцам и мещанам, а также казенным крестьянам — разрешалось приобретать незаселенные земли. Но это, как мы знаем, была идея Мордвинова.

Указ 12 декабря, не будучи поддержан другими экономическими переменами, особой роли сыграть не мог.

Главное же было — что делать с крепостным правом?

Вскоре после своего драматического вступления на престол Александр учредил Непременный совет — предтечу Государственного совета. Он состоял из маститых сановников екатерининского царствования и должен был обсуждать законопроекты, направляемые в Совет императором. Первым законопроектом, вынесенным на обсуждение, был проект указа, запрещавшего продавать крестьян без земли. «Екатерининские орлы» решительно выступили против этой меры, аргументируя свою позицию тем, что это может взбунтовать крестьян. Они были бескомпромиссными апологетами идеи ложной стабильности.

Единственным действительно важным шагом по направлению к крестьянской реформе был указ о вольных хлебопашцах, изданный 20 февраля 1803 года. Инициатором указ был сыном знаменитого екатерининского полковника фельдмаршала Румянцева графом Сергеем Петровичем. Он обратился к императору, убеждая его развить действие уже принятого указа 12 декабря, разрешив землевладельцам отпускать крепостных на волю, причем не в индивидуальном порядке, что было возможно и раньше, а целыми деревнями, с правом крестьян выкупить свои наделы. Непременный совет дал свое согласие, но предложил принципиально сузить смысл установления, превратив его в частный указ на имя Румянцева. Несмотря на это, прецедент был важен. Но сколько-нибудь широкого применения не получил.

Относительная лояльность консервативных вельмож в этом случае, возможно, объяснялась именем и репутацией инициатора указа, который хотя и был горячим противником рабства, но все же принадлежал к их кругу, а не к «якобинской шайке», как называли «молодых друзей» в окружении вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Мария Федоровна, сама претендовавшая на власть после убийства Павла I, отнюдь не одобряла либеральных планов своего старшего сына. И это создавало напряжение в Зимнем дворце, безусловно психологически влиявшее на молодого императора. Противостояние сторонников Марии Федоровны и Александра в неявной форме продолжалось все его царствование и сыграло свою роль в династическом кризисе 1825 года.

В первые годы царствования перед Александром встал выбор — ломать сопротивление консерваторов, пользуясь никем не отмененным принципом самодержавия, формируя опору власти из молодых либерально настроенных военных и статских деятелей, или, следуя примеру своей бабушки, начать лавирование, стараясь не озлобить ни одну из влиятельных групп. Он выбрал второй путь, и его можно понять, ибо первый путь таил в себе серьезную и вполне определенную опасность — его отец и дед были убиты их окружением... Однако, как мы увидим, когда у него появилась возможность реализовать свои либеральные планы, он эту возможность упустил.

И дело было отнюдь не в слабости характера Александра и не в отсутствии соратников. «Некем взять!» — жаловался он. И лицемерил, если иметь в виду эпоху после сокрушения Наполеона.

Один из «молодых друзей» Александра, Адам Чарторыйский, близко его знавший, выразительно сформулировал главную установку императора: «Ему нравился призрак свободного правительства и он хвастался им; но он домогался одних форм и наружного вида, не допуская обращения их в действительность; одним словом,

он охотно даровал бы свободу всему миру при том условии, чтобы все добровольно подчинились исключительно его власти».

Разумеется, сколько-нибудь серьезное продвижение в крестьянском вопросе неминуемо встретило бы энергичное сопротивление как большинства помещиков, так и придворных кругов. Рисковать Александр не хотел.

Александр многим дал говорить о тяжком положении в стране, но никому не дал эффективно действовать, чтобы исправить это положение. Ему было на кого опереться в постепенных, но фундаментальных преобразованиях. Но он шел — как и обещал при воцарении — по пути своей бабушки. Признавая необходимость административной реформы, он учредил министерства с ответственностью министров перед Сенатом. Однако вскоре эта ответственность была принципиально подорвана правом личных докладов министров императору и системой особых полномочий, которые они от Александра получали. Министры оказались фактически ответственны лично перед царем. То есть произошло то же самое, что и с пресловутой децентрализацией при Екатерине — наместники, обладавшие всей полнотой власти на местах, зависели непосредственно от императрицы...

Лидеры декабризма прекрасно знали о конституционных и антикрепостнических проектах первого десятилетия века и на них в значительной степени ориентировались. Но, пожалуй, никто в канун восстания 14 декабря не играл такой роли в их планах, как Михаил Михайлович Сперанский.

Сын священника, сделавший единственную в своем роде карьеру благодаря своим дарованиям, Сперанский занял исключительное положение при Александре и, рассчитывая на его поддержку, попытался реформировать как систему управления, так и социальную жизнь страны. Человек, с одной стороны, холодного и ясного ума, мечтатель и мистик — с другой, он видел неотложность преобразований и видел, куда должны идти эти преобразования.

Встав за спиной Сперанского, позволив ему выдвигать радикальные проекты, Александр сделал блестящий демагогический ход. Кандидатов в преобразователи в тот момент, как мы видели, было много. Среди них были фигуры весьма незаурядные. Но Александр выбрал именно Сперанского не только по причине его блестящей эрудиции, огромной работоспособности и четкости мысли. Александр выбрал Сперанского по причине его уязвимости. За Сперанским никто не стоял. Он держался только поддержкой царя. И царь мог пресечь деятельность Сперанского в единый миг. Русское сословное общество жило по своим законам. Если бы Александр дал Мордвинову или Строганову разработать столь подробную систему реформ, обещал им свою поддержку, дал им зайти так далеко, как зашел в своей деятельности Сперанский, то процедура расставания с ними была бы куда как неприятнее и сложнее для царя. И вызвала бы недовольство соответствующей группировки. Сперанский был беззащитен.

Герцен писал об особенности ситуации в русском обществе вообще и вокруг Сперанского в частности: «Трудность положения Сперанского состояла в его семинарском происхождении. Будь он побочный сын какого-нибудь вельможи, ему были бы легче все реформы. Попович — статс-секретарь и доверенное лицо у государя был бельмом на глазу у всех...»

Этот человек, выдвинувшийся волей самодержца, рассуждая о «коренных законах государства», писал в 1802 году: «Из сего следует: 1) что коренные государства законы должны быть творением народа; 2) коренные государства законы полагают пределы самодержавной власти».

По мысли Сперанского, законодательная власть должна быть отделена от исполнительной и судебной. Государственный совет во главе с императором представлялся ему «центром государственного могущества», то есть регулирующим органом. Законодательство отдавалось в руки Государственной Думы. Всем судопроизводством должен был ведать Сенат. Непосредственное управление государством вручалось министерствам.

Сперанский был убежденным сторонником представительного правления — Государственная Дума состояла из депутатов, избираемых свободными сословиями. В нее входили депутаты от дворян, духовенства, купечества, казенных крестьян. Но и крепостным крестьянам предполагалось постепенно давать гражданские права.

Сперанский был убежденным противником крепостного права.

Н. В. Минаева, автор чрезвычайно полезной книги, в которой систематизирован и проанализирован большой и свежий материал, пишет: «Древнейшее крепостное право, по мысли Сперанского, оформилось в течение полутора столетий (XVТХVII вв.). Ранее прикрепленный крестьянин не к личности владельца, а к земле, не мог быть продан отдельно от земли или взят во двор. В конце XVI столетия владельцы стали смешивать крестьян с холопами: употреблять их для дворовой службы и продавать подобно холопам. Это положение было узаконено в 1731 году, когда крестьяне были признаны движимым имуществом землевладельца. Так сложилась наиболее тяжелая форма крепостного права.

Сперанский считал, что раскрепощение должно было идти в обратном порядке: сначала — запрещение продавать крестьян без земли и брать во двор; затем „безусловная" зависимость крестьянина от владельца должна быть заменена условною, основанной на договоре, поставленном под охрану общих судов. Это возвращало бы крестьянину его гражданские права: его экономическое положение обеспечивалось бы участком земли, который уступал бы ему помещик в пользование за определенные повинности»²⁷. Как видим, схожие идеи высказывались в царствовании Екатерины и были ею отмечены.

Архивными исследованиями Н. В. Минаева доказала, что своих убеждений Сперанский придерживался до конца жизни. А жизнь его не баловала. В 1812 году, незадолго до войны, Александр предал своего государственного секретаря, сделал вид, что поверил доносу, обвиняющему Сперанского в шпионаже, и выслал его в Пермь.

Впоследствии декабристы по достоинству оценили финал карьеры Сперанского. Михаил Фонвизин писал: «Один из приближенных к императору умных и достойных советников — граф Сперанский, который, возбудив зависть и недоброжелательство столбовых дворян своими достоинствами и быстрым возвышением, был без всякой вины удален Александром в 1812 году чрез дворскую интригу и в угождение тогдашнему общественному мнению»²⁸.

Нелегкая ссылка, где он оказался во власти ненавидевшего его провинциального чиновничества, внезапное крушение грандиозных планов — все это, безусловно, надломило Сперанского. Ни последующее губернаторство в Сибири, ни возвращение в Петербург членом Государственного совета не исправили главного: Сперанский был лишен реального влияния на государственную жизнь страны в целом. Но первые десять лет александровской эпохи с их великими надеждами он помнил куда как остро. Помнили о его роли в это десятилетие и декабристы накануне восстания. Формула Сперанского 1809 года: «Настоящая система правления не свойственна уже более состоянию общественного духа и настало время ее переменить и основать новый порядок вещей» — по своей стратегической сути совпадала с их позицией.

Через много лет — 1 января 1834 года — Пушкин записал в дневнике: «Разговор со Сперанским о Пугачеве, о Собрании Законов, о первом времени царствования Александра, о Ермолове etc.»²⁹. Разговор этот происходил в новогоднюю ночь. Декабристы в Сибири. А Пушкин и Сперанский, встречая очередной год николаевского царствования, беседуют на главные декабристские темы. Член Государственного совета Сперанский оставался для Пушкина человеком декабристского круга проблем. Этот новогодний разговор самим своим содержанием много говорит о Сперанском...

Вот что было за спиной основателей первых декабристских обществ. Первое десятилетие века, насыщенное напряженными конституционными и антикрепостническими исканиями, с его великими надеждами, — надеждами несостоявшимися! — с его реформами, имеющими вот-вот произойти, — но так и не произошедшими! — это веселое, бурное и драматическое десятилетие, дважды прерывавшееся неудачными войнами с Наполеоном, похоронившим Французскую революцию, но при этом встряхнувшим и сломавшим реакционную структуру

²⁷ Минаева Н. В. *Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение в России начала XIX века*. М., 1982. С. 121.

²⁸ Фонвизин М. А. *Указ. соч.* С. 148.

²⁹ Пушкин А. С. *Указ. соч.* С. 34.

остальной Европы, десятилетие, завершившееся могучим рывком народной энергии и победой над непобедимым, казалось бы, противником, — это десятилетие и эта война, слившись, стали их школой.

Они, эти молодые поручики, полковники, генералы, впервые за несколько лет остановившись посредине второго десятилетия века и оглядевшись — улеглись пьянящие военные воспоминания, потускнели заграничные впечатления, — почувствовали разочарование и горечь от того, что увидели они вокруг себя...

Декабрист Владимир Федосеевич Раевский воспроизвел потом свои послевоенные ощущения: «Власть Аракчеева, ссылка Сперанского... сильно встревожили, волновали людей, которые ожидали обновления, улучшений, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего отечества...»

Младшие

Они вернулись из заграничного похода, полные веры в благие намерения Александра.

Князь Сергей Трубецкой вспоминал: «Некоторые молодые люди, бившиеся за Отечество и царя своего на поле чести, хотели быть верной дружиной вождя своего и на поприще мира. Они дали друг другу обещание словом и делом содействовать государю своему во всех начертаниях его для блага своего народа <...> От поступающих в это маленькое общество требовалось: 1) строгое исполнение обязанностей по службе; 2) честное, благородное и безукоризненное поведение в частной жизни; 3) подкрепление словом всех мер и предположений государя к общему благу; 4) разглашение похвальных дел и осуждение злоупотреблений лиц по их должностям»³⁰.

Михаил Фонвизин вспоминал: «В таком настроении духа, с чувствами своего достоинства и возвышенной любви к отечеству большая часть офицеров гвардии и Генерального штаба возвратилась в 1815 году в Петербург. В походах по Германии и Франции наши молодые люди ознакомились с европейской цивилизацией, которая произвела на них тем сильнейшее впечатление, что они могли сравнивать все виденное ими за границею с тем, что им на всяком шагу представлялось на родине: рабство бесправного большинства русских, жестокое обращение начальников с подчиненными, всякого рода злоупотребления власти, повсюду царствующий произвол, — все это возмущало и приводило в негодование образованных русских и их патриотическое чувство»³¹.

1815 год был высочайшей точкой популярности Александра в России. Он пользовался безусловной поддержкой армии, гвардии и особенно гвардейского

³⁰ Трубецкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983. С. 217.

³¹ Фонвизин М. А. Указ. соч. С. 182.



Вступление союзников в Париж. Гравюра. 1810-е гг.

молодого офицерства, о котором пишут и Трубецкой, и Фонвизин. Если перед 1812 годом можно было говорить о недостаточной устойчивости молодого царя, о его страхе перед реакцией консервативного дворянства на реформы, то в 1815 году он располагал такой мощной опорой, что мог начать реализацию своих замыслов, если бы он хотел их реализовать, а не только декларировать. Крестьянство ждало реформ. Солдаты ждали реальной благодарности за героизм. Молодое гвардейское офицерство было уверено в близости реформ и готово было поддержать царя.

Реальной силой в российской политике по-прежнему было не косное поместное дворянство или консервативные вельможи, а гвардия и армия. Гвардия — прежде всего. В 1815 году Александр и так был кумиром не только офицеров, но и солдат. Однако он мог еще увеличить уровень поддержки, сделав несколько ожидаемых в тот момент жестов — сократив хотя бы на пять лет срок солдатской службы и предельно ограничив телесные наказания. Это было вполне в его власти.

Опираясь на преданную гвардию, собрав генералов и офицеров, склонных к либеральным идеям, равно как государственных деятелей этого направления — Мордвинов был не одинок, — император мог приступить к давно обещанным реформам.

Читать в сердцах — не самое подходящее занятие для историографа. Мы можем только предполагать, почему император не воспользовался столь явно открывшимися возможностями. Мы можем констатировать реальный ход событий и воспроизвести реакцию на поведение Александра тех, кто еще недавно готов был идти за него в огонь...

Деятели, на которых император мог уверенно опереться в деле разумных реформ, — такие, как генералы Михаил Семенович Воронцов, Михаил Федорович Орлов, Павел Дмитриевич Киселев, Алексей Петрович Ермолов, Николай Григорьевич Репнин-Волконский, Николай Николаевич Раевский, Сергей Григорьевич Волконский, — были разсланы им по отдаленным концам империи. Между тем именно люди такого толка, каковых было немало, — проявившие себя и как военачальники, популярные в армии и гвардии, и как дельные администраторы, и как мыслящие политики, — могли составить ядро реформаторской группировки. Тем более, что большинство из них были связаны идеологическими и дружескими связями.

Михаил Фонвизин писал: «Пока осмысленные русские патриоты могли еще ожидать от самого Александра благодетельных преобразований, которые, ограничив его самовластие, сколько-нибудь улучшили бы состояние народа, они готовы были усердно содействовать его благим намерениям. Но когда они убедились в совершенном изменении его прежнего свободолюбивого образа мыслей после войны, по вредному влиянию на него Меттерниха, когда узнали о политических действиях его

на конгрессах Венском, Ахенском, Лайбахском, Веронском, на которых Александр со своими союзниками обнаружил неприязненное чувство к свободе народов, то самые восторженные его почитатели в блистательную эпоху занятия Парижа совершенно охладели к нему»³².

Александр, в отличие от первого десятилетия своего царствования, почувствовал себя прочно и надобности в либеральном лавировании уже не ощущал. Дело было не в Меттернихе. Генетическая тяга к ложной стабильности победила в нем политическую трезвость и государственный инстинкт самосохранения.

Молодые гвардейские либералы этим инстинктом обладали. Когда они еще верили, что царь расположен двигаться в сторону уничтожения рабства, они выбрали для агитации в поддержку реформы соображения, свидетельствующие о реалистичности их мышления. Трубецкой писал: «Должно было представить помещикам, что рано или поздно крестьяне будут освобождены, что гораздо полезнее помещикам самим освободить их, потому что тогда они смогут заключать с ними выгодные для себя условия, что если помещики будут упорствовать и не согласятся добровольно на освобождение, то крестьяне могут вырвать у них свободу, и тогда Отечество может стать на краю бездны. С восстанием крестьян неминуемо соединены будут ужасы, которых никакое воображение представить себе не может, и государство сделается жертвою раздоров и, может быть, добычею честолюбцев, наконец, может распасться на части и из одного сильного государства обратиться в разные слабые»³³.

Есть поверхностная и беллетристическая тенденция считать декабристов романтическими мечтателями, бескорыстно и жертвенно променявшими карьеры, роскошь и сладкую жизнь на эшафот и каторгу исключительно из прекраснотной любви к народу и высокой филантропии. Разумеется, была любовь к народу, было отвращение к несправедливости и были муки совести. Но прежде всего было ясное понимание гибельности пути, по которому самодержавие вело страну, неизбежности деградации экономики, нарастания социального антагонизма и стремительного приближения взрыва.

Трубецкой на вопрос о причинах его вольномыслия, помимо прочего, говорил: «...Укоренилось оно во мне убеждением, которое я имел, что состояние России таково, что неминуемо должен в одной последовать переворот со временем; сие мнение особенно основывал я: 1-е) на частых возмущениях крестьян против помещиков и на продолжительности оных, равно как и умножении таковых возмущений; 2-е) на всеобщих жалобах на лихоимство чиновников в губерниях и, наконец, 3-е) полагал, что образование военных поселений будет также со временем причиною переворота».

Подполковник Штейнгель писал из крепости: «...В последние пять лет, когда после вожденного мира, толикими со стороны России усилиями и пожертвованиями приобретенного, начал обнаруживаться постепенный упадок дворянства, расстройство торговли и купечества, разорение крестьян, а с другой стороны, растление нравов образуемого юношества и развращение простого народа, то нетрудно уже стало предвидеть, к чему клонится Россия. Я даже говорил с некоторыми отцами семейств, что не могу смотреть равнодушно на детей моих, воображая, что им придется пить горькую чашу зол, если мы сами до того не доживем».

А 8 апреля 1825 года Александр Бестужев говорил как о главной цели тайного общества: «...не допустить до решительного переворота государство, которое по всем признакам близится к сей эпохе».

Если подумать, как близки все эти аргументы в пользу отмены крепостного права, сформулированные молодыми гвардейцами в 1816-1825 годах, к той аргументации, которой через сорок лет (!) старался воздействовать на косную массу русских дворян молодой царь Александр II — уже после Крымской катастрофы, в ситуации крестьянских волнений, охвативших страну. В ситуации, о которой не в романе, а в письме председателю департамента законов писал Лев Толстой в 1856 году: «Если в 6 месяцев крепостные не будут свободны — пожар».

Александр II, получивший в наследство от Александра I, отвергнутого сотрудничество, преданность и помощь лучших людей своего царствования, и от

³² Фонвизин М. А. Указ. соч. С. 182.

³³ Трубецкой С. П. Указ. соч. С. 219.

Николая I, разгромившего, казнившего, сославшего этих людей, разоренную, озлобленную, бунтующую страну, повторил мысль Трубецкого и его друзей о грядущем освобождении крестьян снизу и упрекал дворянство в сопротивлении реформам.

На эти упреки молодой дворянин Лев Толстой, наследник двух декабристских фамилий — Трубецких и Волконских, — отвечал: «Только одно дворянство со времен Екатерины готовило этот вопрос (об отмене крепостного права. — Я. Г.) и в литературе, и в тайных и не тайных обществах,



Парад по случаю второй годовщины вступления русских войск в Париж. Акварель И. Иванова. 1816 г.

и словом, и делом. Одно оно посылало в 25 и 48 годах, и во все царствование Николая, за осуществление этой мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы и, несмотря на противодействие правительства, поддержало эту мысль в обществе и дало ей созреть так, что нынешнее слабое правительство не нашло возможным более подавлять ее...»

Толстой, разумеется, помнил о главном борце против крепостного права — мужике. Но здесь он сознательно противопоставляет дворянство и самодержавие. Александр II сделал вид, что ему неизвестны труды и жертвы дворянского авангарда, полвека назад требовавшего отмены рабства.

Толстой напомнил ему об этом.

В перспективе выяснилось, что молодые гвардейцы были дальновидными политиками, предлагая начать реформы, когда к тому была возможность и необходимость, а царь Александр I — скверным и слепым политиком. Ибо после победоносной войны 1812-1814 годов проводить реформы было рационально — они были бы своевременными и добровольными со стороны правительства, а после страшно проигранной войны 1853-1855 годов, в ситуации тяжелейшего финансового кризиса и общественного разочарования, они оказались безнадежно запоздалыми и вынужденными. А потому приняли характер катаклизма. У правительства уже не было времени для постепенности и маневра — слишком много ненависти и нетерпения накопилось в стране. И чтобы не потерять контроль над ситуацией, самодержавие резко повернуло на привычный путь ложной стабильности. Страна ответила на это крестьянскими мятежами, студенческими волнениями, вооруженными сопротивлениями при арестах, агитацией народников, а затем на правительственный террор — террором «Народной воли».

До 1855 года Россия шла уродливым путем совершенствования структуры подавления, сыска, тотального контроля. Но увеличение внутренней свободы тех, кого Михаил Фонвизин называл «осмысленными русскими патриотами», возрастало, и этот разрыв становился немислимым, невозможным. Ярость и непримиримость народовольцев — отсюда, от этого невыносимого положения человека с высоким уровнем самосознания и самоуважения,

загнанного в полицейскую баню). «Вышиб дно и вышел вон» или погиб — другой альтернативы они себе не представляли...

Трубецкой вспоминал, что когда в 1817 году член первого декабристского общества полковник Генерального штаба Александр Муравьев передал царю рукопись с опровержениями крепостнических идей, тот, прочтя, сказал: «Дурак! не в свое дело вмешался».

Александр не решился на союз с дворянским авангардом. Но молодые гвардейцы, верные чувству долга перед страной и гвардейской традиции корректировать правительство, не могли безропотно уйти в тот угол, куда их хотел бы поставить самодержец. Слишком многое зависело от их действия или бездействия.

Крепостное право Александр не *только* не отменил, но и не реформировал, конституции не ввел, зато учредил военные поселения.

Как выяснилось на следствии, для большинства декабристов военные поселения оказались решительным знаком невозможности не только союза с правительством, но и нейтралитета. Военные поселения затронули сравнительно небольшое число людей, но они стали квинтэссенцией политики власти по отношению к своему народу, символом «завоеванной страны», символом вооруженного деспотизма, ибо целью их было содержание огромной армии, бремя которой подминало российскую экономику.

Фонвизин писал: «Кто первый внушил императору эту несчастную мысль? Неизвестно. Всего вероятнее, что, желая первенствовать в Европе, он сам придумал ее для того, чтобы сколько возможно более умножить свои военные силы с меньшими издержками для казны. В придуманном им плане военной колонизации волости целых уездов из государственных крестьян поступали в военное ведомство. Все обыватели этих волостей, в которых водворялись пехотные и конные полки, делались солдатами, и их распределяли по ротам, батальонам и эскадронам, которые должны были составлять резервы своих полков. Насильственно подвергали несчастных поселян строгой военной дисциплине, обучали военному строю, и они должны были отправлять военную службу и вместе с тем заниматься сельскими полевыми работами под надзором военных начальников для продовольствия своего и полков, в их волостях водворенных. Из всех действий императора Александра после изменения его образа мыслей учреждение военных поселений было самое деспотическое и ненавистное»³⁴.

Введением военных поселений Александр, сам того не подозревая, провоцировал тех, кто мог быть его опорой в деле реформ.

Шел начатый еще в XVIII веке процесс вытеснения дворянского авангарда, отстранения его от влияния на дела государства. Будущие декабристы остро почувствовали это страшное давление. И понимали, что сопротивляться, отстаивать свое право на жизнь в активном потоке истории они могут только объединившись и выработав боевую тактику.

Все усиливающееся давление самодержавия постепенно превращало либералов в радикалов, реформаторов — в революционеров.

Они были наследниками нескольких поколений реформаторов и многих отчаянных попыток дворянского авангарда предотвратить взрыв. Революционные выступления неизменно были результатом несбывшихся надежд на реформы — пугачевщиной ответили крестьяне на екатерининский обман 60-х годов XVIII века; война 1812 года, на время объединившая страну, сбила ритм, но молодым гвардейским офицерам, прошедшим Европу, и их воспитанникам предстояло ответить на обманутые надежды 1800-1810-х годов так же, как дворянам Перовской, Лизогубу, Осинскому, объединившимся с озлобленной разночинной стихией, предстояло ответить выстрелами и бомбами на обманутые надежды 60-х годов XIX века...

Поиски тактики

Образование гвардейских тайных обществ в России было явлением органичным, но совершенно новым. В XVIII веке в тайных обществах не было надобности. Выступления гвардии были результатом широкого и естественного участия гвардейцев в политической жизни.

³⁴ Фонвизин М. А. Указ. соч. С. 183.

Первая декабристская организация, возникшая в 1816 году, называлась «Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества». Уже само название говорит о том, как смотрели его учредители на ситуацию в стране. Союзу спасения предшествовало несколько полуконспиративных обществ, но настоящей конспиративной организацией с уставом и конкретными задачами, тактическими и стратегическими, что, собственно, и отличает политическую организацию от дружеского кружка, был именно Союз спасения.

Основателями его были несколько молодых гвардейцев, прошедших Отечественную войну и заграничные походы, — двадцатичетырехлетний полковник Гвардейского Генерального штаба Александр Муравьев, тот самый, которого Александр аттестовал дураком за антикрепостническое сочинение, поручик Гвардейского Генерального штаба, а до этого семеновец, князь Сергей Трубецкой, подпоручик Гвардейского Генерального штаба Никита Муравьев, подпоручик Семеновского полка Сергей Муравьев-Апостол, подпоручик Семеновского полка Иван Якушкин. Это были люди блестящей образованности, высоких понятий о чести и человеческом достоинстве.

В той ситуации, которую создал в стране Александр, возникновение тайных обществ было неизбежностью. Стратегические задачи были ясны всем — и членам Союза спасения, и участникам ранее созданного генералом Михаилом Орловым и графом Дмитриевым-Мамоновым Ордена русских рыцарей, и лидерам на короткое время сменившего Союз спасения Военного общества Никите Муравьеву и Павлу Катенину: ограничение или упразднение самодержавия, отмена крепостного права, введение представительного правления. Но тактику предстояло еще искать и искать.

Союз спасения с его неопределенной программой и малочисленностью оказался нежизнеспособен. Ему на смену пришел в 1818 году Союз благоденствия, идеологи которого собирались упорной работой перевернуть общественное мнение страны и воспитать противников существующего порядка вещей.

Евгений Оболенский, принятый в общество в год его основания и бывший тогда подпоручиком гвардейской артиллерии, показывал на следствии: «Дальняя цель общества было образование конституционного образа правления в государстве. Ближняя цель: распространение просвещения, улучшение нравственности молодых людей, занятие должностей гражданских с целью не только исполнения в полке обязанностей ... наконец общество надеялось достичь тихого и неприметного переворота в правлении государства».

В Коренной Совет общества входили, наряду с Трубецким, Сергеем и Матвеем Муравьевыми-Апостолами, Луниным, Пестелем, Михаилом Орловым, Никитой Муравьевым, Николаем Тургеневым, и такие люди, как братья Сергей и Иван Шиловы, о которых мы еще вспомним, и служивший при штабе Гвардейского корпуса Михаил Грибовский, написавший в 1820 году первый донос на тайное общество.

Из людей, с которыми мы встретимся в канун 14 декабря как с лидерами тайного общества, в Союз благоденствия входили Трубецкой, Оболенский и Пущин.

Общество быстро достигло двухсот участников и учредило свои управы в Петербурге, Москве, Киеве, Полтаве, Тамбове, Кишиневе, Тульчине, Нижегородской губернии. В общество входило много штаб-офицеров, его члены были почти во всех гвардейских полках. На съездах Союза благоденствия вырабатывалась и развивалась программа дворянского авангарда. Здесь родилась идея превращения Российской империи в республику, здесь высказана была политически обоснованная идея царубийства, здесь сформулирована была идея захвата власти с помощью войск — идея военной революции.

Именно во времена Союза благоденствия выработался тот принципиально новый тип дворянского оппозиционера, для которого были неприемлемы не просто деспотизм или крепостное право, но весь дух Российской империи, едва ли не все аспекты государственной и общественной жизни. Представитель дворянского авангарда XVIII века мечтал реформировать, улучшить государство в главных его чертах. Его наследник из Союза благоденствия видел, что пороки основных государственных принципов развели все здание и взгляду трезвого и честного человека не найти здорового звена, надежной детали в этом безжалостном, скрежещущем механизме.

В следственном деле полковника Федора Глинки, человека благородной души и бесконечной общественной энергии, есть удивительный документ — перечисление «политическим учеником» Глинки Григорием Перетцом того, о чем беседовали и что осуждали члены Союза и люди, к ним близкие: «О тягости налогов, об излишестве войск, о военном поселении, об упадке флота, о невыгодном займе 1811 или 1812 годов, при коем за

рубль ассигнациями даны были облигации по 50 коп. серебром, о разорительных для России иностранных займах, с 1817 года без существенной нужды сделанных, о систематической медленности правительства в удовлетворении претензий частных лиц, о многих несправедливостях, особливо в делах, с казенным интересом сопряженных, об отягощении войска учением, о вояжах и строениях покойного государя императора (Александра I. — Я. Г.), о малой его внимательности к гражданской части, о множестве чиновников и скудном жаловании, яко главных источниках запутанности и злоупотреблений, об учреждении министерств, о Государственном совете, яко новой для замедления дел инстанции, о взыскательности бывшего тогда великого князя Николая Павловича и Михаила Павловича, наиболее о ныне царствующем государе императоре (Николае I. — Я. Г.), коего описывали скупым и злопамятным, о самовластии вельмож, о весьма недостаточном и несвоевременном пособии губерниям, в коих был неурожай и голод, о восстановлении Польши, о преимуществе завоеванных поляков и финляндцев перед завоевателями россиянами, о строгости, подавшей повод к Семеновскому бунту...» Менять надо было слишком многое, и, скорее всего, силой. И перед этим выводом останавливалось сознание значительной части дворянских либералов.

Рубеж

1820 год был годом небывалых катаклизмов, годом переломным. В Европе одна за другой происходили революции. Военная революция в Испании была для мировоззрения русского дворянского авангарда событием основополагающим. Чаадаев, тщательный аналитик, писал по этому поводу своему брату: «Революция, завершенная в восемь месяцев, при этом ни одной капли пролитой крови, никакой резни, никакого разрушения, полное отсутствие насилия, одним словом, ничего, что могло бы запятнать столь прекрасное, что вы об этом скажете? Происшедшее служит отменным доводом в пользу революции».

А один из активных участников восстания 14 декабря мичман Александр Беляев писал впоследствии: «Революция в Испании с Риго в главе, исторгнувшая прежнюю конституцию у Фердинанда, приводила в восторг таких горячих энтузиастов, какими были мы и другие».

И рационалист Чаадаев, и энтузиаст Беляев считали испанскую революцию «отменным доводом», руководством к действию.

Затем одна за другой произошли революции в Неаполе и в Португалии. Год этот был необычайным и в России.

Весной этого года будущий следователь по делу декабристов генерал Чернышев пушками подавил восстание на Дону. Крестьянские волнения начались в губерниях Калужской, Орловской, Тверской, Гродненской, Олонекской, Московской, Воронежской, Минской, Тульской, Могилевской, Рязанской, Херсонской... Волновались уральские рабочие.

10 июля Аракчеев разослал губернаторам секретный циркуляр, требовавший усмирения любых проявлений неповиновения воинской силой.

Организацией тайных обществ, восстаниями и волнениями страна отвечала на очередные рухнувшие надежды — обещанные и несбывшиеся реформы Александра.

Аракчеев, практический создатель военных поселений, определявший тяжелую атмосферу в армии и гвардии, этот злой дух последнего десятилетия александровского царствования, на самом деле был такой же подставной фигурой, какой был некогда Сперанский. Реальную политику определял только царь. К 1820 году это стало понятно всем, кто хотел понимать. Всем, кто хотел думать до конца, ясно было — если бороться, то против царя Александра I, а не плохих генералов и министров. Александр представлялся им уже не просто хитроумным деспотом, но символом системы. Им не было дела до внутренних метаний царя. Перед ними была реальность.

16 октября вышел из повиновения коренной гвардейский полк — лейб-гвардии Семеновский. Он был доведен до отчаяния новым своим командиром полковником Шварцем, не просто ставленником Аракчеева, но — фактически — реализатором дисциплинарной политики Александра. Члены Союза благоденствия, которых в полку было немало, не решились вмешаться в события. Семеновцы не оказали вооруженного

сопротивления и послушно пошли в крепость, а затем полк был раскассирован по армейской пехоте.

Но прецедент был страшный. Он слишком напоминал ситуации XVIII века — низовые, самостоятельные движения гвардии.

Разумеется, Александр понимал глубину неблагополучия в стране и пытался найти выход из кризиса.

Именно в это время распался Союз благоденствия. И дело было не только в организационной аморфности и пестроте программных установок различных групп. Дело было в необходимости решительного выбора тактики, целесообразной в этот напряженный, роковой момент.



*Вид на Зимний дворец
через арку Главного
штаба. Литография К.
Беггрова. 1820-е гг.*

Для членов Союза благоденствия Сергея Шипова, друга Пестеля, который 14 декабря встретит командиром гвардейской бригады и чья позиция сыграет немалую роль в исходе восстания; для молодых гвардейцев Бибикова, Нодеина, Кавелина, которые встретят 14 декабря флигель-адъютантами и адъютантами великих князей; для генерала князя Лопухина, для

полковника лейб-гвардии Егерского полка Ростовцева, для полковника лейб-гвардии Московского полка Хвощинского — выбор оказался слишком тяжел. Все они были либералами и сторонниками представительного правления, иначе они не оказались бы в конспиративном тайном обществе, но именно в этой раскаленной обстановке, именно с этим сознанием порочности системы они не смогли сделать выбор и попросту ушли от него. Очевидно, многие из них остались либералами в душе — во всяком случае, генерал Шипов не донес на своего бывшего соратника Трубецкого, когда тот дал ему понять накануне восстания, что готовятся некие события, и вполне возможно, что в соответствующей благоприятной ситуации они вернулись бы на свои либеральные позиции, но в 1820 году процесс пошел слишком для их сознания стремительно. Они выпали из активного слоя истории.

Союз благоденствия формально перестал существовать в начале января 1821 года на съезде представителей управ, собравшемся в Москве на квартире Михаила Фонвизина. И недаром Михаил Орлов, чутьем большого политика уловивший кризисность, переломность момента, предложил немедленные и решительные действия. В его руках была сила — дивизия усиленного состава, порядка шестнадцати тысяч штыков с казачьими полками и артиллерией. И генерал Орлов примерял на себя, не без основания, роль полковника Риго, лидера испанской военной революции.

Радикальные лидеры Союза благоденствия оказались в труднейшем положении. С одной стороны, момент для активных действий был несомненно подходящий, но, с другой стороны,

организационно тайное общество было не готово к выступлению. В практических предложениях Орлова был сильный элемент авантюризма.

На московском съезде Союза было решено закрыть общество. Иван Дмитриевич Якушкин писал: «Прежде всего было признано нужным изменить не только устав Союза благоденствия, но и самое устройство и самый состав Общества. Решено было объявить повсеместно, во всех управах, что так как в теперешних обстоятельствах малейшей неосторожностью можно было возбудить подозрение правительства, то Союз благоденствия прекращает свои действия навсегда. Этой мерой ненадежных членов удаляли из Общества. В новом уставе цели и средства для достижения ее должны были определяться с большей точностью, нежели они были определены в уставе Союза благоденствия, и потому можно было надеяться, что члены, в ревностном содействии которых нельзя было сомневаться, соединившись вместе, составят одно целое и, действуя единодушно, придадут новые силы Тайному обществу».

Вырабатывая новый устав, согласились, что «цель Общества состоит в том, чтобы ограничить самодержавие в России, а чтобы приобрести для этого средства, признавалось необходимым действовать на войска и приготовить их на всякий случай».

В Петербурге новое общество учреждено было Никитой Муравьевым, Трубецким и Оболенским. На Юге — Пестелем.

Распаду Союза благоденствия предшествовала яростная внутренняя борьба между радикальными республиканцами группы Пестеля и более умеренными.

На Севере капитан Гвардейского Генерального штаба Никита Муравьев начал разрабатывать конституцию, в основе которой лежала идея конституционной монархии и федеративное устройство государства, включающее пятнадцать автономных во многом «держав». Он ориентировался на североамериканскую и некоторые европейские конституционные модели.

На Юге Пестель обдумывал принципиально иной и весьма опасный проект — жестко унитарную республику с сильной центральной властью и мощным карательным аппаратом.

При этом оба они декларировали уничтожение крепостного права, роспуск военных поселений, равенство граждан перед законом, свободу слова и передвижения, свободу экономическую и введение суда присяжных.

Но Муравьев предлагал сделать все это немедленно после прихода к власти, а Пестель планировал длительный переходный период, оформленный как диктатура революционного правления.

Но при всех разногласиях члены того и другого общества полагали, что наступает пора вмешаться в государственную жизнь.

Царь и наиболее чуткие консерваторы тоже ощущали приближение этого вмешательства, столкновения власти с дворянским авангардом. Получив в 1820 году донос Грибовского, Александр не предпринял никаких мер, ибо «официальная» программа Союза благоденствия слишком напоминала его собственные недавние планы и юридических оснований для репрессий не было. Но мысль о существовании тайного общества отравляла его жизнь. По свидетельству Якушкина, царь «был уверен, что устрашающее его Тайное общество было чрезвычайно сильно, и сказал однажды князю П. М. Волконскому, желающему его успокоить на этот счет: „Ты ничего не понимаешь, эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении; к тому ж они имеют огромные средства; в прошлом году во время неурожая в Смоленской губернии они кормили целые уезды“».

Как рассказывает тот же Якушкин, знаменитый генерал Ермолов, проезжая через Москву, виделся с Михаилом Фонвизиным, теперь уже генералом, а некогда своим адъютантом, и сказал ему: «Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он (Александр. — Я. Г.) вас так боится, как бы я желал, чтоб он меня боялся».

«Болезненное воображение императора, конечно, преувеличивало средства и могущество Тайного общества», — пишет далее Якушин.

Но дело было не в болезненности воображения Александра, а в вещах вполне конкретных. Александру прекрасно известна была судьба его деда Петра III и его отца Павла I. Не понимая мотивов заговорщиков, ибо его психология была — несмотря на либеральное воспитание и либеральные декларации — сформирована тяжелой традицией российского самодержавия, царь не сомневался в решимости дворянского авангарда. Он представлял себе русскую дворцовую историю предшествующего века. Кроме того, он видел, что его государственная стратегия рушится.

Конституционные посулы 1816 года не смогли уравновесить выдвижение Аракчеева и создание военных поселений.

Очередной полуконституционный проект — «Уставная грамота» — разрабатывался в варшавской канцелярии Новосильцева в глубокой тайне... Разговоры о реформах не заменили самих реформ. Александр понимал, что кризисные ситуации разрешаются только чрезвычайными средствами. А в том, что он довел страну до очередного обострения хронического кризиса, у него не было оснований сомневаться. Страна не в состоянии была кормить огромную армию. Военные поселения, накалив политическую атмосферу в России, отнюдь не решили проблему финансирования армии. Наоборот, они требовали огромных затрат. В начале 20-х годов Россия имела срочный внешний долг Голландии — 46 600 000 гульденов, срочный внутренний долг 17 255 617 рублей серебром, бессрочный внутренний долг — 146 539 211 рублей серебром. При годовом доходе 126 миллионов рублей серебром. Причем ассигнаций в обращении было уже 595 776 310 рублей. Курс ассигнаций падал, росла инфляция. По мнению историка российских финансов, это было финансовое банкротство. (Продолживший ту же линию Николай пришел к концу своего царствования с дефицитом в 538 000000 рублей.)³⁵

Летом 1825 года Россия втягивалась в очередной финансовый кризис.

Александр все это знал. Знали это и лидеры дворянского авангарда. Среди будущих декабристов были не только крупные политические мыслители, но и серьезные экономисты.

Не зная, что предпринять, истерзанный душевно, растерянный, мечущийся по стране император тем не менее решительно и твердо оттеснял дворянский авангард от участия в государственной жизни. Люди, искавшие выхода, отстранялись от командования воинскими частями, попадали под подозрение, замедлявшее их служебную карьеру, и уж во всяком случае Александр не собирался подпускать их к обсуждению возможных реформ. В 1823 году на смотре Второй армии, в которой командовал бригадой князь Сергей Волконский, один из руководителей Южного общества, император сказал ему: «Я очень доволен вашей бригадой; Азовский полк — один из лучших полков моей армии, Днепровский немного отстал, но видны и в нем следы ваших трудов. И, по-моему, гораздо для вас выгоднее будет продолжать оные, а не заниматься управлением моей Империи, в чем вы, извините меня, и толку не имеете». Он считал, что Аракчеев, сумевший вызвать всеобщую ненависть, этот «толк имеет».

Знакомая нам фраза: «Дурак! не в свое дело вмешался», — была не случайна. Это был принцип.

Конфликт между самодержавием и вытесняемым из активного исторического слоя дворянским авангардом мог быть теперь решен только силой. Причем столкнуться должны были люди, видевшие кризисное состояние страны, обладавшие огромной властью, но считавшие, что спасение в том, чтобы плыть по течению, затянув все узлы, и люди, видевшие то же самое, обладавшие весьма малыми средствами воздействия на ситуацию, но убежденные, что кроме них страну спасти некому.

И они были правы.

А уверенность в возможности успеха поддерживал в них хорошо им известный «переворотный опыт» прошлого века.

Трубецкой говорил твердо: «Общественное устройство в России еще и до сих пор таково, что военная сила одна, без содействия народа, может не только располагать престолом, но изменить образ правления; достаточно заговора нескольких полковых командиров, чтобы возобновить явления, подобные тем, которые возвели на престол большую часть царствовавших в прошедшем веке особ».

Столетняя история русской гвардии стояла за ними.

³⁵ См.: *Блех И. С.* Финансы России XIX столетия. СПб., 1882. Т. 1. С. 151.



МЕЖДУЦАРСТВИЕ

В период междуцарствия народ решает управлять по общему согласию или поручить верховную власть некоторым согражданам.

Куницын

Застольная беседа о судьбе престола

Второе десятилетие александровского царствования заканчивалось мрачно. До императора стали доходить сведения не только о смутном недовольстве, но и о конкретных фактах, показавших ему всю ожесточенность его вчерашних соратников.

Через много лет, в 1848 году, читая рукопись Модеста Корфа о событиях 14 декабря, Николай I написал на полях: «По некоторым доводам я должен полагать, что государю еще в 1818 году в Москве после Богоявления сделались известны замыслы и вызов Якушкина на цареубийство; с той поры весьма заметна была в государе крупная перемена в расположении духа, и никогда я его не видел столь мрачным, как тогда».

Александр не просто мучился от горечи отчуждения, от воспоминаний об убийстве отца и скрываемого страха перед этим простым и реальным возмездием — пистолетом в руках оскорбленного за отечество гвардейского офицера.

Александр решал свою судьбу и обдумывал судьбу престола. Николай рассказал в воспоминаниях:

«В лето 1819-го года находился я в свою очередь с командуемою мной тогда 2-й гвардейской бригадой в лагере под Красным Селом. Пред выступлением из оного было моей бригаде линейное ученье, кончившееся малым маневром в присутствии императора. Государь был доволен и милостив до крайности. После ученья пожаловал он к жене моей обедать; за столом мы были только трое. Разговор во время обеда был самый дружеский, но принял вдруг самый неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту нашей спокойной будущности. Вот в коротких словах смысл сего достопамятного разговора.



Царская карета на Дворцовой площади. Литография К. Бегрова. 1822 г.

Государь *начал* говорить, что он с радостью видит наше семейное блаженство (тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременна старшей дочерью Марисей); что он счастья сего никогда не знал, винуя себя в связи, которую имел в молодости; что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтобы уметь ценить с молодости сие счастье; что последствия для обоих были, что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли, и что сие чувство самое для него тяжелое. Что он чувствует, что силы его ослабевают; что в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов; что скоро он лишится потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как он его разумеет; и что потому он решился, ибо сие считает долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует сему время. Что он неоднократно о том говорил брату Константину Павловичу, который, быв одних с ним почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать на престоле, тем более что они оба видят в нас знак благодати Божьей, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство».

Было и еще одно существенное обстоятельство — кроме нежелания Константина, о котором Николай предпочел не упомянуть, — запутанность семейных дел цесаревича, делавшая его воцарение крайне сомнительным.

Императрица Елизавета Алексеевна в марте 1820 года отправила с оказией письмо своей матери маркграфине Баденской, чтобы рассказать о событии, взволновавшем русский двор и имевшем драматические последствия. Императрица писала: «...Уже несколько лет великий князь Константин имел любовницу, которая успела надоесть ему, да и к тому же была еще и неверна. В конце концов он пожелал переменить свой образ жизни и жениться, но не на особе равного с ним положения, а на одной польской даме... Он уже давно просил у Императора разрешения на развод, еще когда хотел жениться на княжне Четвертинской, но в то время сему воспротивилась Императрица-мать своим обычным непреклонным ответом: „Выбирайте особу вашего ранга, и я соглашусь“. Тогда она и не допустила сего таковым весьма разумным решением. Теперь же дела переменялись, все приняло совсем иной оборот: она уже видит Николая и его потомство слишком близко к трону, чтобы способствовать их удалению от сего вследствие законного брака Константина, и поэтому уже согласна на мезальянс, при котором все возможные отпрыски одного будут отстранены от престолонаследия посредством официального акта. Это всех устраивает: Императора, могущего таким образом способствовать счастью нежно любимого брата, вдовствующую Императрицу, поскольку это обеспечивает трон тем, кого она называет *своими истинными детьми*, Николая, для которого корона уже давно весьма привлекательна, наконец, самого Константина, совершенно неамбициозного и с польскими вкусами; он даже еще при жизни Императора готов отказаться от своих прав на престол!»

Письма императрицы Елизаветы Алексеевны к матери — пожалуй, единственный источник, с такой ясностью рисующий ситуацию в Зимнем дворце. Императрица говорит о том, о чем другие предпочли умолчать в своих мемуарах, — о напряженных отношениях между Александром и Марией Федоровной, о ее интригах в пользу Николая — еще при жизни Александра, когда ничто не предвещало его близкого конца. То, что Мария Федоровна называет Николая и его жену «своими истинными детьми», — в отличие от Александра и Константина, — весьма многозначительно. В частности, речь может идти о естественной незамешанности Николая, которому в 1801 году было три года, в убийстве Павла. Мария Федоровна не могла простить старшим сыновьям кровавой драмы 11 марта. По некоторым данным, она сама после гибели Павла не прочь была занять трон, и это тоже не улучшало ее отношения к воцарившемуся вместо нее Александру.

20 марта 1820 года был официально расторгнут брак Константина с великой княгиней Анной Федоровной, и в тот же день был издан высочайший манифест, объявляющий, что если лица царской фамилии вступают в брак с женщинами, не принадлежащими к царствующим или владетельным домам, то их дети не могут претендовать на наследование престола, а жены не причисляются к августейшей фамилии. То есть графиня Груд-зинская, на которой собирался жениться Константин, не могла стать русской императрицей. А это, если блюсти закон, делало фактически невозможным и воцарение самого Константина.

Но значение писем Елизаветы Алексеевны гораздо шире, чем просто свидетельство о семейных делах Константина и быта августейшего семейства.



*Император Александр I и
цесаревич Константин.
Гравюра А. Грачева.
Начало XIX в.*

Это еще и политический документ. В апреле Елизавета Алексеевна снова возвращается в очередном письме к тому же сюжету, но уже на другом уровне: «Посылаю Вам злополучный манифест о разводе великого князя Константина...». Она снова пишет о непоследовательном поведении вдовствующей императрицы, охотно согласившейся на брак Константина, фактически лишаящий его права на трон, и снова объясняет это интригой в пользу Николая. «Спрашивают, почему теперь в подобном же случае она изменила свое мнение, и на это вполне резонно отвечают: из предрасположения к Николаю и его потомству!» Более того, в этом письме речь идет и о неблагоприятных отношениях между Александром и Николаем, между августейшей четой и великим князем с супругой. «...Вдовствующая императрица под влиянием своей склонности к Николаю и его жене (только которых она и называет своими истинными детьми) часто позволяет им принимать совершенно неуместный тон и вести себя самым неподобающим образом. Александрина, получившая самое дурное воспитание, не знает, что такое обходительность, и менее всего по отношению к Императору и ко мне, а Николай поставил себе за принцип изображать всегда независимость!»

Разумеется, тут играли роль и личные отношения императрицы с великокняжеской четой, но маловероятно, чтобы в ее сетованиях не было значительной доли истины. И когда

Николай в воспоминаниях утверждал, что и не помышлял о короне, а предложение Александра стало для него потрясением, то он, мягко говоря, кривил душой.

Сопоставление писем Елизаветы Алексеевны и позднейших мемуаров Николая свидетельствуют об одном — он всячески старался скрыть реальную ситуацию в августейшем семействе и при дворе вообще.

«Мы были поражены, как громом, в слезах, в рыдании от сей ужасной, неожиданной вести; мы молчали». Так он описывает сцену после объявления Александром своих планов относительно наследования престола.

На самом же деле глухая борьба за наследство Александра уже не один год шла при дворе. Ее энергично вела Мария Федоровна. Фаворитом был Николай.

Мы достаточно приблизительно представляем себе реальный расклад сил в этой «подковерной», выражаясь сегодняшним языком, борьбе. Но несомненно одно: существовал раскол как в придворных кругах, так, что еще важнее, в генеральской и гвардейской элите вообще — одни оставались верны Александру, другие симпатизировали Константину, третьи — их было меньшинство — делали ставку на Николая. И этот раскол, только усилившийся к 1825 году, определил слабость правительственного лагеря перед лицом зреющего мятежа...

Нам важно помнить, что Николай не только знал о том, что престол предназначен ему, но и давно мечтал его занять. Александр сообщил о своем решении узкому кругу лиц, но и этот узкий круг был достаточно широк и высокопоставлен, чтобы Николай не сомневался в серьезности решения императора. В берлинском придворном календаре на 1824 год Николай был официально назван наследником, и маловероятно, чтобы, при тесных родственных связях с Берлином, эти сведения исходили не от петербургского двора. Ведь о существовании и содержании официальных актов знала вдовствующая императрица Мария Федоровна, интриговавшая в пользу Николая.

Можно спорить о том, знал ли он буквально текст манифеста от 16 августа 1823 года, извещавший страну об отречении Константина и назначении наследником Николая. Но это не принципиально. Манифест был отдан на хранение московскому архиепископу Филарету, а также в Государственный совет и Сенат. Пакеты надлежало вскрыть в случае смерти императора «прежде всякого другого деяния в чрезвычайном собрании».

Обнародовать манифест при жизни Александр не решился. Очевидно, хорошо представляя себе придворную ситуацию, он не хотел официально объявлять наследником вместо не желающего трона Константина энергичного, напористого и властолюбивого Николая. Скорее всего, он опасался не каких-либо действий со стороны самого Николая, а движения против себя, с использованием имени великого князя.

Но при этом мнительный Александр поставил Николая в нелепое и обидное положение. Ни при дворе, ни в государственных делах Николай отнюдь не играл той роли, которая соответствовала положению второго лица в российской иерархии. С одной стороны, он знал, что трон предназначался ему, с другой — общество считало наследником Константина, сохранявшего титул цесаревича, чье имя прославлялось в торжественных молебнах

сразу после императорской четы, а на него, Николая, смотрели как на заурядного дивизионного генерала. Это, безусловно, озлобляло его и усугубляло его природную грубость и раздражительность.

Все это были предпосылки кризиса ноября-декабря 1825 года. Но именно предпосылки, а не главная причина. Главная причина была в другом.

О чем говорили генерал и полковник 19 ноября 1825 года

Генерал русской службы принц Евгений Вюртембергский был одаренным полководцем и мыслящим человеком. Племянник вдовствующей императрицы Марии Федоровны, он был близок к августейшему семейству, имел большие заслуги в войне с Наполеоном, а кроме того — трезво смотрел на происходящее в Российской империи.

В ноябре 1825 года он возвращался в Россию после длительной отлучки. По дороге задержался в Варшаве и беседовал с цесаревичем Константином.

«В Варшаве великий князь Константин Павлович, по обычаю своему, воевал с призраками. Он наставлял мне ужасов о мятежном настроении русских войск и в особенности гвардии.

— Стоит кинуть брандер в Преображенский полк, и все воспламенится,— были его подлинные слова.

— Своих я держу крепко,— заметил он при этом,— поэтому в них я уверен. Великий князь, поручая мне поговорить об этом предмете с государем, наказывал непременно прибавить, что в поляках своих он вполне уверен».

Опасения Константина носили отнюдь не только общеполитический, но и вполне личный характер. Сразу после убийства императора Павла Константин сказал: «После того, что случилось, брат мой может царствовать, если хочет, но если бы престол достался мне когда-нибудь, то я, конечно, никогда его не приму». Позже он говорил в частной беседе, что если он примет трон, то его «задушат, как отца задушили». Он слишком хорошо помнил страшную ночь на 11 марта 1801 года. Возможно, ему известно было, как убиваемый Павел, приняв одного из убийц за него, Константина, закричал: «Ваше высочество, пощадите! Воздуху! Воздуху!». Есть основания предполагать, что с возрастом видения той ночи не только не побледнели, но усилились в сознании Александра и Константина...

Менее чем через месяц принц Евгений убедился, что страх Константина, рожденный не столько знанием реальной обстановки, сколько наследственным страхом перед гвардией, был отнюдь не «войной с призраками».

А через пять лет Константину пришлось бежать из Варшавы, спасаясь от тех самых поляков, в которых он был «вполне уверен».

Беседуя в середине ноября, цесаревич и принц Евгений не подозревали, что император Александр и начальник Главного штаба генерал-адъютант Дибич уже располагают обширным материалом о разветвленном заговоре в армии и гвардии.

Еще 17 июля в Петербурге, в Каменноостровском дворце, Александр выслушал личное донесение унтер-офицера 3-го Украинского уланского полка Шервуда, принятого в тайное общество доверчивым прапорщиком Федором Вадковским, бывшим кавалергардом, переведенным в армию за «дерзкие разговоры». Шервуду, человеку хитрому и предприимчивому, удалось выведать многое.

О доносе Шервуда Александр сообщил только нескольким доверенным людям. Великим князьям не сообщил ничего.

Для содействия Шервуду в дальнейших расследованиях откомандирован был на Юг полковник лейб-гвардии Казачьего полка Николаев.

18 октября в Таганроге император выслушал донесение начальника южных военных поселений графа Витта. Витт доложил об открытиях, сделанных его тайным агентом Бошняком.

Приказав Витту продолжать расследование, Александр уехал в Крым. А вернувшись, снова занялся делом о тайных обществах. Он хотел действовать осторожно, по намерению, ибо давно уже потерял ту любовь и преданность мыслящего офицерства, которая окружала его после возвращения из заграничного похода. Вряд ли он понимал, как глубоко оскорбил людей, возлагавших на него столько надежд, но то, что они не простят ему забвения прежних деклараций, не простят крушение надежд, — это он, конечно же, понимал. Знал он и ненависть всеобщую и непримиримую к Аракчееву... Знал отношение к военным поселениям.

И потому существование разветвленного заговора в армии и гвардии представлялось ему вполне правдоподобным.

Уже в 1823 году он довольно ясно представлял себе позицию многих офицеров и генералов.



Александр I в Таганроге. Литография по рисунку с натуры Л. Манцони.

После смерти Александра в его бумагах обнаружили потрясающий документ, который датируется историками 1824 годом. «Есть слухи, — записывал император, — что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается и между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии. Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, граф Гурьев, Дмитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковых командиров, сверх того большая часть разных штаб и обер-офицеров».

Царь называет здесь популярнейших русских генералов, что само по себе поразительно. Но он считает членами тайных обществ многих полковых командиров и большинство старших и младших офицеров армии и гвардии.

Записка эта чрезвычайно характерна для мировосприятия Александра последних лет его царствования. Мрачный ужас перед своими подданными, перед теми, кого он в свое время назвал «любезными сослуживцами», перед теми, с кем он победил великого Наполеона, порожден был прежде всего нечистой совестью и, быть может, подавляемым, но явным чувством вины и бессилия.

Но и сознавая все это, испытывая тяжелый страх перед внуками и сыновьями тех, кто убил его деда и отца, император не нашел в себе силы порвать с самодержавной традицией в ее грубом и пагубном варианте — думая и после 1820 года о реформах, он сделал главную ставку все же не на них, а на тотальную слежку, подразумевающую возможные тотальные репрессии. В столице трудились три политические полиции: генерал-губернатора, министра внутренних дел и личная полиция Аракчеева.

Полиции соперничали между собой. Сам Аракчеев по приказанию царя постоянно находился под надзором. Служивший при нем с 1823 года Батеньков вспоминал: «Квартальные следили за каждым шагом всемогущего графа... Мне самому граф указал на одного из квартальных, который, будучи переодетым в партикулярное платье, спрятался торопливо в мелочную лавочку, когда увидел нас на набережной Фонтанки».

Общественная мысль была взвинчена, напряжена в ожидании и жажде перемен. Вовсе не только молодые радикалы ощущали невыносимость положения. Известный мемуарист А. И. Кошелев писал: «И старики, и люди зрелого возраста, и в особенности молодежь, словом, чуть-чуть не все беспрестанно и без умолка осуждали действия правительства, и одни опасались революции, а другие пламенно ее желали и на нее полагали все надежды. Неудовольствие было сильное и всеобщее. Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним юношей, у внучатого моего брата М. М. Нарышкина; это было в феврале или в марте 1825 года. На этом вечере были: Рылеев, князь Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы, а все свободно говорили о необходимости — покончить с этим правительством».

Но это растущее недовольство в 1825 году несхоже было с таковым же в 1801 году, когда павловская тирания делала жизнь петербургского дворянства и в особенности гвардейского

офицерства невыносимой в прямом, бытовом, смысле. В 1825 году столичное дворянство жило довольно спокойно — к шпионам привыкли и не очень их боялись.

В 1825 году кризис в отношениях дворянского авангарда с правительством и недоверие дворянской периферии к правительству были отражением могучих глубинных процессов злого брожения в народе и армии. Сильные и страшные токи шли снизу и заставляли каждого реально мыслящего человека желать перемен. Разных, но — перемен.

Батеньков утверждал: «...тяжесть двух последних годов царствования Александра I превосходила все, что мы когда-либо воображали о железном веке. Гнет действовал пропорционально его европейской славе. Все подведены уже были под один уровень невозмутимого бессилия, и все зависели от многочисленных тайных полиций».

При Павле было хуже. Но тогда еще не знали надежд начала века, так грубо обманутых. И теперь, ища выход из тупика, молодые радикалы оборачивались к не столь давнему прошлому и находили там обнадеживающие примеры. Михаил Фонвизин свидетельствовал: «Припоминая случаи русской истории, что императоры не раз умирали насильственной смертью (Петр III и Павел I), называли такие примеры радикальными средствами преобразования России, если только уметь ими воспользоваться».

Идея цареубийства была неперменным элементом российского политического мышления послепетровского времени. Александр знал это и в плане общем, и вполне конкретном. Судьба деда, убитого с ведома бабушки, судьба отца, убитого с его согласия, тяготели над Александром.

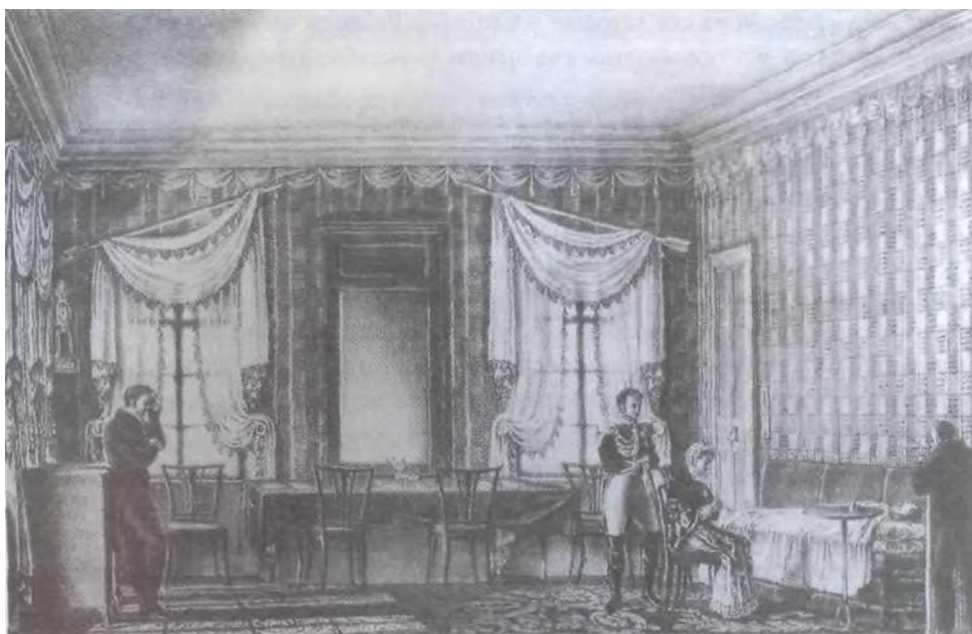
Неудивительно, что он, подозревавший чуть ли не всю армию и гвардию в заговоре, смертельно опасавшийся ответного удара заговорщиков, если последуют аресты, хотел действовать с максимальной осмотрительностью.

Но 10 ноября, вернувшись из Крыма в Таганрог, он приказал Дибичу направить в Харьков вышеупомянутого полковника Николаева, которому даны были полномочия произвести аресты.

В этот же день, 10 ноября 1825 года, в Петербург приехал с Юга полковник Трубецкой. Он приехал сообщить вождям Северного общества решение южан начать вооруженное восстание летом 1826 года.

А еще через девять дней — в последний день александровского царствования, 19 ноября — принц Евгений Вюртембергский и сопровождавший его полковник Владимир Порфирьевич Молоствов, тащась в карете по осенней грязи к русской границе, вели политические разговоры.

Принц Евгений вспоминал потом: «Мы тащились медленно, в самое дурное время года, и Молоствов имел полную возможность излить передо



Смерть Александра I в Таганроге. Литография по рисунку с натуры Л. Маньони. 1825 г.

мною чувство негодования, которым он исполнился в Варшаве. Желчь его была особенно растревожена тем, что слышал он о военных поселениях, о которых он, как и все русские, говорил с проклятием на устах... Между тем надо знать всю обстановку военных поселений, чтобы прийти в ужас от тамошних жестокостей: целые сотни мужиков прогоняются сквозь строй и засекаются насмерть, так что человеколюбивому некогда Александру нечего удивляться, коль скоро подданные произносят его имя с наболевшей горечью.

Я, конечно, не мог защищать образ действий государя и происшедшую за последние годы перемену в его умонастроении. На мой взгляд, фанатики-мечтатели, воображавшие делать угодное Спасителю пролитием крови людей, которые разно с ними веровали в него, принадлежат к тому же разряду извергов, которые из-за политического разномыслия казнили гильотиною своих собратьев. И те, и другие заслужили себе проклятие потомства. Но несвободны от упрека и люди, которые, будучи одушевлены в сущности благими побуждениями, не устояли против соблазна безграничного произвола».

Не только в петербургских гостиных, в квартирах членов тайного общества, в избах военных поселян проклинали это уродливое явление. Член августейшего семейства и полковник тоже не находили оправданий для кошмара поселений.

Интересно, что полковник не боится говорить все это кузену императора, а кузен императора резко осуждает исполнителей императорской воли.

И кипение дорожного разговора определялось отнюдь не абстрактным человеколюбием. И принц, и полковник знали — поселян секут насмерть не просто так, изуверства ради. Секли насмерть бунтующих поселян. Тех, кто, получив в руки оружие, готов был истребить своих мучителей. Тех, кто через шесть лет, во время страшного мятежа военных поселений, будет убивать и мучить офицеров, чиновников, врачей, мстя за собственные муки и за муки засеченных прежде.

«Так рассуждали мы утром 19 ноября 1825 года. Солнце подымалось, окрашивая небо кровавым цветом. Мне казалось, что это зрелище возбuditельно действовало на моего спутника, который изливал передо мной свою переполненную страстью душу. Особенно напал он на Константина Павловича. Молоствов вовсе не принадлежал к людям, увлекающимся побочными соображениями. Он ни в коем случае не стал бы действовать вопреки своего долга и совести. Я слушал его, и невольно овладевал мною страх при мысли о том, что если опасности, которыми пугал себя государь и о которых твердил мне великий князь в Варшаве, принадлежат к действительности, а не изобретены только подозрительным воображением».

В этот день — 19 ноября — в Таганроге умер Александр I.

Аничков дворец. 25 ноября

25 ноября, около четырех часов пополудни, четыре лица в Петербурге получили известие из Таганрога о том, что император Александр умирает.

Это были: секретарь вдовствующей императрицы Марии Федоровны Вилламов, председатель Государственного совета князь Петр Васильевич Лопухин, генерал-губернатор граф Милорадович и дежурный генерал Главного штаба его императорского величества Потапов.

Известие их ошеломило. И дело было не только в человеческих чувствах этих людей. Они поняли, что Россию ждут перемены, которые, скорее всего, затронут их собственные судьбы.

Немедленно состоялось совещание, участие в котором приняли Милорадович, Потапов, командующий гвардией генерал Воинов и начальник штаба Гвардейского корпуса генерал Нейдгардт.

Нейдгардт писал через три дня в Таганрог начальнику Главного штаба генерал-адъютанту барону Дибичу: «25 числа вечером мы получили от вас первое несчастное известие; опомнившись от первого удара, Воинов и Милорадович в присутствии моем и Потапова решили держать это известие пока в тайне, о чем оба генерала посоветовались еще с Лопухиным». Но, кроме этого решения, было принято на импровизированном военном совете еще одно, выполнить которое взялись Милорадович и Воинов.

Император Николай впоследствии писал: «25-го ноября, вечером, часов в шесть, я играл с детьми, у которых были гости, как вдруг пришли мне сказать, что военный

генерал-губернатор граф Милорадович ко мне приехал; я сейчас пошел к нему и застал его в приемной комнате живо ходящим по

комнате с платком в руке и в слезах; взглянув на него, я ужаснулся и спросил: „Что это, Михаил Андреевич? Что случилось?“ Он мне отвечал: „Ужасное известие“. Я ввел его в кабинет, и тут он, зарыдав, отдал мне письма от князя Волконского и Дибича, говоря: „Император умирает, остается лишь слабая надежда“. У меня ноги подкосились; я сел и прочел письма, где говорят, что хотя не потеряна всякая надежда, но что государь очень плох».

То, что произошло в последующие часы, стало причиной междоусобия и сделало возможным восстание 14 декабря.

Николай немедленно после разговора с Милорадовичем поехал в Зимний дворец к вдовствующей императрице, которую застал «в ужасных терзаниях». И опять-таки Марию Федоровну терзало не только естественное горе матери, теряющей сына, — при всей сложности их отношений, — но внезапное крушение надежд на спокойную и уверенную реализацию плана, который она, как мы знаем, давно вынашивала. Она давно мечтала о троне для «своего истинного сына». Ей, конечно, были известны настроения Александра последних лет, его декларации об отречении от власти, об уходе в частную жизнь. В этом случае передача трона Николаю прошла бы легко и естественно. Теперь же все было по-иному — она не могла не сознавать двусмысленности ситуации, созданной сокрытием манифеста о смене наследника. Марию Федоровну, видевшую две смены власти — воцарение Павла, похожее скорее на захват престола, чем на мирное восшествие, и сопряженное с отстранением «наследника по неписаному завещанию» Александра, и воцарение Александра, с вторжением во дворец пьяных офицеров и убийством ее мужа, — Марию Федоровну, помнившую чудовищную ночь на 11 марта 1801 года, новый рубеж между двумя царствованиями и должен был привести в смятение.

Вдовствующая императрица, как старшая в семье, могла играть роль морального арбитра в спорных семейных ситуациях. Она могла одобрить или не одобрить внединастический брак своего сына. Но для того чтобы в момент кризиса принимать политические решения, нужна была, по российской традиции, опора на реальную силу. Реальной силой была гвардия. Влияния на гвардию Мария Федоровна не имела. Во всяком случае, у нас нет никаких данных ни о таком влиянии, ни о стремлении вдовствующей императрицы в 1825 году самой сесть на трон, оттеснив сыновей.

Решающей роли в надвигающихся событиях Мария Федоровна сыграть не могла. Роль эта была суждена совсем другим людям...

В официальной записке, составленной позже для цесаревича Константина, говорилось: «Подал нужное пособие ее величеству (Марии Федоровне. — *Я. Г.*), его императорское высочество, граф Милорадович и генерал Воинов приступили к совещанию, какие бы нужно принять меры, если бы, чего Боже сохрани, получено было известие о кончине возлюбленного монарха. Тогда его императорское высочество предложил свое мнение, дабы в одно время при объявлении о сей неизречимой потере провозгласить и восшедшего на престол императора, и что он первый присягнет старшему своему брату, как законному наследнику престола».

Однако документ этот, как многие официальные документы российского самодержавия, призван был не столько обнародовать истинное положение дел, сколько скрыть его. Скрыть первое столкновение интересов в правительственном кругу, первую схватку за власть.

Схватка эта важна не сама по себе, но как начальная, исходная ситуация междоусобия, его механическая причина.

Кроме официального документа и позднейших воспоминаний Николая о 25 ноября, мы располагаем еще одним свидетельством — записями в личном дневнике того же Николая. Запись за 25-е очень любопытна не тем, что там содержится, а тем, что там опущено. В этой записи нет ни звука о вечернем совещании великого князя и двух генералов, в руках которых была в тот момент реальная власть, — военного генерал-губернатора и командующего гвардейским корпусом.

«...У жены чай, иду в залы играть с детьми, вернулся к жене, ее нет; докладывают о Милорадовиче; пугаюсь; у меня, — он докладывает, что получил известие от Дибича, что Ангел очень плох! Уходит совершенно расстроенный. Матушка посылает за мною. У жены; сказал ей; у себя с нею; Крейтон, она отпускает его. В одноконных санях едем к матушке; она

удручена, но покорна. Рюль, Вилламов, побыл и вернулся к себе; жена; с нею в двухместной карете к матушке». (Ночь Николай провел в Зимнем дворце. На следующий день он перебрался в Зимний дворец — навсегда.)

Как видим, ни слова о совещании с Милорадовичем и Воиновым в этой педантично подробной записи нет. Совещание между тем было. Оно состоялось в тот промежуток времени, когда Николай «вернулся к себе». Но то, что произошло в этот час-полтора, было настолько неприятно Николаю, что он, быть может, полуинстинктивно исключил это кардинальное событие из общей цепи, когда перед сном заполнял страницу дневника.

Произошло же в Аничковом дворце после восьми часов вечера следующее. Граф Милорадович и генерал Воинов, которого генерал-губернатор известил о происходящем, встретились и договорились о совместных действиях. Более того, их поддерживали и другие генералы, занимавшие командные посты в столице.

После этого оперативного совещания генерал-губернатор и командующий гвардией отправились в Аничков дворец. Николай только что вернулся от императрицы Марии Федоровны. Он, как мы помним, прекрасно знал о том, что российский трон предназначен ему. Знали об этом и генералы — иначе им не о чем было бы беспокоиться.

Через несколько дней Федор Петрович Опочинин, бывший адъютант Константина, сохранивший с ним добрые отношения и потому избранный Николаем в качестве неофициального посредника, человек совершенно осведомленный, рассказал декабристу князю Сергею Петровичу Трубецкому, а Трубецкой записал в своих мемуарах реальный вариант беседы генералов с великим князем. Когда Николай сообщил Милорадовичу и Воинову о своем праве на престол и намерении его занять, у них был уже готов ответ.



*Императрица Мария Федоровна.
Портрет работы Д. Доу. Начало
1820-х гг.*

«Граф Милорадович отвечал наотрез, что великий князь Николай не может и не должен никак надеяться наследовать брату своему Александру в случае его смерти; что законы империи не позволяют располагать престолом по завещанию, что притом завещание Александра известно только некоторым лицам, а неизвестно в народе, что отречение Константина тоже не явное и осталось не обнародованным; что Александр, если хотел, чтобы Николай наследовал после него престол, должен был обнародовать при жизни волю свою и согласие на него Константина; что ни народ, ни войско не поймут отречения и припишут все измене, тем более что ни государя самого, ни наследника по первородству нет в столице, но оба были в отсутствии; что, наконец, гвардия решительно откажется принести Николаю присягу в таких обстоятельствах, и неминуемое затем последствие будет возмущение. Совещание продолжалось до двух часов ночи. Великий князь доказывал свои права, но граф Милорадович признать их не хотел и отказал в своем содействии».

Объективный, лояльный к Николаю историк Шильдер, приводя этот текст и сопоставив его с другими данными, писал: «Очевидно, что факт, сообщенный князем Трубецким, вполне достоверен».

Мы же, со своей стороны, вспомнив запись в дневнике Николая, усомнимся в сообщении о «двух часах ночи». Надо полагать, что совещание было менее длительным. Но суть дела от этого ничуть не меняется.

Можно было бы вообще усомниться в сообщении Трубецкого. Но оно подкреплено другими источниками. Через несколько дней после знаменательного совещания Милорадович рассказывал драматургу князю Шаховскому, в доме которого часто бывал: «По причине отречения от престола Константина Павловича... государь передал наследие великому князю Николаю Павловичу. Оба эти манифеста хранились в Государственном Совете, в Сенате и у московского архиерея. Говорят, что некоторые из придворных и министров знали это. Разумеется, великий князь и императрица Мария Федоровна тоже знали это; но народу, войску и должностным лицам это было неизвестно. Я первый не знал этого. Мог ли я допустить, чтоб произнесена была какая-нибудь присяга, кроме той, которая следовала? Мой первый долг был требовать этого, и я почитаю себя счастливым, что великий князь тотчас же согласился на это».

Милорадович, разумеется, слегка хитрил. Он выстраивал свою версию событий. Он о завещании Александра, как уже говорилось, знал. И великий князь вряд ли согласился «тотчас». Но дело не в этом. Важно здесь, что граф Михаил Андреевич подтвердил: 25 ноября решающее слово принадлежало ему. Именно он не допустил («Мог ли я допустить...») исполнения воли покойного царя и присяги новоявленному наследнику.



Парадная лестница Аничкова дворца. Картина С. Заряно. Середина XIX в.

Но разговор с Шаховским на этом не кончился.

«Признаюсь, граф, — возразил князь Шаховской, — я бы на вашем месте прочел сперва волю покойного императора». Соображение было вполне здравым. Но Милорадовича воля покойного императора не устраивала. Он этого и не скрывал.

«Извините, — ответил ему граф Милорадович, — корона для нас священна, и мы прежде всего должны исполнять свой долг. Прочсть бумаги всегда успеем, а присяга в верности нужнее всего. Так решил и великий князь. У кого 60 000 штыков в кармане, тот может смело говорить, — заключил Милорадович, ударив себя по карману».

Эта последняя фраза о штыках гвардии — ключевая. Когда у тебя шестьдесят тысяч штыков в кармане, то и бумаги (манифест императора!) можно не торопиться читать, и великий князь, у которого в кармане только вышеупомянутое завещание, но ни одного штыка, решит так же, как ты. Милорадович чувствовал себя диктатором. И был им. Ибо он знал, что Николай в гвардии непопулярен, а два генерала, занимающие второй и третий после него посты в военной иерархии столицы, его, Милорадовича, поддерживают. Поскольку командующий гвардией Воинов не вступился за Николая, ясно, что он был на стороне Милорадовича, то есть Константина. А командующий гвардейской пехотой генерал Бистром сказал своему любимому адъютанту, поручику князю Оболенскому, что он никому, кроме Константина, не присягнет. У него были веские причины не желать Николая.

И еще один существеннейший момент. Петр в свое время отменил традиционный для Русского государства порядок престолонаследия — переход престола к старшему сыну или, ежели такового нет, к ближайшему родственнику покойного государя. (Пресечение династии и выборы монарха, как было при воцарении Годунова, Шуйского, Михаила Романова, — экстраординарный случай.) Петр провозгласил право царя самому назначать себе наследника. Это привело к кровавой неразберихе в течение всего XVIII века. Павел, который никак не мог двадцать лет занять принадлежавший ему трон, специальным законом вернул Россию к допетровскому порядку престолонаследия. И в 1825 году ситуация сложилась весьма щекотливая.

По павловскому закону 1797 года все права на престол принадлежали Константину. Но цесаревич, женатый вторым браком на польской дворянке, а не на особе из владетельного дома, как мы знаем, фактически лишился этих прав по указу Александра от 1820 года, корректирующему павловский закон. Тем более что после своей женитьбы Константин добровольно отказался от наследования престола. В декабре же 1825 года решающим обстоятельством стало то, что ни манифест, ни отречение цесаревича не были обнародованы при жизни Александра и потому не имели законной силы. Таким образом, создалась отчаянная юридическая путаница, и по «букве закона» безусловного права на престол не имел ни один из претендентов. Но неофициальное общественное правосознание оказалось на стороне естественного наследника Константина, чему способствовали и его

титул цесаревича, и упоминание его имени на богослужениях непосредственно после царствующей четы и вдовствующей императрицы. Милорадович решил опереться на общественное правосознание не потому, что его беспокоила юридическая сторона дела, а потому, что ему, как стороннику Константина, это было выгодно.

Если даже предположить, что генерал-губернатор раньше и не знал о манифесте Александра и отречении цесаревича, то 25 ноября он наверняка услышал об этом от Николая. А уж об указе 1820 года с вытекающими из него последствиями он не знать не мог. И тем не менее занял неколебимую проконстантиновскую позицию.

При всем том Милорадович не мог не понимать, что, ломая по своей воле ход престолонаследия, грубо вмешиваясь в отношения между великими князьями, он вступает в крайне рискованную игру — а если Константин все-таки откажется и Николай воцарится, что тогда? Мы-то знаем, что попытка стать «делателем королей» окончилась для графа Михаила Андреевича гибелью. Он этого, разумеется, знать не мог. Он вел себя последовательно и решительно до самого 14 декабря. Даже когда стало ясно, что Константин яростно отверг самую идею возведения его на престол, генерал-губернатор продолжал — законными и незаконными способами — мешать Николаю занять трон.

Он повел себя непоследовательно только 14 декабря — и погиб.

Александр был уже неделю как мертв, но в Петербурге этого не знали, и день 25 ноября закончился в тягостной неопределенности. Одно было ясно всем посвященным в тайну императорского завещания: переход престола к любому наследнику чреват событиями непредсказуемыми. В случае присяги Константину нарушена будет воля покойного императора и у партии Николая будет повод требовать восстановления справедливости. Да и неизвестно, как отнесется к этому Константин. В случае присяги Николаю — если удастся преодолеть сопротивление гвардейского командования — не возмутится ли гвардия? И опять-таки неизвестно, захочет ли Константин, опирающийся на сильную Польскую армию и гвардейские симпатии в столице, подтвердить свое отречение?

Страшный призрак кровавых междоусобиц встал перед августейшей фамилией и близкими к ней лицами.

Едва ли не самое сильное чувство, о котором постоянно проговариваются посвященные, — страх, ужас, чувство опасности.

Принц Евгений Вюртембергский, близко наблюдавший императорское семейство в эти дни, писал: «На императрицу было тяжело смотреть. Постигая все значение предстоящей опасности, она усиливалась сохранить свое обычное достоинство и величие...» И дальше: «Редко случалось мне быть свидетелем такой тревоги и самому столь живо ощущать ее».

Через несколько дней великая княгиня Александра Федоровна, подводя итог настроению при дворе, записала в дневнике: «Повсюду царит зловеющая тишина и оцепенение; все ждут того, что должны принести с собою ближайшие дни».

Александр Дмитриевич Боровков, оставшийся в истории как правитель дел Следственной комиссии, вспоминал о настроениях в первые дни после 25 ноября: «Неопределенное чувство страха закралось в сердца жителей: пролетела молва, что цесаревич Константин отказывается от престола, что великий князь Николай тоже не хочет принять бразды правления; носились несвязные толки о конституции, и содрогались благонамеренные».

Александр Дмитриевич, писавший свои воспоминания через много лет после событий, подменил мотивировки, очевидно сам того не сознавая. Причиной страха были не «толки о конституции», которые возникли задним числом после восстания, а укоренившееся в головах петербуржцев представление о смене персон на престоле как о чем-то катастрофическом, чреватым кровью и потрясениями.

Тайное общество. 26 ноября

Известие о тяжелой болезни императора ошеломило членов тайного общества не меньше, чем двор и генералитет. Но по иной, естественно, причине. Роковой момент, о котором мечтали не один год, к которому готовились — правда, более внутренне, чем организационно, — который должен был увенчать десятилетнюю историю тайных обществ, повернув Россию на путь разумного развития и политической свободы, наступил внезапно и несвоевременно.

В верхах в этот момент решались не столько государственные, сколько личные проблемы — в конечном счете карьерные. Николай и Константин были представителями одной идеологии, блюстителями одного, самодержавного, пагубного для страны принципа.

В тайном обществе решали вопрос в конечном счете общероссийского значения — быть или не быть попытке революции, призванной изменить политическое, общественное, экономическое бытие страны. (В случае победы революции в России изменилась бы и мировая ситуация.)

Но от своекорыстного, в достаточной степени ориентированного на личные интересы поведения Николая, Константина, Милорадовича (особенно Милорадовича!) зависела степень реальности вариантов, обсуждавшихся лидерами тайного общества. В эти две с половиной напряженно-исторические недели поступки людей, разделенных политическими устремлениями, были тем не менее фатально связаны между собой и взаимно друг на друга влияли...

26 ноября было для заговорщиков днем горькой растерянности.

Оболенский вспоминал через много лет: «Накануне присяги все наличные члены Общества собрались у Рылеева. Все единогласно решили, что ни противиться восшествию на престол, ни предпринять что-либо решительное в столь короткое время было невозможно. Сверх того положено было вместе с появлением нового императора действия Общества на вре-

мя прекратить. Грустно мы разошлись по своим домам, чувствуя, что надолго, а может быть, и навсегда, отдалилось осуществление лучшей мечты нашей жизни!»

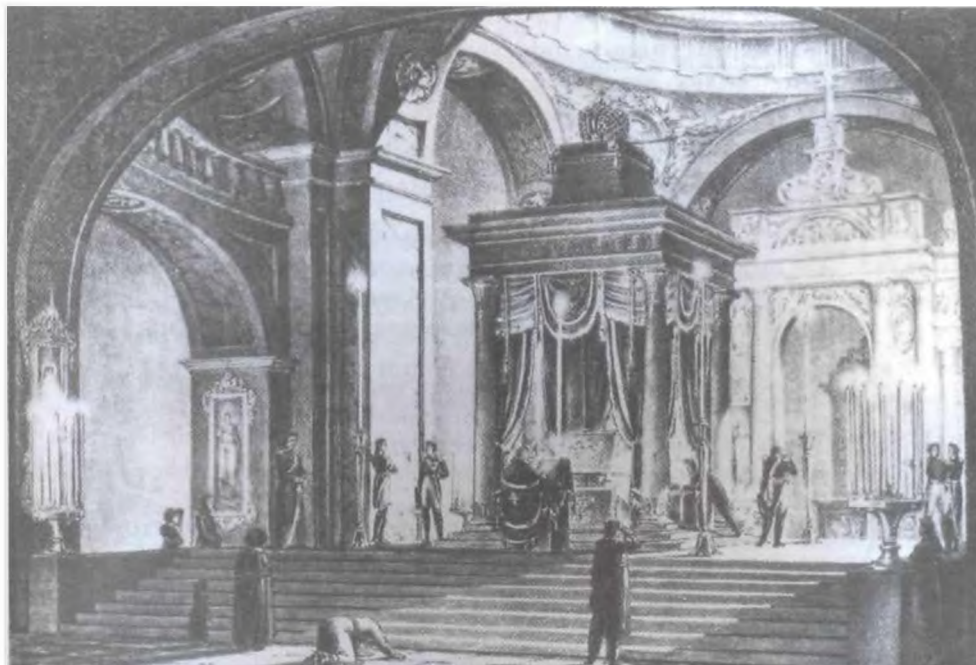
Психологическая ситуация передана здесь вполне точно. Конкретно же дело обстояло так. Днем 26 ноября Рылеев был у Лавалей. К нему подошел Трубецкой и, отведя в сторону, сообщил о болезни Александра. «Говорят, опасен. Надо нам съехаться где-нибудь». Сговорились встретиться завтра у Оболенского.

Но с Оболенским Рылеев увиделся тем же вечером. Ибо, когда он вернулся от Лавалей, Оболенский и Александр Бестужев пришли к нему.

Оболенский уже знал о болезни царя. У Трубецкого были источники сведений при дворе и в дипломатических кругах. Оболенский мог узнать правительственную тайну от Бистрома. Командующий гвардейской пехотой, союзник Милорадовича, своему адъютанту всецело доверял.

Лидеры тайного общества, стало быть, узнали о надвигающихся событиях через сутки после Николая. Если учесть, что известие старались скрыть, — это минимальный срок.

Через месяц, когда все еще было свежо в памяти, Александр Бестужев показывал на следствии: «26-го числа, т. е. накануне получения известия о кончине, приехал ко мне ввечеру Оболенский и сказал, что слухи есть, что государь император отчаянно болен. Так потолковали с ним и с Рылеевым, и не совсем этому доверяя, мы ничего не знали до 1 ч. утра».



*Гроб с телом Александра I в Таганрогском соборе.
Литография по рисунку с натуры Л. Манцони. 1825 г.*

Вот об этой встрече втроем и вспоминал Оболенский, но она слилась в его памяти с другим совещанием — 27 ноября, о котором речь впереди.

Вечером 26 ноября Рылеев, Оболенский и Бестужев были уверены, что престол наследует Константин.

Планируемое восстание на Юге должно было начаться с насильственной смерти императора и ареста его окружения. Теперь же Александр умер вдалеке от расположения войск, контролируемых южными заговорщиками. Сами войска стояли рассредоточенные по зимним квартирам.

Наследник престола находился в Варшаве — вне досягаемости для тайных обществ. Помешать присяге Константину, как справедливо утверждает Оболенский, они не могли. Выступить против Константина до того, как он скомпрометировал себя в глазах общества и гвардии, было бессмысленно. Гвардия знала, что в Польской армии и гвардейских частях, стоящих в Варшаве, служить легче, чем в Петербурге. Оснований для агитации против Константина не было.

Надежды, которыми так напряженно и искренне жили члены тайного общества, рушились от стечения обстоятельств.

Но люди, подобные Рылееву, Оболенскому, Бестужевым, за годы пребывания в тайном обществе настолько перестроили свою психику, настолько пресной и бессмысленной была для них жизнь без той высокой цели, ради которой вели они свое смертельно опасное двойное существование, что все они почувствовали себя на пороге жизненного краха...

И с этим горьким чувством ждали они утра 27 ноября.

Исторический поток многослоен. И если человек, предназначенный для существования в активном, движущемся слое потока и сознающий свое предназначение, волею судьбы

оказывается в струе вялотекущей или же в стоячей заводи — он обречен не просто на мучительную жизнь, но и на постоянное осознание этой мучительности.

Рылеев думал и сказал об этом с полной отчетливостью:

*Пусть юноши, своей не угадав судьбы,
Исполнить не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.*

*Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риэги!*

За политической декламацией здесь скрыт глубокий общеисторический смысл. Тяжка участь не только отдельных людей, но и целых активных социально-политических групп, вытесненных из истории. Предчувствуя будущее, вытесняемые отчаянно сопротивляются. И дело не в переломе их личной судьбы, а в невозможности выполнить свой долг, реализовать свое назначение. Когда веление долга философски обосновано, решающая схватка оказывается особенно жестокой, а возможность компромисса — нулевой.

Лидеры тайного общества, в ноябре 1825 года осознавшие и фундаментально обосновавшие свои позиции, свое положение в историческом потоке, свой долг, на компромисс с Николаем, как символом и идеологом возможной системы жизни, пойти не могли.

Разные слои исторического потока для людей того типа, к которому принадлежали Рылеев, Трубецкой, Бестужевы, столь же отличны друг от друга, как для любого из нас воздух и вода. Можно, конечно, на несколько десятилетий заточить себя в водолазный скафандр. Но мы-то знаем, что это за жизнь!

Зимний дворец. 27 ноября

Между 11 и 12 часами 27 ноября в большой церкви Зимнего дворца служили обедню. После обедни назначен был молебен за здоровье императора Александра Павловича.

Вдовствующая императрица, Николай и великая княгиня Александра Федоровна во время обедни находились в ризнице.

Николай писал потом: «Дверь в переднюю была стеклянная, и мы условились, что, буде придет курьер из Таганрога, камердинер сквозь дверь даст мне знак. Только что после обедни начался молебен, знак мне был дан камердинером Гриммом. Я тихо вышел и в бывшей библиотеке, комнате короля прусского, нашел графа Милорадовича; по лицу его я уже догадался, что роковая весть пришла. Он мне сказал: „Все кончено, мужайтесь, дайте пример“, — и повел меня под руку; так мы дошли до перехода, что был за кавалергардскою комнатою. Тут я упал на стул — все силы меня оставили»³⁶.

Дальше все шло так, как того хотел Милорадович. Известив Марию Федоровну, которая после этого впала в беспамятство (ее пришлось унести из церкви), Николай выполнил волю гвардейского генералитета.

В церкви в эти минуты находился Василий Андреевич Жуковский. Он описал присягу: «Не прошло десяти минут (с того момента, как унесли императрицу. — Я. Г.), как вдруг снова открываются северные двери: входит великий князь Николай Павлович. „Отец Криницкий, — говорит он священнику, — поставьте налой и положите на него Евангелие“. Это исполнилось: налой с открытым на нем Евангелием поставлен перед царскими дверьми. „Принесите присяжный лист“, — продолжал великий князь. Присяжный лист принесен. „Читайте присягу“. Священник начал читать. Великий князь поднял руку; задыхаясь от рыданий, дрожащим голосом повторял он за священником слова присяги; но когда надобно

³⁶ Историк М. М. Сафонов, тщательно изучивший источники, касающиеся междоусобия, опираясь на дневник секретаря Марии Федоровны Г. И. Вилламова, считает, что Николай упростил всю ситуацию, скорректировав ее в свою пользу. Разумеется, полностью доверять утверждениям Николая нельзя, но в данном случае речь идет о расхождении в деталях и о расположении событий во времени, а не по сути дела. Тем более, что в воспоминаниях Евгения Вюртембергского дан еще один — третий! — вариант ситуации.

было произнести слова: государю императору Константину Павловичу, дрожащий голос сделался твердым и громким; все величие этой чудной минуты выразилось в его мужественном решительном звуке».

Василий Андреевич был человеком чувствительным и доверчивым. Это окрасило его воспоминание. Любопытно, что, потрясенный и умиленный происходящим, он увидел в церкви только Николая. Между тем сам великий князь ясно пишет в дневнике, что рядом с ним находились Милорадович, принц Евгений Вюртембергский и генерал-адъютант Голенищев-Кутузов.

Жуковский не мог знать, что в эти мгновения завершился «государственный переворот», начатый Милорадовичем и его сторонниками вечером 25 ноября. Жуковский, сквозь слезы умиления взиравший на всхлипывания великого князя, выкрикнувшего напоследок имя человека, который имел не более прав на престол, чем он сам, не мог знать, какие чувства испытывает Николай. Да и мы не можем в полной мере оценить состояние великого князя, твердо знавшего, что присягать должны были ему.

Но рядом стоял Милорадович.

Позже, когда стало известно завещание Александра и давнее отречение Константина, многие восхищались самоотверженностью и бескорыстием Николая, знавшего это и тем не менее мгновенно присягнувшего старшему брату.

Ни самоотверженности, ни бескорыстия, ни великодушия тут не было. Был граф Милорадович и его «60 000 шттыков».



*Отбытие траурного кортежа из Таганрога.
Литография по рисунку с натуры Л. Манцони. 1825 г.*

Началось стремительное движение к взрыву. Милорадович и его сторонники загнали ситуацию в тупик.

Немедленно после собственной присяги (трое генералов присягнули вслед за ним) Николай привел к присяге внутренний дворцовый караул, дежурному генералу Главного штаба Потапову приказал привести к присяге главный дворцовый караул, а начальника штаба Гвардейского корпуса генерал-майора Нейдгардта послал в Александро-Невскую лавру. (В лавре на молебне во здравие Александра собран был гвардейский генералитет во главе с Воиновым.)

Вскоре началась повсеместная присяга полков Константину.

На современников действия Николая произвели впечатление истерической спешки. Графиня Нессельроде писала в письме: «Великий князь проявил большую торопливость; он на все стороны приказывал присягать без всякого порядка, что к тому привело, что войска выполнили это раньше правительственных властей».

Это надо запомнить — подмена наследника повлекла за собой противозаконный порядок присяги: войска присягнули раньше правительствующих учреждений, хотя следовало присягать наоборот. Но удивленная этим графиня не знала подоплеку происходящего. Милорадович так успешно запугал великого князя настроением гвардии, что Николай спешил убедить именно гвардию в полном нежелании посягать на права Константина. Призрак гвардейского бунта, прекрасно гармонировавшего с тем, что он знал о смерти своего отца и деда, стоял перед ним эти двое страшных суток.

Теперь же, однако, ему предстояло другое, куда менее страшное, но весьма неприятное испытание — объяснить свое поведение тем, кто знал об истинном положении дел с престолонаследием.

Когда Николай пришел к императрице-матери и рассказал о происшедшем, она в ужасе воскликнула: «Что вы сделали? Разве вы не знаете, что есть акт, назначающий вас наследником?» Чувства императрицы-матери можно понять: рухнула ее многолетняя надежда увидеть Николая на престоле.

Петербургский гарант завещания покойного императора князь Александр Николаевич Голицын находился во время присяги в лагере. Услышав о смерти Александра, он бросился во дворец. Встреча с ним была, надо полагать, одним из самых неприятных впечатлений Николая в этот день. «В иступлении, вне себя от горя, но и от вести во дворце, что все присягнули Константину Павловичу, он начал мне выговаривать, зачем я брату присягнул и других сим завлек, и повторил мне, что слышал от матушки, и требовал, чтобы я повиновался мне неизвестной воле покойного государя; я отверг сие неуместное требование положительно, и мы расстались с князем: я — очень недовольный его вмешательством, он — столь же моей неуступчивостью».

Теперь, когда вопреки закону и традиции войска присягнули первыми, надо было организовать присягу правительствующих учреждений, и прежде всего Государственного совета. Поскольку один из экземпляров завещания хранился именно в Государственном совете, то вопрос о престолонаследии неизбежно должен был встать и там — и с особой остротой.

Отступление: романтический герой в сфере практической политики

В июле 1826 года, перед тем как отправиться на каторгу, бывший капитан Нижегородского драгунского полка Александр Якубович писал отцу: «Батюшка! в последний раз мне суждено говорить с вами, и я как откровенный солдат обнаружил мою душу. Вы бы могли требовать этого как отец от сына, но я признан недостойным носить имя это, законы меня осудили, и я погиб, погиб невозвратно. Надежда моя, вспорхнувши при переломе шпаги, над полуразрушенной головой моей, опалила крылья на огне, где горел знак, купленный презрением к жизни, и я достоин этой участи. Ах! Для чего убийственный свинец на горах Кавказских не пресек моего бытия? Для чего я искал спасения в острие моей сабли? Позор ужаснее смерти! Я был не столько в душе преступником, сколько желал оным сделаться. Самолюбие подстрекало меня, и сей порок ужаснейший был причиной моей гибели. Батюшка! У вас остался сын, предостерегите его моим несчастным примером, бедственная жизнь моя усладится мыслию, что я своим трупом загородил пропасть, ужасную для неопытных».

Документ этот по сути своей полон истинного драматизма. Но когда читаешь его, трудно отрешиться от впечатления, что письмо написано персонажем романтической повести.

Якубович действительно существовал в двух ипостасях — храброго до отчаянности кавалерийского офицера, толково исполнявшего опасные поручения генерала Ермолова на Кавказе, и воплощенного романтического персонажа с соответствующей фразеологией и завышенными реакциями. Мы говорим здесь об этом потому, что Якубович со своими удивительными качествами сыграл важную роль в канун 14 декабря и в самый день восстания.

Как мы увидим, в этих событиях активно участвовала целая группа людей, у которых были личные счёты с императором Александром, что в значительной степени и являлось подоплекой их революционной активности. Якубович был одним из них.

В 1818 году его выключили из лейб-гвардии Уланского полка и отправили на Кавказ, как он утверждал, за секундантство в дуэли Завадовского — Шереметева, окончившейся смертью Шереметева. Поскольку Завадовский, происходивший из влиятельной семьи новой екатерининской знати, вообще не был наказан и отправился путешествовать за границу, то Якубович разглашал, что с ним поступили несправедливо. Приказ о переводе Якубовича из гвардии подписан был царем. (На самом деле приказ о его переводе подписан был до дуэли. Причиной послужило слишком бурное поведение уланского корнета.)

Капитан Якубович сознательно создавал вокруг себя атмосферу романтической избранности и обреченности. Несправедливая опала, прервавшая карьеру, отчаянные военные подвиги в кавказской войне, тяжелое ранение



Схватка казаков с горцами. Рисунок М.Ю. Лермонтова. 1830-е гг.

в голову, высокий рост, выразительное лицо, звучный голос, брутальное красноречие — ко всему этому Якубович охотно добавлял политическую оппозиционность.

Он не был революционером. Он был фрондером. Но по сложившимся обстоятельствам примыкал к периферии тайных обществ. Однако в подходящих ситуациях романтическое позерство и свободное воображение заводили его очень далеко. Погубленную карьеру капитан Нижегородского драгунского полка возмещал особостью личности и судьбы.

В 1824 году на Кавказских минеральных водах Якубович встретился с князем Сергеем Волконским. Волконский вспоминал:

«При первом знакомстве с ним я убедился, что опала, над ним разразившаяся, явные, нескрываемые прогрессивные убеждения его и при этом заслуженное общее мнение сослуживцев о нем, как об отличном боевом лице, угнетенном опалой, — все это могло быть мне ручательством, что я встречу в нем сочувствие к общему затеянному делу того общества, в котором я был членом, и я решился узнать от него, точно ли есть тайное общество на Кавказе и какая его цель?

Постепенно, ведя с ним разговоры интимные, судя по его словам, я получил если не убеждение, то довольно ясное предположение, что существует на Кавказе тайное общество, имеющее целью произвести переворот политический в России, и даже некоторые предположительные данные, что во главе оно сам Алексей Петрович Ермолов и что участвуют в оном большею частью лица, приближенные к его штабу. Это меня ободрило к большей откровенности, и я уже без околичностей открыл Якубовичу о существовании нашего тайного общества и предложил ему, чтоб кавказское общество соединилось с Южным всем его составом. На это Якубович мне отвечал: „Действуйте, и мы тоже будем действовать, но каждое общество порознь, а когда придет пора приступить к явному взрыву, мы тогда соединимся. В случае неудачи вашей мы будем в стороне, и тем будет еще зерно, могущее возродить новую попытку. У нас на Кавказе и более сил, и во главе человек даровитый, известный всей России, а при неудаче общей здесь край и по местности отдельный,

способный к самостоятельности..." Был ли рассказ Якубовича отриском действительности или вымышленная эпопея, тогда мне трудно было решить, но теперь, после совместного тюремного заключения с ним, где каждое лицо высказывается без чуждой оболочки, я полагаю, что его рассказ был не основан на фактах, а просто был, как я уже назвал, эпопея, сродная его умственному направлению».

В этом свидетельстве много интересного. Во-первых, оно дает представление о психологическом контексте, в котором существовали тайные общества: не восторженный юноша, а умный и зрелый генерал Волконский откровенно разговаривает с человеком, впервые им встреченным, о предметах смертельно опасных и верит его рассказу о тайном обществе с Ермоловым, знаменитым и высокопоставленным генералом, во главе. Странно? Нисколько. Ведь Волконский знал, что многие влиятельные члены Северного общества стоят по своим стратегическим требованиям на уровне Сперанского, Мордвинова, конституционных проектов начала века, идеи которых зародились в веке предшествующем. Почему же Ермолову, в 1797 году арестованному по делу конспиративного антипавловского общества, одним из лидеров которого он был, общества, ориентированного на тираноборческие античные лозунги и связанного с конституционным окружением великого князя Александра Павловича, — почему этому Ермолову не возглавить конституционное тайное общество в 1824 году, когда потребность в реформах еще настоятельнее?

Во-вторых, важна характеристика Якубовича, придумавшего тут же, на месте, кавказское тайное общество. Деликатный и пронизательный Волконский не обвиняет своего бывшего собеседника, а потом соседа по каторжной конуре в Благодатском руднике во лжи. Он говорит об «эпопее, сродной его умственному направлению». Якубович хотел, чтобы тайное общество с Ермоловым во главе было реальностью, и говорил о нем как о реальности, что было не только чертой его вольномыслия, но и особенностью романтического сознания. Кавказский герой выстраивал вокруг себя полувывмышленный мир.

Но этому романтическому миру вскоре пришлось столкнуться с миром суровой и требовательной реальности...

Весной 1825 года Якубович получил отпуск для лечения раны во лбу.

Александр Бестужев показывал на следствии: «При поездке моей в конце апреля в Москву, для провоза е. в. принца Оранского, я встретился там с прежним своим приятелем Якубовичем. Он по всему замечательное

лицо — и мы сошлись в приязнь... Либеральничали вместе, но друг другу совсем еще не открылись».

Бестужев то ли запямятовал, то ли не хотел слишком распространяться на следствии о московской встрече. Сам Якубович воспроизводит ее иначе: «Когда в разговорах с Бестужевым я выставил несправедливости правительства в отношении ко мне, объяснил ему состояние солдата, хлебопашца и дворянина, тогда он сказал о существовании общества, цель которого добродетелями, благородством и службой отечеству ввести новые благотворительные перемены и не допустить до решительного переворота государство, которое по всем признакам близится к сей эпохе, я восхитился этой мыслию, сказал: „Я ваш!“»

Из этого следует, что Якубович был человек с идеями, считавший, что в России неблагополучны все сословия, включая и дворянство, и что умеренный вариант программы принимался думающими офицерами безотказно.

Вскоре Якубович приехал в Петербург.

А ситуация в петербургском тайном обществе с 1821 года существенно изменилась.

В 1823 году Пущин принял в общество Кондратия Федоровича Рылеева, отставного артиллерийского офицера, служившего в уголовном суде.

Александр Дмитриевич Боровков, человек опытный, внимательный, старавшийся быть объективным к «государственным преступникам», в течение многих месяцев регулярно наблюдавший Рылеева на допросах, составил для себя такую характеристику: «Рылеев в душе революционер, сильный характером, бескорыстный, честолюбивый, ловкий, ревностный, резкий на словах и на письме, как доказывают его сочинения. Он стремился к избранной им цели со всем увлечением: принимал многих членов, возбуждал к деятельности, писал возмутительные песни и вольнодумные стихотворения, взялся составить катехизис вольного человека... Рылеев был пружиной возмущения; он воспламенял всех своим воображением и подкреплял настойчивостью... Рылеев действовал не из личных видов, а по внутреннему убеждению в ожидаемой пользе для отечества, предполагая, что с переменой образа правления прекратятся беспорядки и злоупотребления, возмущающие его душу».

Летом 1825 года в Петербурге встретились вождь Северного тайного общества романтический поэт Рылеев и романтический герой капитан Якубович.

Якубович приехал в Петербург убивать императора Александра.

По узости петербургского круга явных оппозиционеров Рылеев и Якубович должны были встретиться — и встретились. Романтик-теоретик и романтик-практик должны были понравиться друг другу — и понравились. Но когда дело коснулось реальных политических действий — они решительно разошлись в тактике.

Рылеев на следствии рассказал историю их отношений подробно и откровенно: «Задолго до приезда в Петербург Якубовича я уже слышал о нем. Тогда в публике много говорили о его подвигах против горцев и о его решительном характере. По приезде его сюда мы скоро сошлись, и я с первого свидания возымел намерение принять его в члены общества, почему при первом удобном случае и открылся ему. Он сказал мне: „Господа! признаюсь: я не люблю никаких тайных обществ. По моему мнению, один решительный человек полезнее всех карбонаров и масонов. (Это — любопытное утверждение, если вспомнить его рассказ Волконскому о кавказском обществе и его, Якубовича, в нем участии. — *Я. Г.*) Я знаю, с кем говорю, и потому не буду таиться. Я жестоко оскорблен царем! Вы, может, слышали“. Тут, вынув из бокового кармана полуистлевший приказ о нем по гвардии и подавая оный мне, он продолжал, все с большим и большим жаром: „Вот пилюля, которую я восемь лет ношу у ретивого; восемь лет жажду мщения“. Сорвавши перевязку с головы, так что показалась кровь, он сказал: „Эту рану можно было залечить и на Кавказе без ваших Арентов и Буяльских, но я этого не захотел и обрадовался случаю хоть с гнилым черепом добраться до оскорбителя. И наконец я здесь! и уверен, что ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем: делайте, что хотите! Созывайте ваш великий сбор и дурачьтесь досыта!“»

Перед Рылеевым стоял романтический герой-одиночка, байроновский персонаж, презирающий политическую суету, но готовый пожертвовать собой ради высокой страсти. А толпа может пользоваться результатом его подвига, если хочет. Все это поразило лидера тайного общества. И здесь нет ничего удивительного, а тем паче уничижительного для Рылеева. Психология байронического героя была ему очень внятна, а цареубийство, само по себе в России достаточно привычное, входило в поведенческий кодекс дворянского радикала, каковым был Рылеев, в качестве тираноубийства.

Тут нужно еще помнить, что Якубович был блестящим оратором. Декабрист Александр Муравьев — в 1825 году юный корнет Кавалергардского полка — писал в воспоминаниях: старший брат, Никита Муравьев, «не позволял мне знакомиться с капитаном Якубовичем, боясь, чтоб он своим пленительным красноречием меня еще больше не воспламенил...»

Рылеев рассказывал: «Слова его, голос, движения, рана произвели сильное на меня впечатление, которое, однако ж, я старался скрыть от него и представлял ему, что подобный поступок может его бесславить, что с его дарованиями и сделав уже себе имя в армии, он может для отечества своего быть полезнее и удовлетворить другие страсти свои. На это Якубович отвечал мне, что он знает только две страсти, которые движут мир. Это благодарность и мщение, что все другие не страсти, а страстишки, что он слов на ветер не пускает, что он дело свое совершит непременно и что у него для сего назначено два срока: маневры или праздник Петергофский... Я ушел с А. Бестужевым и на дороге говорил ему, что надо будет стараться всячески остановить Якубовича. Бестужев был согласен...»

Александр Бестужев так передает ту же ситуацию: «...он (Якубович. — *Я. Г.*) признался нам, что приехал с твердым намерением убить государя из личной мести. „Я не хочу принадлежать никакому обществу, — говорил



*А.М. Якубович.
Рисунок А.С. Пушкина. 1830-е гг.*

он, — чтоб не плясать по чужой дудке, я сделаю свое, а вы пользуйтесь этим как хотите. Коли удастся после этого увлечь солдат, то я разовью знамя свободы, а не то истреблюсь: мне наскучила жизнь"».

По сравнению с рылеевским текстом здесь есть важная деталь — мысль о восстании после царевубийства. Очевидно, это заявление и было первым толчком к возникновению в декабристской среде представления о Якубовиче как о человеке, который способен повести за собой солдат.

Якубович, как видим, и сам связывал свою акцию с возможной революцией.

Рылеев, идеолог тиранубийства, категорически возражал против акции Якубовича лишь потому, что тайное общество было совершенно не готово воспользоваться плодами его подвига. Царевубийство, смерть одного императора и восшествие на престол другого создавали наиболее подходящий момент для выступления, а в июне — июле 1825 года, когда происходили эти разговоры, у заговорщиков еще не было реальной силы. И Рылеев потратил бездну энергии, чтобы уговорить Якубовича отложить исполнение его отчаянного намерения.

Между тем Якубович вовсе не собирался императора убивать. Зловещий антураж царевубийства необходим был ему как элемент окружавшей его особенной атмосферы.

Трубецкой писал в «Записках»: «Никита Муравьев, который должен был отлучиться из Петербурга, известил письмом об этих обстоятельствах Трубецкого (князь Сергей Петрович в «Записках» говорит о себе в третьем лице. — *Я. Г.*) и просил его содействия на обуздание Якубовича. Другие члены (речь идет о Рылееве. — *Я. Г.*) поручили также ехавшему через Киев фон дер Бриггену уведомить обо всем Трубецкого. Последний поспешил в столицу».

Князю Сергею Петровичу изменила память. Он приехал в Петербург 10 ноября, значительно позже встречи с Бриггеном. Но сама ошибка характерна — через много лет вызов Якубовича на царевубийство представляется Трубецкому одним из центральных событий кануна восстания.

Якубович, повторю, не собирался убивать императора.

Брут был идеальным героем эпохи. Брута и Риго воспел Рылеев. Якубович, как мы увидим, попеременно играл то в Брута, то в Риго.

Капитан Нижегородского полка, носивший на сердце полуистлевший приказ о переводе его из гвардии, устраивал представления перед Рылеевым и Александром Бестужевым и в то же время усиленно хлопотал о своем возвращении в лейб-гвардии Уланский полк. В показаниях Якубович дает достоверную, документально проверяемую версию событий: «...просил отпуска для излечения ран, на что и получил высочайшее соизволение... с позволением прибыть в столицу, куда и приехал в июне месяце. Представился баронету Велье, и поручен им был по осмотре моей раны профессору Буяльскому, и приглашен был мной для совместного лечения доктор Арент: два раза мне делали жесточайшие операции, вынули из раны раздробленные кости и куски свинцу, и я пять месяцев был в муках

неизъяснимых. В это время старался через генерала барона Дибича довести до сведения покойного государя мою службу и многие неудовлетворенные представления обо мне генерала Ермолова, с объяснением невинности моей по делу покойного Шереметева, прося перевода в гвардию с обратным назначением в Грузию, где в мирное время видел более случаев к отличиям. На что впоследствии разрешило повелением внести имя мое в приказ для перевода в лейб-гвардии Уланский полк, что и сделано 12 ноября».

И эти хлопоты, и результат их Якубович от членов тайного общества долго скрывал, не желая разрушать образ.

Но опять-таки не нужно думать, что Якубович просто фанфарон, фразер и хвастун. Выстроенный им романтический мир был для него настолько близок и естествен, что он готов был рискнуть головой, чтобы не допустить распада этого мира.

Боровков, присутствовавший на допросах после восстания, вспоминал:

«Ответы... Якубовича многословны, но не объясняли дела. Он старался увлечь более красноречием, нежели откровенностью. Так, стоя посреди залы в драгунском мундире, с черною повязкою на лбу, прикрывавшею рану, нанесенную ему горцем на Кавказе, он импровизировал довольно длинную речь и в заключение сказал:

Цель наша была благо отечества; нам не удалось — мы пали; но для устрашения грядущих смельчаков нужна жертва. Я молод, виден собою, известен в армии храбростью; так пусть меня расстреляют на площади, подле памятника Петра Великого».

Боровков пишет правду. В письменном показании Якубович тоже предлагал расстрелять его для примера. И он не мог быть уверен, что его жертва не будет принята. Николай по военным законам мог его расстрелять.



Зимний Петербург. Акварель неизвестного художника. Первая четверть XIX в.

Романтическая мистификация кавказского героя имела вместе с тем весьма серьезные последствия — последствия, если угодно, положительные, — она заставила лидеров общества задуматься над возможностью внезапного возникновения кризисной ситуации, которая обязала бы их действовать. Мистификация Якубовича, встряхнувшая не только декабристский Север, но и Юг, куда известие о намерении нового Брута привез по поручению Рылеева полковник Бригген, заставила заговорщиков трезво подсчитать свои силы и подумать о конкретной тактике в конкретных условиях. Контакты лидеров общества с Якубовичем можно считать первым крупным событием на этой последней прямой — в последнем полугодии перед восстанием.

Более того, само присутствие Якубовича в столице привело северян к мысли о реальности скорого вооруженного выступления в Петербурге.

Следственная комиссия, суммировав полученные подробные и обширные сведения, точно поняла эту особую роль Якубовича в преддекабрьский период: «Приезд сего последнего (Якубовича — Я. Г.) в Петербург, его разговоры, объявленный им умысел сильно

действовали на тогдашнего начальника Северной думы Рылеева; им (Якубовичем. — Я. Г.), как утверждает Александр Бестужев, воспламенена тлевшая искра».

Член тайного общества полковник Бригген сказал на следствии: «Я уверен, что ежели бы не было Якубовича, то и несчастное происшествие 14 декабря не случилось бы...» Это, конечно, преувеличение, но смысл в нем есть...

Тайное общество. 27 ноября

Ранним утром этого дня Рылеев, почувствовавший себя больным, послал записку барону Штейнгелю, жившему в том же доме, приглашая его к себе. Штейнгель был занят, спешности приглашения не понял и не пошел.

Александр Бестужев на следствии так описал утренние события, параллельные тому, что происходило во дворце: «Пришел Якубович с подтверждением того же (болезни Александра. — Я. Г.), но мы никак не ожидали, чтобы болезнь так скоро сразила императора. Якубович вышел и через пять минут вбежал опять, говоря: „Государь умер, во дворце присягают Константину Павловичу — впрочем, это еще не верно, говорят, Николаю Павловичу по завещанию следует“, — и выбежал».

Показания Рылеева дают одну живую и существенную деталь: «...Якубович... вбежал в комнату, в которой я лежал больной; и в сильном волнении с упреком сказал мне: „Царь умер! Это вы вырвали его у меня!“ Вскочив с постели, я спросил Якубовича: „Кто сказал тебе?“ Он назвал мне не помню кого-то, прибавил: „Мне некогда; прощай!“ — и ушел».

Принесенное Якубовичем известие, по словам Александра Бестужева, «поразило нас, как громом, я надел мундир — и встретился в дверях с братом Николаем. „Что делать?“ — „Я поеду узнать в какой-нибудь полк, кому присягают, далее, право, не знаю“. Я и поехал в Измайловский, спрашиваю, один говорит — Константину, другой — Николаю, третий — Елисавете».

Интересно проследить, в чем сходятся и в чем расходятся показания декабристов на следствии, данные по горячим следам событий, с воспоминаниями, написанными через много лет. Николай Бестужев писал:

«Более года прежде сего в разговорах наших я привык слышать от Рылеева, что смерть императора была назначена обществом эпохою для начатия действий оною, и когда узнал о съезде во дворце, по случаю нечаянной кончины царя, о замешательстве наследников престола, о назначении присяги Константину, тотчас бросился к Рылееву. Ко мне присоединился Торсон. Происшествие было неожиданно; весть о нем пришла не оттуда, откуда ожидал я, и вместо начатия действия я увидел, что Рылеев совершенно не знал об этом. Встревоженный, волнуемый духом, видя благоприятную минуту пропущенною, не видя общества, не видя никакого начала к действию, я горько стал выговаривать Рылееву, что он поступил с нами иначе, нежели было должно. „Где же общество, — говорил я, — о котором столько рассказывал ты? Где же действователи, которым настала минута показаться? Где они соберутся, что предпримут, где силы их, какие их планы? Почему это общество, ежели оно сильно, не знало о болезни царя, когда во дворце более недели получают бюллетени об опасном его положении? Ежели есть какие намерения, скажи их нам, и мы приступим к исполнению — говори!“

Рылеев долго молчал, облокотясь на колени и положив голову между рук. Он был поражен нечаянностью случая и наконец сказал: „Это обстоятельство



Н.А. Бестужев.
Автопортрет. 1815 г.

явно дает нам понятие о нашем бессилии. Я обманулся сам, мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты, число наличных членов в Петербурге невелико, но, несмотря на это, мы соберемся опять ввечеру, между тем я поеду собрать сведения, а вы, ежели можете, узнайте расположение умов в городе и войске".

Батеньков и брат Александр явились в эту минуту, и первое начало происшествий, ознаменовавших период междуцарствия, выразилось *бедным* собранием пяти человек».

Николай Бестужев бежал к Рылееву утром 27 ноября 1825 года, чтобы излить недоумение и обиду, обиду сильного и ценящего свою силу человека, которого лишили возможности действовать. Это чувство разделял с ним его близкий друг Торсон. Это было главным для него через двадцать лет. И соответствующим образом его память выстроила картину события. Ибо реальная картина не соответствовала задаче мемуариста. Николаю Бестужеву было еще и чрезвычайно важно показать бессилие и растерянность тайного общества 27 ноября, чтобы оттенить тот подвиг, который совершили заговорщики, переломив свою беспомощность и героическим усилием собрав к 14 декабря достаточно сил для восстания.

Странно, казалось бы, что он забыл о болезни Рылеева и «послал» его ездить по городу, хотя на самом деле собирать сведения отправился Александр Бестужев. Странно, что, придя к Рылееву, не увидел там Александра, а помнил, что тот пришел позднее вместе с Батеньковым. Странно и то, что Александр Бестужев в своих показаниях молчит о присутствии у Рылеева Торсона. И уж совсем, казалось бы, странно, что Николай Бестужев так убежденно говорит о полной неосведомленности Рылеева. Между тем, как мы знаем, Рылееву было прекрасно известно о болезни царя, а к моменту появления Бестужева и Торсона — и о его смерти.

Но все это кажущаяся странность. Мог ведь Жуковский не увидеть в момент присяги рядом с Николаем трех генералов. На сопоставлении свидетельств декабристов об утреннем свидании у Рылеева можно изучать явление избирательности и смысловой направленности человеческой памяти. Каждый из них запомнил свое — по какой-то внутренней причине. Каждый из них говорит правду — свою правду. И общая картина восстанавливается только на основе совмещения их свидетельств.

Утром 27 ноября на квартире Рылеева действительно сошлись и братья Бестужевы, и Торсон, и Батеньков. Но если Рылеев и Александр Бестужев во время следствия были сосредоточены на фактической стороне событий, то Николай Бестужев в Сибири думал о сути происшедшего. И его свидетельство для нас чрезвычайно важно.

Это — точка отсчета. Отсюда — от организационного нуля — началось их восхождение на вершину восстания.

Зимний дворец. 27 ноября

После двух часов пополудни собрался Государственный совет. Князь Голицын, потрясенным происходящим, сообщил собравшимся о завещании императора, которое он, Голицын, сам переписывал, о том, что оно хранится здесь, в Государственном совете. Однако часть членов совета вовсе не склонна была знакомиться с завещанием мертвого императора, которое могло привести их к столкновению с живым. Министр юстиции князь Лобанов-Ростовский и адмирал Шишков предложили пакет не распечатывать, а идти присягать Константину. (Лобанов-Ростовский был настроен особенно решительно, что указывает на его изначальные симпатии к Константину. Недаром в первые дни после присяги говорили, что при Константине Лобанов «будет в силе».) Но большинство решило иначе, и государственный секретарь Алексей Николаевич Оленин принес пакет. Тут обратили внимание, что нет графа Милорадовича, который тоже был членом совета. Начинать чтение в отсутствие столь влиятельного лица не решились. Но когда Милорадович пришел, то он вовсе не выразил желания слушать чтение бумаг. Генерал-губернатор был настолько уверен в прочности своей позиции, что не утруждал себя дипломатическими ходами. Своим громким генеральским голосом он сказал: «Я имею честь донести Государственному совету, что его императорское высочество великий князь Николай Павлович изволил учинить присягу на подданство старшему брату своему императору Константину Павловичу. Я, военный генерал-губернатор, и войско уже присягнули его величеству, а потому советую господам членам Государственного совета прежде всего тоже присягнуть, а потом уж делать что угодно!» Это было откровенное давление.

И тем не менее большинство совета решило выслушать манифест Александра и письмо Константина. Оленин прочитал бумаги. Воцарилось растерянное молчание.

Тот факт, что гвардия присягнула первой, ставил правительственные учреждения — Государственный совет и Сенат — в положение весьма двусмысленное. Они лишались права выбора между двумя претендентами. Выполняя волю покойного императора, они как бы противопоставляли себя воле генералитета и гвардии. Исторический опыт говорил, что это небезопасно. Здесь Милорадович сыграл очень точно.

Раздраженный этим молчаливым сопротивлением, он повторил, что совет должен выполнить волю великого князя Николая, который только что отрекся от права, предоставленного ему манифестом, и на его, Милорадовича, глазах присягнул Константину.

Но, очевидно, настойчивость генерал-губернатора тем более показалась подозрительной членам совета, и они пожелали услышать отречение от самого великого князя. Возможно, кто-то из них был и ранее осведомлен о позиции Милорадовича, а кто-то догадался сейчас.

Милорадовича попросили пригласить великого князя в совет. Вскоре он вернулся. Неизвестно, что за разговор состоялся у него с Николаем, но он сообщил, что великий князь, не будучи членом Государственного совета, не считает себя вправе явиться в таковой.

Государственный совет, однако, присягать без свидания с Николаем никак не хотел. Поскольку его императорское высочество отказался явиться в совет, то совет просил графа Милорадовича исходатайствовать у великого князя разрешение совету явиться к нему в полном составе.

Оленин вспоминал:

«Лишь только мы все вошли в приемную залу бывших комнат великого князя Михаила Павловича, то граф Милорадович пошел сказать о приходе нашем великому князю Николаю Павловичу. Его высочество не заставил себя ждать, но, вышедши из дверей внутренних комнат, он поспешно подошел к нам, стоящим в куче, посредине комнаты, и начал тотчас нам говорить. Я постараюсь, сколько можно, припомнить его слова... Великий князь, остановясь между нами и держа правую руку и указательный палец простертыми над своею головою, призывая, так сказать, сими движениями всевышнего во свидетели искренности его помышлений, являл в лице своем сколько можно ему было более твердости, но глубокая грусть, на челе его напечатанная, и следы горьких и многих слез по бледным его щекам, а также по временам и судорожное движение всего тела показывали, какою сильною он был удручен печалью. В этом ужасном положении он произнес следующие слова: „Господа, я вас прошу, я вас убеждаю, для спокойствия государства, немедленно, по примеру моему и

войска, принять присягу на верное подданство государю императору Константину Павловичу. Я никакого другого предложения не приму и ничего другого и слушать не стану".

Тут он был прерван рыданиями членов Государственного совета, и некоторые голоса произнесли между другими восклицаниями: „Какой великодушный подвиг!"

„Никакого тут нет подвига, — воскликнул великий князь, — в моем поступке нет другого побуждения, как только исполнить священный долг

мой перед старшим братом. Никакая сила земная не может переменить мыслей моих по сему предмету и в этом деле. Я ни с кем советоваться не буду и ничего не вижу, достойного похвалы"».

Из всего сказанного Николаем, пожалуй, безоговорочно можно согласиться только с последними словами. Поступал он, с точки зрения законности и государственных интересов, вовсе не похвально.

Во всем остальном — даже в этом сочувственно-осторожном описании — видна истерическая взвинченность и возбужденность, вызванная прежде всего идиотическим положением, в которое поставил его Милорадович. И в самом деле — отчего бы Николаю, молодому дивизионному генералу, не искушенному в государственных делах, явно нарушающему волю Александра и Константина, то есть в данном случае — закон, почему бы ему в этой, все более запутывающейся, ситуации и не посоветоваться с теми, кто по своему положению призван советовать? Почему он так раздраженно декларирует окончательность своего решения? Ведь неизвестно, как отнесется к этому Константин.

Потому что он боялся гвардии, рупором которой считал Милорадовича. И, подчинившись воле генерал-губернатора, он болезненно относился ко всякому обсуждению вопроса, решенного вовсе не так, как ему хотелось. Но 1762 год... Но 1801 год... Чем Милорадович хуже Палена? Причем тогда речь оба раза шла о законных императорах, но и это не остановило убийц. А его, Николая, так легко обвинить в узурпации трона, в самозванстве. Он прекрасно понимал, почему с такой настойчивостью отказывался в свое время от права на престол Константин. «Пусть после этого брат царствует, если хочет», —



Зимний дворец. Литография К. Шульца. 1830-е гг.

сказал, как мы знаем, цесаревич вскоре после 11 марта.

Во время присяги рядом с Николаем стоял Голенищев-Кутузов — один из убийц Павла, его отца.

Когда члены Государственного совета предстали перед императрицей Марией Федоровной, та, куда более, чем Николай, опытная в дворцовой политике, одобрила то, за что еще недавно упрекала сына.

Через несколько дней она сказала Михаилу Павловичу: «Если так действовали, то это потому, что иначе должна была бы пролиться кровь».

Вся августейшая семья смертельно боялась вмешательства гвардии.

И есть в записке Оленина еще один существенный момент — Николай ясно и четко сказал членам совета, что содержание манифеста и отречение цесаревича ему были известны.

Тогда же решили не вскрывать пакет с завещанием, хранящийся в Сенате, и не знакомить сенаторов с его содержанием.

Государственный совет присягнул. Вскоре присягнул и Сенат.

Через четыре года в личной беседе Николай сказал Константину: «В тех обстоятельствах, в которые я был поставлен, мне невозможно было поступить иначе».

Известный историк А. Е. Пресняков, автор незаурядной книги о 14 декабря, вышедшей в 1926 году, очень удачно охарактеризовал происходящее: «Рядом с официальной легендой о борьбе двух великодушных самоотречений слагалась и нарастала другая — об упорной борьбе за власть с арестами и насилиями. Династический водевиль разрастался в дворцовую мелодраму. Затяжка междуцарствия придавала ему действительно значение кризиса государственной власти, попавшей в параличное состояние».

Константин и Николай: за и против

Теперь, прежде чем двигаться дальше, надо понять, почему симпатии гвардии (и не только гвардии) оказались на стороне Константина, достойного сына своего отца, запятнанного уголовным преступлением, солдафона, исповедующего принцип абсолютного подчинения.

Разумеется, Константина за те годы, что он жил в Варшаве, несколько забыли. А новое поколение гвардейских офицеров и просвещенных молодых людей не знало его вовсе. Но люди среднего возраста помнили его прекрасно и понимали, чего от него можно ждать.

Та же графиня Нессельроде писала: «Все эти люди, которые желают его, станут проливать горькие слезы!».

Командир гвардейской бригады генерал-майор Сергей Шипов, о котором у нас еще пойдет речь, назвал Константина «злым варваром».



Великий князь Николай. С портрета работы Д. Доу. 1820-е гг.

Но большинство было все же за цесаревича. Почему?

Главным образом потому, что проконстантиновское большинство опиралось преимущественно на слухи. Николай был тут — весь на виду. С ним все было ясно. Константин именно по причине долгого отсутствия внушал неопределенные надежды, всегда связанные с переменой государя. Про него смутно толковали, что он хочет отменить крепостное право. (Уже после воцарения Николая к Константину в Варшаву ходили крестьянские ходоки с жалобами.) Гвардия знала, что в Польше у Константина служат не двадцать пять лет и даже не двадцать три, а всего восемь. Знала, что солдатское жалованье в

Польше выше столичного, что кормят там лучше. Петербургскому гвардейскому солдату не было дела — да он и знать этого не мог, — что Константин существенно регламентирован конституционным устройством Польши. Измайловец или московец готов был считать цесаревича — старого суворовского служаку! — прямым отцом русского солдата и ждал от него послаблений. А офицерство?

Полковник Булатов писал из крепости великому князю Михаилу Павловичу: «После кончины отца отечества по городу носились разные слухи насчет престола, большая часть народа желали иметь государем царствующего в то время его императорское высочество цесаревича Константина Павловича, в опытности, доброте души, щедрости, надеялись, что будет введено устройство в государственных делах, и немалую цену давали, что не будет поселения, на стороне ныне царствующего императора была весьма малая часть. Причины нелюбви к государю находили разные: говорили, что он зол, мстителен, скуп, военные недовольны частыми учениями и неприятностями по службе, более же всего боялись, что граф Алексей Андреевич (Аракчеев. — Я. Г.) останется в своей силе».

Подполковник Батеньков показывал на следствии:

«Я, однако же, сему (замене Николая Константином. — Я. Г.) радовался, полагая, что при государе цесаревиче изменится совершенно внешняя политика, греческие дела примут благоприятный оборот. Священный союз рухнет, военные поселения не будут продолжаться и что вообще двор наш примет некоторый народный характер, имея императрицу, не совсем чуждую нашего языка и нравов и рожденную не для престола, а государь, затрудняясь в фамильном быту, искать будет в своем народе.

Против особы нынешнего государя я имел предубеждение по отзывам молодых офицеров, кои считали его величество весьма пристрастным к фрунту, строгим за все мелочи и нрава мстительного. Сверх того, казалось мне, что со вступлением его на престол множество пруссаков вступят в русскую службу и наводнят Россию, которая и без того уже кажется как бы завоевательною».

(По словам близкого к Федору Глинке Григория Перетца, повсеместно осуждалась «взыскательность бывшего тогда великого князя Николая Павловича... коего описывали скупым и злопамятным».)

Если характеристики Николая почти совпадают у недалекого Булатова и у широко мыслящего, образованного Батенькова, то характер надежд на Константина существенно различается. Булатов мыслит категориями среднего офицерского слоя: государь с добрым сердцем, щедрый, порядок в управлении наведет. Батеньков смотрит куда шире. Он на первое место ставит проблемы внешнеполитические. Он из офицерской элиты, смертельно оскорбленной тем Александром, который после славных походов 1813-1814 годов стал душой охранительного Священного союза, тем Александром, который предал греческое дело. А европейские революции, задавленные Священным союзом монархов, и восстание греков, подавленное турками с молчаливого согласия александровской России, были для этой декабристской и продекабристской среды делом трагически личным, связанным с освобождением самой России. Батеньков знает, что когда-то юного Константина императрица Екатерина прочила в константинопольские императоры и собиралась завоевать для него турецкие владения. Отсюда и надежда на прогреческие симпатии цесаревича. Батеньков знает, что Польша управляется конституцией, и верит, что привыкший к ней Константин не сможет придерживаться принципов Священного союза. Он приспособливает семейные обстоятельства жизни цесаревича к своим «славянофильским» воззрениям, и польское, то есть славянское, происхождение будущей императрицы кажется ему «народнее» немецкого происхождения Александры Федоровны. Он рассчитывает, что отторгнутый своей женитьбой от придворных кругов Константин будет искать опоры в народе.

Все это были, разумеется, иллюзии — но иллюзии, много нам объясняющие. Только будучи доведен до крайности, умный и проницательный человек мог впасть в такое трагическое заблуждение.

И в одном только решительно сходятся столь разные Булатов и Батеньков: оба верят, что Константин упразднит военные поселения и, стало быть, придет конец власти Аракчеева.

Проконстантиновские иллюзии Булатова и Батенькова, очевидно, покрывают основной спектр надежд русского офицерства — и гвардейского прежде всего — на нового императора.

И было еще одно обстоятельство, которое они, быть может, и не формулировали для себя в словах, но которое не могли не сознавать. Как это ни странно, но Константин, участник суворовского похода в Италию, участник и активный свидетель наполеоновских войн, воспринимался ими как человек своей эпохи, с которым можно на каком-то этапе найти общий язык. Которого, во всяком случае, можно и потерпеть, с которым можно некоторое время и послужить. В Николае они видели явление принципиально чужое. Он был человеком иной эпохи, наступления которой допустить было нельзя. Те качества, что они в нем видели, — скупость, холодная жестокость, абсурдный педантизм, бессмысленная злопамятность, — были и чертами его грядущей эпохи.

Розен в мемуарах воспроизвел характерный случай: «Когда великий князь Константин Павлович, в минуту строптивости своей молодости, на полковом учении, с поднятым палашем наскочил на поручика Кошкуля, чтобы рубить его, тот, отпаривав, отклонил удар, вышиб палаш из руки князя и сказал: „Не извольте горячиться“. Учение было прекращено, через несколько часов адъютант князя приехал за Кошкулем и повез его в Мраморный дворец. Кошкуль ожидал суда и приговора, как вдруг отворяется дверь, выходит Константин Павлович с распростертыми объятиями, обнимает Кошкуля, целует его и благодарит, что он спас его честь, говоря: „Что бы сказал государь, что бы подумала вся армия, если бы я на учении во фронте изрубил бы своего офицера?..“ Когда великий князь извинился перед обществом офицеров всей кирасирской бригады, то рыцарски объявил, что готов каждому дать полное удовлетворение; на это предложение откликнулся М. С. Лунин: „От такой чести никто не может отказаться!“». Константин отшутился.

От Николая ничего подобного ждать не приходилось. Когда в 1820 году пятьдесят два офицера Измайловского полка решили уйти в отставку из-за грубости Николая Павловича, то дело было с трудом улажено отнюдь не извинением.

Когда в 1822 году в Вильне Николай, командовавший гвардейской дивизией, перед строем лейб-гвардии Егерского полка кричал капитану Норову, герою наполеоновских войн, члену тайного общества: «Я вас в бараний рог согну!» — оскорбив тем самым полк, то дело кончилось отнюдь не извинениями и «рыцарскими предложениями», а отставками и переводами в армию.

Тот же Розен вспоминал, как в июне 1825 года, за полгода до восстания, гоняя беглым шагом изнемогающий от жары и усталости лейб-гвардии Финляндский полк, великий князь «начал угощать до того времени еще не водившимися любезностями и ругательствами. Наконец велел трубить отбой, мы остановились: он подъехал к нашим колоннам бледный, сам измученный зубною болью, и как выражались тогда — пошел писать и выговаривать: скверно! мерзко! гадко! и то дурно, и то не хорошо, и того не знаете, и того не умеете, — наконец, когда досада переполнилась, он прибавил: „Все, что в финляндском мундире, — все свиньи! слышите ли, все свиньи!“... На другой день его высочество, после учения, подошел к нашему офицерскому кругу и слегка коснулся вчерашнего дня, и слегка извинился. Но через две недели нам опять досталось...» На этот раз великий князь закончил свою выходку знаменитой сентенцией, имевшей ясный смысл: «Господа офицеры, займитесь службою, а не философией: я философов терпеть не могу: я всех философов в чухотку вгоню!».

Николай исповедовал хамство как важный аспект имперской идеологии.

Его поведение не было результатом природной грубости характера или избытка темперамента. Он действовал совершенно сознательно. И не скрывал этого. В главе своих записок, рассказывающей о том времени, когда он командовал бригадой, Николай вспоминал: «Вскоре заметил я, что офицеры делились на три разбора: на искренне усердных и знающих; на добрых малых, но запущенных и оттого не знающих; и на решительно дурных, т. е. говорунов дерзких, ленивых и совершенно вредных; на сих-то последних налег я без милосердия и всячески старался от оных избавиться, что мне и удавалось. Но дело было нелегкое, ибо сии-то люди составляли как бы цепь через все полки и в обществе имели покровителей, коих сильное влияние сказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми неприятностями, которыми удаление их из полков мне отплачивалось».

Николай понимал, что он борется не с отдельными людьми, но с общественным явлением...

Любопытно, что после 14 декабря «норовская история» в начальственных головах безошибочно связалась с историей тайного общества. Командовавший тогда полком генерал Головин писал позже официальному историографу М. Корфу: «Беспорядок, происшедший в Вильне между офицерами лейб-гвардии Егерского полка во время командования моего этим полком, без всякого сомнения, находится в связи с печальными событиями, ознаменовавшими 14 декабря 1825 года. Из донесения моего от 8-го марта 1822-го года командовавшему тогда 1-ю Гвардейскою дивизиею великому князю, ныне царствующему государю императору Николаю Павловичу, видно, что главнейший виновник вышеупомянутого беспорядка капитан Норов принадлежал, как после оказалось, к тайному обществу злоумышленников, имевших самые преступные намерения»³⁷. Отстаивание гвардейским офицером своего достоинства даже в пределах привычных понятий дворянской чести сливалось в сознании начальства в конце александровского царствования, а тем паче в николаевское, с мятежным духом. Такова была государственная идея, которую олицетворял молодой император.

Ясно, что психологически Константин как личность и как политический типаж был им понятнее и ближе, чем Николай, и в роковые дни, когда их мысль работала особенно стремительно и остро, завтрашние мятежники, вчерашние реформаторы, догадывались, что в империи Николая им места не будет. Не физически — затаиться и выполнять служебный ритуал они смогут. Но внутренне им придется перестроить, сломать себя — или уйти, спрятаться в имениях, в своих кабинетах, в своей частной жизни. (Они еще не знали, что и частная жизнь в грядущую эпоху не будет спасением.)

Александр Бестужев на следствии так объяснил свою приверженность присяге цесаревичу: «Я с малолетства люблю великого князя Константина Павловича. Служил в его полку и надеялся у него выйти, что называется, в люди. Я недурно езжу верхом; хотел также поднести ему книжку о верховой езде, которой у меня вчерне написано было с три четверти... одним словом, я надеялся при нем выбиться на путь, который труден бы мне был без знатной породы и богатства при другом государе».

С одной стороны, это признание — тактический ход, чтобы представить свои действия в виде понятном и безобидном. Но с другой — есть в этом признании серьезный смысл.

Мы знаем, что в случае воцарения Константина вождями тайного общества положено было общество законсервировать и стараться занять важные посты — для будущих акций. И в этой ситуации Бестужев, очевидно, и собирался действовать именно так, как говорил своим следователям. И чрезвычайно существенно то, что он верил — при Константине кавалерийский офицер без знатности, богатства и связей сможет сделать карьеру только личными достоинствами: искусством верховой езды, увлеченностью своим — кавалерийским — делом (книга о верховой езде!). При «другом государе», то бишь при Николае, этих средств, приемлемых для порядочного человека, явно окажется недостаточно.

Ссылный Пушкин, узнав в Михайловском о присяге Константину, писал 4 декабря Катенину: «...как поэт радуюсь восшествию *на* престол Константина I. В нем очень много романтизма: бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. К тому ж он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего».

Обдумав ситуацию, лидеры тайного общества предположили: при Константине, в котором, казалось, жив был дух той эпохи, когда двадцатилетние храбрецы становились генералами, можно будет лихостью и офицерской сноровкой «выйти в люди». А «выйдя в люди», получив полки и дивизии, на этом новом уровне влияния потребовать реформ. То есть остаться собой, остаться в своем, активном историческом слое. Выполнить долг.

Надеялись же они, убрав — так или иначе — с политической сцены Николая, договориться, опираясь на гвардейское большинство, с Константином о введении конституции.

³⁷ ОР РНБ, ф. 380, №58, л. 2.

Константин все же был для них человеком славного прошлого, первой половины александровского царствования. А Николай — человеком зловещего, туманного будущего...

А генералитет? Милорадович? Бистром? Другие, о которых речь впереди?



*Император Константин I.
Гравюра, вытупенная в
междуцарствие. 1825 г.*

Вряд ли они не знали, что такое в действительности Константин Павлович. Но при всей своей осведомленности они были поставлены перед четким выбором — Константин или Николай. (Вопрос об одной из вдовствующих императриц мог стать только после того, как отпали бы кандидатуры великих князей.) И эту альтернативу они решили одинаково — каждый из индивидуальных соображений.

Для Милорадовича Константин был старый боевой товарищ, личный друг. Милорадович, зная отвращение Константина к государственным занятиям и к самой мысли о троне, рассчитывал, что при нем он, Милорадович, будет вторым человеком империи, как при Александре был Аракчеев. При Николае он ни на что подобное рассчитывать не мог. Но вполне возможно, что им двигали не только карьерные расчеты. Правитель конституционной Польши более соответствовал полулиберальной и антикрепостнической позиции Милорадовича, чем Николай.

Как относился к Константину Бистром, мы не знаем. Но что он терпеть не мог Николая — это ясно. Кроме их служебных взаимных неудовольствий дело было еще и в принципиально различном отношении к солдату и службе. Николай был тиран, хотя и из высокопринципиальных соображений, а Бистром — командир суворовского типа, любящий солдат и любимый ими. Бистром не обладал политическими амбициями Милорадовича, но перспектива служить под началом своего недавнего подчиненного или же остаться не у дел не могла его радовать.

Для генералов, занимавших посты менее значительные, авторитет Милорадовича и Бистрома значил много. Было и еще немало личных и служебных причин, о которых мы просто не знаем.

Во всяком случае, и участники генеральской оппозиции, совершившие «государственный переворот» 25-27 ноября, и будущие мятежники 14 декабря в первые дни междуцарствия, пытаясь оценить обстановку и сделать выбор, учитывали факторы как бытовые и служебные, так и высокополитические, вплоть до внешнеполитических.

И те и другие понимали кризисность, переломность момента. И потому — рисковали.

«Единообразие есть лутчая краса в массе», или эпистолярный автопортрет генерала Желтухина 1-го

Не грех помнить, что кроме общеполитических проблем и страстей был еще и повсеместный военный быт, окружавший будущих декабристов. Быт этот не был четко поляризован по принципу: прогрессисты — с одной стороны, реакционеры — с другой. Быт, военный и общественный, был многослоен. Иногда члены тайных обществ легче находили общий язык с порядочными и разумными людьми из, условно говоря, правительственного лагеря, чем с представителями других группировок внутри своего движения. Эта черта времени мгновенно и ярко проявится в чрезвычайных, катализирующих обстоятельствах 14 декабря. И тем не менее, была категория людей в начальствующем слое, которая, аккумулируя в себе суть аракчеевской эпохи, делала службу и жизнь почти невыносимой и толкала даже уравновешенных либералов к скорейшим действиям.

О генерале Сергее Федоровиче Желтухине 1-ом, авторе замечательного послания, которое я предлагаю вниманию читателя, чтобы он ощутил неповторимую «прелесть» атмосферы, в которой служили те, кто собирался со дня на день перестроить жизнь страны, политические деятели с высоким сознанием собственного достоинства и предназначения, — об этом генерале декабрист Владимир Федосеевич Раевский писал: «...Начальники, такие, как Желтухин и десятки других, забивали солдат под палками...».

Желтухин писал Пестелю:

«Милостивый государь Павел Иванович.

Офицер с ундер-офицером и рядовым вашего полка прибыли сюда ко мне в Атаки 16-го числа сего месяца, я их на другой день осматривал во всей полной амуниции и что нашел, объясню вам здесь как приятель чистосердечно: кивера очень хороши, вязка султана и етишкетов тоже, хоша ети последние несколько узки, но из довольно тонкого холста и набелены хорошо, чешуя сидит плотно по щеке, хоша не на проволоке, которая, по моему мнению, нужна особенно худошавым, у коих впали щеки, у таковых она будет отделяться от лица, граната на кивере хороша и в должном месте посажена, но несколько косо пробита, слабо притянута и не вгнуты концы ее по киверу внутрь, что отымает красы, как и чешуя к киверам тоже в тех местах, где продевается в кивер, сие надо необходимо соблюдать, чтобы медь к своим местам туго была притянута, и другого, по моему мнению, нет средства как то, чтобы в ушки вкладывать натуго как они есть широки колышки деревянные или самый толстый и жесткий ремешок, усы не так расправлены и между ними на верхней губе надо пробривать, чтобы через сие виден был раздел каждого уса, височки надо зачесывать кверху и выправлять все из-под чешуи вперед, что придает красы; перевязи портупей хорошо набелены и сидят довольно стройно и плотно к мундирам, но без пристежек к месту, что необходимо, я полагаю, потому когда бывают в строю без ранца и шинели, то при делании ружья сумка и тесак будет беспрестанно передвигаться на солдате с места на место и собьется наконец совсем на бок; оное уже доказано на деле; суммы очень хороши, но ничего не подшито под углами, дабы сума не мялась — особенно наши молодцы солдаты не очень-то бережливы и лучшее все изгадят в день. Тесаки слишком косо сидят, ибо спереди оных видно третья часть, а более не следует как половина наконешника, оное оттого, что гнезды косо очень пришиты; у темляков столбики тонки, пострижены не по-моему, штыковые ножны личные, а не лакированные, и наконечники медные верхний и нижний у оных не одинаковые и не ровно посажены, что ребит в глазах, тем паче единообразие есть лутчая краса в массе; краги на ундер-офицере хороши, но не по-моему, ибо без ранту вверху и без строчки внизу и мало на ступню спереди и на каблук сзади набегают, — сие нужно для того, чтобы нога казалась менее; сверх того не лишнее спензовать и делать тоньше крагу в том месте внизу и сзади, где стиб ноги, дабы на марше шаг свободнее подавать и вытягивать носок книзу. Воротники у мундиров особенно сзади надо повыше и гораздо жещее — от сего и вид лучше и голову не будет так наклонять, что красит фронт... Вот как я доводил до исполнения своей обязанности и осмотра каждой вещи самому каждого частного командира в роте и в баталионе и дабы исполнить ваше желание в полной мере, любя вас душевно и не так как любят в нынешнем веку, а чистосердечно, как уроженец и шляхтич вольный, где ндравственность еще недурна, как и в дивизии моей, в коей любят царя,

веру, начальство и свято выполняют их волю и свою обязанность, хоша и были люди, которые нас хотели поссорить, но по крайней мере я с своей стороны рад, что не удалось им сего сделать, тем паче я вашею дружбою дорожу, хотел бы вас иметь у себя в дивизии и когда бы и поссорились минутою по службе, но все были бы опять дружны и откровенны между собою... Сергей Желтухин»³⁸.

Этот «фрунтовой профессор», скорее всего, испытывал такую пылкую дружбу к совершенно чуждому ему Пестелю потому, что полковник был близким другом влиятельного генерала Киселева, начальника штаба армии. Пестелю, кавалерийскому офицеру, получившему расхлябанный пехотный полк, советы Желтухина были ценны. Но поражает и пугает тот восторг, та высокая серьезность, с которой эти советы даются. Можно легко представить себе, как жилось в дивизии Желтухина солдатам и умным офицерам.

А для полноты картины можно вспомнить Петра Федоровича Желтухина 2-го, генерал-майора, командиры лейб-гвардии Гренадерского полка, под началом которого служил во время заграничного похода один из главных персонажей 14 декабря полковник Булатов. И вот что он вспоминал: «Я, имея правую руку совершенно раздробленную и несколько на одной открытых ран, приехал в полк к Лейпцигскому сражению, получил роту, был в сражении, и после полк квартировал близ Франкфурта-на-Майне.

Генерал Желтухин в одно время забылся до того, привыкши делать дерзости другим офицерам, вздумал без всякой причины и за ошибку одного офицера напасть на меня и, не уважая ни службы моей, ни ран, наговорил мне при фронте тьму грубостей и простер свою дерзость до того, что сказал мне: „Вы, сударь, не имеете ни малейшего благородства“. Это было перед фронтом, меня арестовали, и я молчал, просидел три дня под арестом, был взбешен как нельзя более, и после заплатил ему такую же дерзостью, сказав ему при его адъютанте Дитмаре, что если он впредь осмелится сказать мне подобное, то я, несмотря что имею одну руку, убью его... После того он со мною был осторожен».

Этот хам, которого можно было поставить на место только угрозой физической расправы, относительно которого командующий гвардией генерал Васильчиков писал царю, что его не любят в гвардии и просил не назначать его командиром нового Семеновского полка, стал в 1821-1823 годах начальником штаба гвардии.

Столкновения между средним офицерством и вышестоящими были неизбежны. Чем дальше дворянский авангард уходил в своем самосознании от сути самодержавного государства и отношений, которые этой сутью навязывались, тем резче те, кто эту суть выражал, должны были настаивать именно на такой форме отношений.

Хамство постепенно делалось стилем отношений высших с низшими. Декабрист Розен, специально разбирая это явление в воспоминаниях, приводил как один из примеров того же Желтухина 2-го: «...Был я свидетелем неприятной сцены и непростительной грубости со стороны начальника. Желтухин, обратившись к гевальдигеру, штаб-офицеру, и указав рукой на свой письменный стол, спросил его: „Отчего перекладина между ножками поставлена ребром, а не плашмя, как я приказал?“ — Гевальдигер отговорился неведением, непониманием приказания. — „Я приказал, и довольно, а за непослушание я вас впредь отправлю в нужное место на веревке“».

За невыполнение какого-то чепухового приказания, не имеющего никакого военного значения, начальник штаба гвардии грозил отправить гвардейского штаб-офицера — подполковника или полковника — на веревке в нужник!

Несгибаемым блюстителем этого стиля был прежде всего великий князь Николай Павлович.

Братья Желтухины, эти маленькие аракачевы, и им подобные выдвигались на первый план, становясь опорой окостеневающего режима, который вскоре должен был возглавить Николай.

³⁸ ОР РНБ, ф. 859, № 20, л. 70-716.



*П. Ф. Желтухин. Портрет
работы Д. Доу. 1820-е гг.*

Между ними и членами тайных обществ находилась, однако же, немалая группа генералов и офицеров, в значительной своей части сочувствующих оппозионерам, но — выжидающая. Определить политическую судьбу этой группы могло только возникновение предельных обстоятельств и ясный перевес одной из сторон.

Но пока что великий князь и его власть имущие единомышленники «налегли без милосердия» на тех, кто думал о будущем России, кто ясно видел катастрофичность пути, по которому она двигалась.

Представитель нейтрального военного слоя, не входивший в тайные общества, знаменитый Денис Давыдов говорил с горечью: «Налагать оковы на даровитые личности и тем затруднять им возможность выдвинуться из среды невежественной посредственности — это верх бессмыслия. Таким образом можно достигнуть лишь следующего: бездарные невежды, отличающиеся самым узким пониманием дела, окончательно изгоняют отовсюду способных людей, которые, убитые бессмысленными требованиями, не будут иметь возможности развиваться для самостоятельного действия и безусловно подчинятся большинству. Грустно думать, что к этому стремится правительство, не понимающее истинных требований века, и какие заботы и огромные материальные средства посвящены ими на гибельное развитие системы, которая, если продлится на деле, лишит Россию полезных и способных слуг. Не дай, Боже, убедиться нам на опыте, что не в одной механической формалистике заключается залог всякого успеха. Это страшное зло не уступает, конечно, по своим последствиям татарскому игу! Мне, уже состарившемуся в старых, но несравненно более светлых понятиях, не удастся увидеть эпоху возрождения России. Горе ей, если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих людей будет ей наиболее необходима, наше правительство будет окружено лишь толпой неспособных и упорных в своем невежестве людей. Усилия этих лиц не допускать до него справедливых требований века могут свергнуть государство в ряд страшных зол».

Сам того не подозревая, Денис Давыдов точно описал не только настоящее и будущее, но и очертил тот страшный процесс вытеснения из истории дворянского авангарда, который наметился еще в петровские времена, а к 1825 году достиг своего апогея. Двойственность петровских реформ, установка на неограниченный деспотизм и рабское сознание, культивировавшиеся российским самодержавием, привели к явлениям необратимым и неостановимым без вооруженного сопротивления, без катаклизма, без крови. Грубая недалекость власти провоцировала лобовое столкновение.

Столетняя история дворянского авангарда подходила к решающему моменту.

Отступление: рационалист в сфере практической политики

Осенью 1825 года Якубович познакомился еще с одним лицом, близким к заговору, и встреча эта имела непредсказуемые тогда, но удивительные последствия.

«Гордый, высокомерный, скрытный, с ясным и дельным умом, обработанным положительными науками» — так охарактеризовал наблюдательный Боровков подполковника Гавриила Степановича Батенькова. И у него были основания для такой характеристики.

Артиллерийский офицер Батеньков воевал с 1812 по 1814 год, неоднократно был отличен за храбрость, в январе 1814-го «при местечке Манмирале прикрывал отступление корпуса, получил штыком десять ран», чудом остался жив. Но в марте он снова сражался.

Еще до войны, будучи в кадетском корпусе, он подружился с Владимиром Федосеевичем Раевским, впоследствии одним из самых радикальных оппозиционеров. Они «развивали друг другу свободные идеи». Так что критический образ мышления присущ был Батенькову с юности.

Сам он писал о себе: «Военной славы не искал, мне всегда хотелось быть ученым или политиком. Во время двух путешествий за границу мысли о разных родах правления практическими примерами во мне утвердились, и я начал иметь желание видеть в своем отечестве более свободы. Следуя природным склонностям, я оставил службу в артиллерии, приехал в Петербург, занялся опять в тишине... точными науками, с честью держал экзамен в Институте путей сообщения, вступил в сей корпус и отправился в Сибирь... Там нечем было заняться, кроме наук. Должностные упражнения, хотя занимал я место окружного генерала, были неважны».

В Сибири Батеньков встретил Сперанского, назначенного управлять этим краем. Сперанский оценил способности молодого офицера и приблизил его. «Он начал употреблять меня в дела и действительно обратил в юриста. Практика и образцовые творения сего мужа были для меня новым источником учения: я сделался знатоком теории законодательства и стал надеяться достигнуть первых гражданских должностей».

Этот человек, сочетавший в себе точный ум ученого, обширные познания в сфере законодательства с желанием большей свободы России, вернулся в 1821 году в Петербург вместе со Сперанским и получил крупный пост правителя дел Сибирского комитета. Как сам он свидетельствовал, «в сие время Петербург был уже не тот, каким оставил я его прежде за 5 лет. Разговоры про правительство, негодования на оное, остроты, сарказмы встречались беспрестанно, коль скоро несколько молодых людей были вместе».

Он хотел войти и вошел в общество образованных и талантливых людей — «начал с Воейкова через Жуковского, а потом всех узнал у Греча. У сего последнего были приятные вечера, исполненные ума, остроты и откровенности, — здесь я узнал Бестужевых и Рылеева».

К 1823 году у Батенькова была настолько известная репутация честного, умелого, предприимчивого деятеля, что Аракчеев потребовал перевода его в Совет военных поселений. Начиналась карьера государственного человека.

Но то, что увидел Батеньков в поселениях, привело его к мысли, что «революция близка и неизбежна». Трезвомыслящие люди приходили к этому выводу независимо друг от друга. Вспомним слова Александра Бестужева о неизбежности скорого «решительного переворота» снизу.

В январе 1825 года Батеньков сказал себе: «...поелику революция в самом деле может быть полезна и весьма вероятна, то непременно мне должно в ней участвовать и быть лицом историческим».

Если Рылеев, Александр Бестужев, Якубович пришли к идее революционного действия из сферы романтических представлений, то Батеньков, инженер и юрист, пришел к той же идее путем холодного анализа ситуации. И это — крайне важная характеристика политической атмосферы кануна восстания. Ее обуславливали не

только романтический энтузиазм, человеколюбие или честолюбие, но и неумолимая логика процесса.

В том же 1825 году Батеньков, не зная о существовании тайных обществ, стал обдумывать структуру собственной конспиративной организации. «Я сделал свой план атакующего общества, полагал дать ему четыре отрасли: 1. Деловую, которая бы собирала сведения, капиталы, управляла и ведала дела членов. 2. Ученую, которая бы вообще действовала на нравы. 3. Служебную, которая бы с пособием капиталов общества рассыпана была по государству, утверждала основания управления и состояла бы из лиц отличнейшей в делах честности, кои бы, занимая явно гражданские должности, тайно по данным наказам отправляли и те обязанности, кои будут на них лежать в новом порядке. 4. Фанатиков, более для того, что лучше иметь их с собою, чем против себя».

Естественно, что лидеры Северного общества обратили на Батенькова внимание. Этот подполковник с государственным умом, близкий по дружеским тепер уже связям к Сперанскому, конечно же мог быть им чрезвычайно полезен.

Сближение их произошло в октябре 1825 года, за два месяца до событий.

Батеньков рассказывал: «Случившееся в Грузии происшествие (убийство дворовыми любовницы Аракчеева Настасьи Минкиной. — *Я. Г.*) сделалось, как известно, предметом городских разговоров. Спустя довольно времени, уже в октябре, обедали мы у Прокофьева. Целый стол говорили о переменах, кои последовать могут вследствие отречения графа Аракчеева. А. Бестужев сказал при сем случае, что решительный поступок одной молодой девки производит такую важную перемену в судьбе 50 миллионов. После обеда стали говорить о том, что у нас совершенно исчезли великие характеры и люди предприимчивые.

Нечувствительно я остался с Бестужевым наедине, и начали мечтать о судьбе России. Нам представлялась она в прелестном виде под свободным правлением, я пожелал, чтоб мы пользовались свободой, что нет средств приняться за столь полезное дело и что, по всей вероятности, нет людей, кои бы могли поддержать конституционное правление. Он сказал, что люди есть уже, которые на все решились; я отвечал, что не был бы русским, если бы отстал от них. Прибавил к тому, что перевороты снизу, от народа, опасны и лучшее средство придумать так, чтоб овладеть самым слабым пунктом в деспотическом правлении, то есть верховною властью, употребив интригу или силу».

В доме Российско-Американской компании кроме директора ее, Прокофьева, жили Александр Бестужев с Рылеевым. Уходя после достопамятного разговора, Батеньков спросил Бестужева, где сейчас Рылеев. «Внизу, до времени», — ответил тот. Батеньков понял, что его собеседник имеет в виду не только нижний этаж дома.

Вскоре Батеньков встретил капитана Якубовича. «Обедал я у Прокофьева; возле меня сел А. Бестужев, а напротив, в конце стола, Якубович. Бестужев, указывая на него, говорил, что такие молодцы все сделать могут. После я завел разговор, что хочу жениться на купчихе, буду купцом, дойду до звания градского главы и попробую возвысить оное на степень лорда-мэра. Якубович ответил: „Вы хотите быть головами, но оставьте руки на нашу долю“».

Батеньков сразу вспомнил разговор с Бестужевым о людях, на все решившихся.

Александр Бестужев, который, собственно, и привлек Батенькова к тайному обществу, подробно изложил историю их сближения — со своей точки зрения: «Я знал подполковника Батенькова года с три, ум его всегда мне нравился, но как он занимал места при особах важных — говорил черезчур легко обо всем, — я никак не мог вообразить, чтобы это не был повод или для того, чтобы выведать общее мнение, или для предания частных лиц. Поэтому кроме обыкновенных вольнодумств с ним не сближался. Мы иногда с Рылеевым говорили о нем, и я спорил с ним; он говорил, что это от души, я — что с умыслом. Наконец Рылеев этой осенью сказал мне, что он щупал нрав Батенькова и уверился, что он либерал. Однажды после обеда у Прокофьева, мечтая о том, что было бы с Россиею, если б она име-



*Г. С. Батеньков.
Литография К. Зеленцова.
1822 г.*

ла конституцию, он (Батеньков. — Я. Г.) сказал: „Людей-то нет, чтоб переворот произвести; надо нам стараться выходить в люди, чтоб занимать дельные места". Я же, ему противореча, сказал: „Послушайте, вы честный человек и так или иначе думаете, но меня не предадите — есть человек двадцать удалых голов, которые на все готовы. Они нанесут удар — увлекут солдат, и Россия преобразится по-русски". Вот тут-то сказал он мне, что он бы не достоин был называться и прочее; только он начал не соглашаться на республику, говоря, что еще не дозрели люди. И потом, кинувшись опять в мечтания, говорил, какие бы льготы дать народу, и понемногу, а не вдруг. В другую субботу говорил с ним уже Рылеев и после сказал мне: „Увидишь ли, кто ошибался! Он одинаких мыслей с нами"... В конце октября мы познакомили Батенькова с Якубовичем, и они друг друга полюбили. Тут мы сказали ему, что Якубович назначается для увлечения солдат, и он согласился, что в нем есть все нужные к тому качества».

Из свидетельств этих ясно, что последние месяцы перед восстанием тайное общество жило напряженным ожиданием близких событий, хотя скорая смерть императора никому известна не была. Ясно из них, что с приездом Якубовича, с появлением человека, который может «увлечь солдат», группа Рылеева стала думать не только о том, чтобы воспользоваться удобными обстоятельствами, коль скоро они возникнут, но и о том, как самим эти обстоятельства создать. Ясно из них, что задолго до 14 декабря с его конкретными условиями Рылеев и Александр Бестужев разрабатывали тактику революционной импровизации, внезапного удара, который стронет лавину, — двадцать храбрецов начинают, а потом все идет само собой. Лозунг «Держай!», выдвинутый Рылеевым перед восстанием, родился гораздо раньше и стал казаться особенно заманчивым с появлением в среде заговорщиков Якубовича.

И ясно, что в октябре — ноябре сложился альянс Батеньков — Якубович, идеолог и исполнитель. «...Они друг друга полюбили».

Оппозиция обиженных

Офицеров, принимавших участие в подготовке восстания и самом восстании, можно разделить на две категории. Первая — люди, выбитые из своей нормальной жизненной и служебной колеи лишь событиями 14 декабря. Вторая — люди, оказавшиеся вне этой колеи еще до междуцарствия и ринувшиеся в водоворот с сознанием несправедливости этого государства не только вообще, но конкретно к ним.

Это были — подполковник в отставке барон Штейнгель, подполковник Батеньков, Якубович, Каховский и полковник Булатов.

Каждый из них сыграл свою особую и сильную роль в событиях главного дня. Причем роль троих была пагубна. Стиль же их поведения принципиально отличался от поведения, скажем, офицеров лейб-гренадерского полка и Гвардейского экипажа. В известном смысле они противостояли лидерам тайного общества — Рылеву, Оболенскому и Трубецкому. А потому заслуживают особого рассмотрения.

Штейнгель и Батеньков были люди с широким государственным мышлением и незаурядным административным опытом.

Подполковник Штейнгель, морской офицер, служивший на Охотском море, на Байкале, в Балтийском флоте, в 1812 году ставший одним из организаторов ополчения и принимавший участие во многих боях, кавалер нескольких боевых орденов, занимавший затем крупные посты по военной и гражданской части, был оклеветан перед Александром, вынужден выйти в отставку и потерял возможность делать то дело, которое считал он полезным и важным для государства.

Изъездивший всю империю, хорошо знавший самые разные стороны российской жизни, Штейнгель не сомневался в предстоящих стране бедствиях. История собственного крушения — притом что был он совершенно лояльный и дельный администратор — убедила его окончательно в несостоятельности режима. Еще будучи в службе, он писал сочинения на юридические и экономические темы. Иногда эти сочинения встречали благожелательный прием у либеральных сановников. «Патриотическое рассуждение о причинах упадка торговли» вызвало у адмирала Мордвинова желание лично познакомиться с автором.

За то «Рассуждение о гражданственности в России», в котором Штейнгель показал «ужасный подрыв нравственности оттого, что по нашему Городовому положению все права даны деньгам, а не лицам, и всякий бесчестный богач предпочтен честнейшему бедняку», представлено было Аракчееву и возвращено им «по надобности».



*В. И. Штейнгель.
Автолитография о. Эстеррейха.
1823 г.*

Если бы карьера Штейнгеля не рухнула столь несправедливым образом, то, скорее всего, он добросовестно и дельно служил бы государству, пытаясь сколь можно усовершенствовать, реформировать его. Но именно трезвость и энергия реформатора, заложенные в его сознании, и делали его неудобным и ненужным. «Я, как всякий человек, знал себе цену, чувствовал свои способности, чувствовал, что мог бы быть полезен для отечества и для службы в особенности; но видел себя униженным, брошенным без всякой существенной вины моей...»

В этом настроении он встретился в 1824 году с Рылевым и узнал от него о существовании тайного общества. Пользуясь выражением бунтаря шестидесятых годов, Штейнгеля «вымучили, выдавили» в заговор.

Он писал Николаю из крепости: «Так, государь! Вам оставлено государство в изнеможении, с развращенными нравами, со внутренним расстройством, с

истощающимися доходами, с преувеличенными расходами, с внешними долгами — и при всем том ни единого мужа у кормила государственного, который бы с известным глубоким умом, с характером твердым, соединяя полное и безошибочное сведение о своем отечестве, питал к нему любовь, себялюбие превосмогающую...».

Штейнгель здесь почти буквально предвосхитил то, что менее чем через десять лет с горечью скажет Пушкин, оглядывая николаевское царствование: «Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но какова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить!».

Штейнгель знал, что он и его друг подполковник Батеньков — именно те люди, которые могли бы встать у кормила государства. Но их отстранили «по ненадобию».

В канун восстания Штейнгель был наиболее близок с Батеньковым и подпоручиком Яковом Ростовцевым.

О подполковнике Батенькове мы уже говорили. Но не было еще сказано, что в ноябре 1825 года и он потерпел служебную катастрофу.

Опасаясь каверз начальника штаба военных поселений Клейнмихеля, будущего верного клеветника Николая, Батеньков начал с Аракчеевым переговоры о переводе на другую службу. Но вместо перевода был фактически выкинут со службы разгневавшимся графом. «Поняв, что в России не найду уже приюта, был жестоко поражен сею деспотическою мерою; боялся сверх того клеветы пред лицом государя (ему, очевидно, известна была история Штейнгеля. — *Я. Г.*), почувствовал всю ненависть к существовавшему порядку, начал громко порицать оный и выдавать себя за человека, который готов на все для перемены. Но поелику в глубине души своей был мягок и уклончив, то решился удалиться и начал искать места правителя колоний Американской компании на Восточном океане. Почти кончены уже были соглашения: я обязывался служить 5 лет за 40 тысяч ежегодно, полагая половину издерживать, а другую отсылать в иностранный банк, чтоб водвориться где-нибудь в Южной Европе навсегда. Между тем, положение мое было затруднительно и горестно. Это дало удобность членам тайного общества действовать на меня».

Удивительный был человек подполковник Батеньков — при холодном математическом уме много в нем было от Якубовича, который тоже делал вид, что готов на все, а сам втихомолку хлопотал о возвращении в гвардию. Он и сам знал свою двойственность: «Древние греки и римляне с детства сделались мне любезны, но природные мои склонности влекли к занятиям другого рода: я любил точные науки и на 15-м году возраста знал уже интегральное исчисление, почти саморуком».

Неудивительно, что Якубович сделался с октября 1825 года его другом.

Обиды Якубовича и влияние их на его судьбу и поступки нам известны.

Обида Каховского началась, как и у кавказского героя, с изгнания из гвардии.

С полковником Булатовым дело было сложнее. Карьера его шла. Сын знаменитого своей храбростью и количеством полученных ран генерала Булатова, он прошел 1812 год и заграничные походы в строю лейб-гренадерского полка. Его младший брат рассказывал потом: «Он (полковник Булатов. — *Я. Г.*) был несколько раз ранен в Отечественную войну довольно серьезно в ногу, правую руку и голову, и часто страдал от этих ран, в особенности от головной; рассказывали мне его товарищи (сам он никогда не рассказывал ни своих походов, ни дел, в которых участвовал), что весь израненный, с повязкой на голове, с подвязанной рукою, он вступил в Париж во главе своей роты, салютуя левою рукою на церемониальном марше, при проходе мимо державного вождя русских войск; государь его заметил и пожаловал золотым оружием за храбрость, а французы, смотревшие на вступление русских войск, при виде этого юноши, всего израненного, бодро идущего перед своими солдатами, стали кричать ему: „Виват, храбрец!“».

Он и в самом деле был храбр, решителен, резок и обладал, как мы видели в столкновении его с генералом Желтухиным, чрезвычайно острым чувством собственного достоинства.

Он шел обычным путем удачливого гвардейского офицера — командование батальоном в гвардии, чин полковника и полк в провинции.

Так что дело было не в формальном ходе его карьеры, а скорее в ощущениях внутренних — он страдал от общей несправедливости иерархического военного принципа, когда люди, куда менее достойные, с куда скромнейшими, чем у него, боевыми заслугами, смотрели на него свысока — с высоты своих генеральских чинов.

И было еще одно обстоятельство, быть может, самое главное — император Александр в начале двадцатых годов грубо и незаслуженно оскорбил его отца — генерала Булатова. Сын тогда решил убить императора. Отец его отговорил. Для Булатова это было одним из проявлений общего принципа несправедливости, исповедуемого властью имущими.

Якубович, Булатов и Каховский были потенциальными цареубийцами — с разной, правда, степенью серьезности. То, что для Якубовича оказалось мрачной романтической игрой, для Булатова — порывом оскорбленного достоинства, для Каховского было крайним выражением общего мировосприятия.

Штейнгель, Батеньков, Якубович, Булатов, примкнувшие к обществу в последние месяцы, недели, дни, оказались между собой тесно связаны. Каховский стоял один.

Тайное общество. 27 ноября

К трем часам пополудни присяга Константину в Петербурге завершилась.

Для Милорадовича и его группировки дело было сделано.

Для Николая и близких к нему лиц это был первый — увы, неизбежный — этап борьбы за престол.

Для лидеров тайного общества это было началом ситуации, которую необходимо было довести до взрыва. Во всяком случае — попытаться.

Рылеев показывал: «Вскоре последовала и присяга, — и никаких мер не только невозможно было предпринять, но и сделать о том совещания. Вскоре приехал Трубецкой и говорил мне, с какой готовностью присягнули все полки цесаревичу, что, впрочем, это не беда, что надобно приготовиться насколько возможно, дабы содействовать южным членам, если они подымутся, что очень может случиться, ибо они готовы воспользоваться каждым случаем; что теперь обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные. Вследствие сего разговора и предложено было мною некоторым членам, в то утро ко мне приехавшим, избрать Трубецкого в диктаторы. Все изъявили на то свое согласие, — и с того дня начались у нас решительные и каждодневные совещания».

Рылеев несколько сдвинул время — Трубецкой мог приехать к нему с известием о присяге не раньше трех часов дня. А предложить избрать его диктатором Рылеев мог только вечером, на первом совещании после присяги.

Но прежде всего важно нам, что решительное слово, с которого начались целенаправленные действия, произнесено было Трубецким. И в диктаторы привели его не только «густые эполеты» гвардейского полковника, но эта твердая позиция посреди всеобщей растерянности...

Между тем по городу пошли слухи о завещании императора Александра. Трубецкой и его товарищи прекрасно поняли, что возможное отречение Константина и неизбежная в таком случае переприсяга принципиально изменят ситуацию.

В это же время в действие вступил человек, которому предстояло сыграть сильную и странную роль в надвигающихся событиях. Подполковник Батеньков показывал: «Ноября 27-го поутру я разговаривал с лекарем Яроцким. Вдруг пришел зять Сперанского Багреев и, не вымолвив ни слова, залился слезами. Зная дня за два о болезни государя, я понял горестную новость и сказал, что тотчас к ним буду. Сперанского дома не было; мы разговаривали втроем с дочерью его и зятем о положении императрицы, о необыкновенности кончины государя вне столицы и о предстоящем трауре. Не дождавшись Сперанского, я поехал кататься, думал увидеться с Трубецким, которого главные здесь сношения полагал в гвардии, чтобы узнать ее расположение, но не решился. Вместо этого обратился к коллежскому советнику Погодину. Здесь узнал, что присяга принесена уже государю цесаревичу и что огласилось во дворце об отречении его, но государь Николай Павлович поспешил присягнуть сам. По стечению обстоятельств я в сие время читал две книги: 1.

Господина Тъери о завоевании Англии норманнами. 2. Госпожи Сталь об Англии. Весь был напитан тремя идеями: а) неблагоприятием к иностранцам, б) уважением к народным защитникам, в) уважением к собственной народоу жизни. Мне казалось постыдным пропустить сей день, не дав заметить, что у России есть уже желание свободы. Посему говорил слишком вольно, что Совет и Сенат спят и что если б они думали об отечестве, то могли б в ту самую минуту, как Николай Павлович присягнул цесаревичу, принять сие за отречение и, огласив Александра II, сделать потом, что признают за благо. Напитанный сими мыслями и досадоу, что важный случай пропущен, я поехал к Прокофьеву, отправился к Штейнгелю побранить высшие сословия, а после к Рылееву, чтобы подстрекнуть и его; но сверх всякого чаяния заметил, что тут были люди, которые в самом деле готовы броситься к солдатам и провозгласить Елисавету или Александра II-го».

Этот «следственный монолог» — образец декабристской тактики на допросах: сказать много, не сказав главного.

А главным для Батенькова в тот день было все же свидание со Сперанским, о котором он сказал, не назвав имени своего патрона. Первый раз он, очевидно, действительно Сперанского не дождался. Это и неудивительно — Сперанский был на известном нам заседании Государственного



М.М. Сперанский. Гравюра с оригинала Д. Доу. 1820-е гг.

совета, на котором он, судя по всему, не проронил ни слова, как, впрочем, и адмирал Мордвинов. Батеньков вернулся в дом Сперанского после трех часов, и обидные слова его о том, что Совет и Сенат спят и не думают об отечестве, неизвестно к кому в показании обращенные, на самом деле обращены были к Сперанскому.

Барон Штейнгель живо и подробно описал визит к нему Батенькова: «27 ноября ввечеру господин Батеньков приехал к господину Прокофьеву и, застав меня у него, после нескольких слов, в рассеянии произнесенных, сказал мне: „Пойдемте в вашу комнату, хотя трубку выкурить“. Когда мы пришли ко мне (в мезонин), то сели вместе на мою кровать, и тогда с видом крайнего сердечного огорчения он начал мне говорить: „Я поссорился со своим стариком и наговорил ему бог знает что. Как можно, упустили такой день, каковых едва ли во сто лет бывает один, и ничего не могли сделать для отечества. Теперь все пропало невозвратно; все предприятия надобно выкинуть из головы; конечно: Россия на сто лет должна остаться в рабстве“. Я спросил: „Что же говорит Михаил Михайлович?“ — „Что говорит! — отвечал он тем же тоном негодования, — говорит: „Я один, что ж мне прикажешь делать; одному мне нечего было говорить“. Всего разговора нашего я никак не припомню, но эти слова врезались в моей памяти».

(Тут чрезвычайно важно, что Сперанский не отверг саму идею изменения формы правления, а только сослался на свое бессилие.)

У Батенькова, стало быть, с самого начала была идея изменения политического устройства акцией «высших сословий» — Государственного совета и Сената, провозглашения царствующей императрицей Елисаветы или же императором — малолетнего Александра Николаевича. Но надежда на сановников была столь же иллюзорной, как на добрую душу Константина.

День, как видим, прошел для будущих мятежников в выяснении обстановки и настроений, спорах и нащупывании позиций.

Если суммировать имеющиеся свидетельства, то оказывается, что вечером 27 ноября состоялось первое программное совещание у больного Рылеева. Были там Трубецкой, Оболенский, Александр и Николай Бестужевы, Штейнгель, Батеньков и, соответственно, сам Рылеев. Совещание по значимости своей может сравниться только с совещаниями у того же Рылеева 12 и 13 декабря, ибо на нем было принято решение огромной принципиальной важности.

На следствии декабристы, естественно, старались дать комиссии как можно меньше конкретных сведений об этом вечере. Оно и понятно — степень их вины многократно усиливалась, если они задумали мятеж еще тогда, когда возможность переприсяги была вполне гипотетична, когда рано еще было ссылаться на нежелание солдат присягать Николаю — солдаты об этом не знали и не думали. Четко очертив круг замыслов вечера 27 ноября, они должны были признаться в изначальном стремлении вмешаться в политическую жизнь государства, воспользовавшись династическим сбоем как поводом. А декабристы признавались в этом очень неохотно, и скудные признания, отдельные проговорки приходится собирать по огромному пространству следственных дел.

Рылеев показывал: «С известием о слухе, что государь цесаревич отрекается от престола, первый приехал ко мне Трубецкой, — и положено было воспользоваться сим непременно; если ж слух сей несправедлив, то выждать, что предпримут на Юге».

Но Батеньков свидетельствует, что узнал об отречении Константина в середине дня 27 ноября.

Штейнгель говорит, что Рылеев вечером 27-го рассказал ему подробно о том, что произошло во дворце. Стало быть, и о завещании Александра.

О том, что *неясно, кому надо присягать* — Николаю или Константину, — сообщил в середине дня Якубович. Так утверждает Александр Бестужев.

Николай Бестужев показывал, что 27 ноября (а это могло быть только вечером) он встретился с Батеньковым у Рылеева, «где весь разговор состоял о происшествиях во дворце и в Совете. В сем случае замечание Батенькова было, что если бы в Совете нашелся хоть один решительный человек, то Россия присягнула бы государю и законам». То есть речь шла опять-таки о незаконной присяге и отречении Константина.

Поскольку несомненно, что сведения о возможном отречении Константина были получены у Рылеева именно к вечеру 27 ноября, то особый смысл приобретает заявление Трубецкого, сделанное в этот день, «что теперь обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные».

На этом совещании, где присутствовали все главные деятели будущих событий, принято было два варианта возможных действий. Первый: если популярный в данный момент в гвардии Константин примет трон, законсервировать тайное общество и ждать лучших времен, набирая силы, — «действовать сколь можно осторожнее, стараясь года в два или три занять значительнейшие места в гвардейских полках».

И второй: если Константин не примет трона и возникнет удобная для выступления ситуация, непременно ею воспользоваться. А пока готовиться.

Именно в тот вечер (а не утром, как ошибочно показал Рылеев) он предложил Оболенскому и Бестужевым избрать Трубецкого диктатором. В принципе это предложение было принято, но осуществлено позднее

Растерянность лидеров тайного общества, охватившая их утром 27-го числа, к вечеру уже закончилась. Они выработали стратегический план действий и внутренне приготовились к различным вариантам. То ощущение крушения и безнадежности, которое возникло вечером 26-го и утром 27-го, к ним уже не вернулось.

Самым главным в совещании вечером 27 ноября было то, что участники его проявили безусловную готовность к действию при минимально благоприятных обстоятельствах.

Как мы увидим, тактические соображения и различие политических традиций скоро разделят этих людей. Столкновение их обернется трагедией для общего дела. Но пока они вместе — они решили действовать.

Трубецкой писал впоследствии: «Члены общества, решившие исполнить то, что почитали своим долгом, на что обрели себя при вступлении в общество, не убоились позора. Они не имели в виду никаких для себя личных видов, не мыслили о богатстве, о почестях, о власти. Они все это предоставляли людям, не принадлежащим к их обществу, но таким, которых считали способнейшими по истинному достоинству или по мнению, которым пользовались, привести в исполнение то, чего они всем сердцем и всею душою желали: поставить Россию в такое положение, которое упрочило бы благо государства и оградило его от переворотов, подобных французской революции, и которое, к несчастью, продолжает еще угрожать ей в будущем». Он оказался пророком...

Зимний дворец. После 27 ноября

После сжатого, как пружина, перенасыщенного событиями и решениями дня присяги наступила некоторая пауза.

Николаю надо было срочно связаться с Варшавой, чтобы действовать сообразно с поступками *нового* императора — Константина I, а кроме того, подготовиться к возможной борьбе за власть в случае решительного отречения цесаревича.

На кого же мог опереться в эти дни Николай?

А. Е. Пресняков, специально занимавшийся этим вопросом, писал: «Только в придворных кругах были сторонники Николая. Тут многим было известно обещание Константина отречься от престола за разрешение ему жениться по собственному выбору, и это вполне соответствовало воззрениям придворной среды. Николай, женатый на прусской принцессе, входил всеми навыками и связями в тон и быт этого двора, налаженного



*А. Х. Бенкендорф.
Гравюра с оригинала Д. Доу, 1820-е гг.*

императрицей-матерью на немецкий лад. При Николае, говорили тут, ничто не изменится, а с Константином, если он станет самодержцем, можно ожидать отмены дополнительного акта к закону о престолонаследии, и тогда русской императрицей станет „простая польская дворянка" и окажется поставленной „выше княгинь из домов королевских". Придворная челядь всякого ранга видела в Николае опору привычных дворцовых традиций и всего, их создавшего, политического строя».

Пресняков совершенно прав. Поддержка Николая именно придворными кругами, ориентированными на вдовствующую императрицу Марию Федоровну, не связанными с практическим управлением, то, что с именем Николая была сопряжена надежда на нерушимый статус-кво — ложную стабильность, — молчаливая оппозиция воцарению Николая деятелей реформистского толка — Сперанского и Мордвинова — все это крайне характерно.

Но в момент реальной борьбы за власть в деспотических системах решающую роль играет военная сила. Гвардия в лице Милорадовича и Воинова не допустила воцарения Николая 27 ноября. Только гвардия могла и в случае любого конфликта решить дело в его пользу.

На кого мог он опереться в гвардии?

Среди гвардейского генералитета у великого князя было мало друзей. Личными отношениями он был связан только с Бенкендорфом и Алексеем Орловым. Бенкендорф, храбрый кавалерийский генерал, прошедший наполеоновские войны, неоднократно награжденный за отличия, в 1825 году командовал гвардейской кирасирской дивизией, в которую входили из стоящих в столице полков - Конногвардейский и Кавалергардский.

Волконский писал о нем в воспоминаниях: «В числе сотоварищей моих по флигель-адыютантству был Александр Христофорович Бенкендорф, и с того времени были мы сперва знакомы, а впоследствии — в тесной дружбе. Бенкендорф тогда воротился из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный,



*В. В. Левашев.
Портрет работы Д. Доу, 1820-е*

увидел, какую пользу оказала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смысленных, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю, и отечеству...» Благородный и добрый Волконский писал о «чистой душе и светлом уме» молодого Бенкендорфа. Нам трудно сейчас сказать, насколько ошибался князь Сергей Григорьевич. Ясно, что Бенкендорф был человеком неглупым и понимавшим неблагополучие в стране. Но он считал возможным поправить положение созданием добросовестной карательной организации, свободной от коррупции и тупости, а его друг, которого он будет допрашивать через пятнадцать лет как член Следственной комиссии, его друг считал, что страну надо спасать реформами, а не корпусом жандармов, как бы хорош субъективно ни был каждый из них. Бенкендорф хотел идти и пошел по одному из путей, указанных Петром Великим, — по пути усложнения аппарата контроля: фискалы, обер-фискалы, гвардейские сержанты в роли личных эмиссаров, контролирующие фискалов... Бенкендорф хотел идти и пошел вместе с Николаем по пути наслоения все новых и новых бюрократических пластов, подавлявших своей тяжестью, разветвленностью и всепроникаемостью любую дворянскую оппозицию. А Волконский считал, что функции контроля и регуляции должны выполнять представительные учреждения, не эмиссары правительства, а эмиссары сословий...

Генерал Алексей Орлов, брат декабриста Михаила Орлова, поклонник и рыцарь великой княгини Александры Федоровны, командовал Конной гвардией. На этот полк Николай особенно рассчитывал.

Явным сторонником Николая был и генерал от кавалерии Василий Васильевич Левашев, командовавший лейб-гвардии Гусарским полком и 2-й бригадой легкой кавалерии, в которую кроме гусар входили конные егеря. Но гусары стояли в Павловске, а конные егеря - в Новгороде. Левашев, таким образом, был генералом без живой силы. Но, как рассказывает Розен, стоявший 6 декабря в карауле в Зимнем

дворце, во время выхода к обеду Левашев «имел особенно воинственный вид и ни на шаг не отходил от великого князя Николая».

Оба личных друга Николая располагали кавалерийскими частями, а Левашев не располагал никем.

Но в случае вооруженного противостояния в городских условиях решающая роль принадлежала артиллерии и пехоте.

Гвардейской артиллерией командовал генерал Сухозанет. Пушкин писал о Сухозанете, что это «человек запятнанный, вышедший в люди через Яшвиля — педераста и отъявленного игрока». Сухозанет действительно много лет, в том числе почти всю войну 1812-1814 годов, состоял при начальнике артиллерии действующей армии князе Яшвиле и сделал под его покровительством незаурядную карьеру: в 1808 году поручик Сухозанет назначен адъютантом Яшвиля, а в 1812 году он уже генерал-майор. По своим замашкам Сухозанет был типичный арапчеевец. Он не пользовался уважением ни в годы войны, ни в бытность свою командующим гвардейской артиллерией. Князь Сергей Волконский в воспоминаниях рассказывает историю, характерную для взаимоотношений Сухозанета с сослуживцами во время заграничного похода:

«На бывшем в этот день разводе Фигнер (артиллерийский штаб-офицер. — Я. Г.), прибыв в главную квартиру, пришел на развод, не являсь предварительно к Сухозанету и, вероятно, с отступлением в форме обмундирования. Заносчивый Сухозанет напустился на него по окончании развода, вероятно, в выражениях грубых, но напал на человека, не выносящего этого, и за грубость получил от Фигнера грубость. Все это происходило хотя не при главнокомандующем, который уже отошел с развода в свою квартиру со многими генералами и своим штабом, но в хвосте было много еще присутствующих на разводе, — и как брани этой не предвиделось конца и как, особенно, Сухозанет боялся, чтоб Фигнер не ударил его в щеку, то принялся довольно скоро уходить, чтобы найти убежище в квартире главнокомандующего; но Фигнер за ним вслед и пинками сзади проводил до самого входа в квартиру главнокомандующего». Сухозанет не только не вызвал Фигнера на дуэль, но даже не решился дать официальный ход этому позорному делу.

Случай этот обнаруживает как средства, которыми русские офицеры вынуждены были отстаивать свое личное достоинство, так и свойства характера будущего соратника Николая по 14 декабря. Конечно же, Сухозанету должны были импонировать взгляды и стиль великого князя Николая Павловича.

Но беда была в том, что Сухозанет совершенно не пользовался любовью в гвардейской артиллерии, а Бенкендорф и Орлов, как показали обстоятельства

*Рядовой, унтер-офицер и обер-офицер
лейбгвардии Саперного батальона. Литография.
Середина XIX в.*



имели весьма ограниченное влияние на свои полки. И в кризисной ситуации, если бы Николаю пришлось отстаивать свои права от посягательств легальных сторонников Константина, то есть когда одного приказа было бы мало, рассчитывать всерьез на артиллерию он не мог бы. Влияние Милорадовича и Бистрома было неизмеримо сильнее в гвардии.

Была лишь одна гвардейская часть, в преданности которой Николай не сомневался, — лейб-гвардии Саперный батальон, командовал которым полковник Геруа.

Лейб-гвардии Саперный батальон сформирован был в декабре 1812 года из лучших солдат, унтер-офицеров и офицеров инженерных частей русской армии. Численность его была доведена до тысячи человек.

В 1817 году Николай, назначенный генерал-инспектором по инженерной части, стал шефом гвардейских саперов. А когда в 1818 году он получил в командование 2-ю бригаду 1-й гвардейской дивизии, в которую входили Измайловский полк, Егерский полк и Гвардейский морской экипаж, то по его специальной просьбе Саперный батальон тоже включили в эту бригаду.

Николай всячески заботился о саперах и старался привязать их к себе, следя за условиями их жизни и время от времени приказывая раздавать от его имени деньги и водку. Обучение батальона — как профессиональное, так и общевойсковое — проходило под его постоянным надзором. Очевидно, благоволя к саперам, великий князь реже оборачивался к ним худшими сторонами своей натуры.

Полковник Геруа командовал Саперным батальоном много лет, был лично с Николаем связан, и когда тот находился в отъездах, то Геруа регулярно писал ему письма-отчеты о жизни батальона.

17 февраля 1824 года лейб-гвардии Саперный батальон получил знамя. Это была большая честь и исключение из правил. Ни одна из инженерных частей в русской армии знамени не имела.

Николай, очевидно, не просто любил инженерное дело и потому так пестовал саперов, а хотел иметь свою, лично себе преданную боевую единицу. С молодым Саперным батальоном этого было легче достичь. И Николай вполне преуспел — отлично обученный батальон был предан своему шефу.

Но тысяча даже таких вымуштрованных солдат, какими были гвардейские саперы, не могла, разумеется, перевесить остальную гвардию.

У Николая не было реальной возможности настоять на своих правах.

Генералитет, группировавшийся вокруг Милорадовича и Бистрома, явно склонен был не допустить его воцарения, если будут какие-либо иные варианты.

В гвардейской среде, которая решала все, Николай со своими претензиями на власть был достаточно одинок.

Теперь многое зависело не просто от ответа Константина, но и от формы этого ответа.

Варшава. 25 ноября

19 ноября в резиденцию цесаревича Константина прибыл курьер из Таганрога от генерала Дибича. Он привез известие о тяжелой болезни императора. Когда Константин, уединившись в своем кабинете, читал письмо начальника Главного штаба, император был уже мертв.

Константин ничего никому не сказал, кроме близкого к нему генерала Куруты, на имя которого и пришел пакет Дибича.

Через шесть тревожных дней - 25 ноября, в 7 часов вечера, когда в Петербурге Николай, узнав от Милорадовича о болезни Александра, мчался в Зимний дворец, - Константин получил известие о смерти императора.

То, что произошло в этот вечер в Петербурге и Варшаве, по своей парадоксальности и нелепости, пожалуй, не имеет аналогов. Если в Петербурге генеральские верхи отодвинули от трона «законного» наследника, то в Варшаве генералы и высшие сановники стали упорно навязывать трон яростно сопротивляющемуся Константину. В первые минуты это приняло анекдотические формы.

Великому князю Михаилу Павловичу, гостившему в эти дни в Варшаве, Константин сказал: «Моя воля отречься от престола более, нежели когда-либо, непреложна!» Но первый же крупный сановник, которому он сообщил о случившемся, сенатор Новосильцев, стал упорно называть его «ваше величество», пока Константин не впал в ярость.



*Великий князь Константин
в Варшаве. Литография.
1820-е гг.*

Как говорили, в более узком кругу цесаревич сказал: «Что они, дурачьё (непечатное причастие), вербовать, что ли, вздумали в цари!»

Публичное объявление о смерти Александра превратилось в нечто еще более странное.

Плачущий Константин обратился к собравшимся придворным: «Наш ангел отлетел, я потерял в нем друга, благодетеля, а Россия — отца своего... Кто нас поведет теперь к победам, где наш вождь? Россия осиротела, Россия пропала!»

«Затем, — как рассказывал очевидец, — закрыв лицо платком, Константин Павлович предался на несколько минут величайшему горю.»

Но тут адъютант цесаревича Павел Колзаков, не знавший об отречении и недоумевающий, отчего никто не приветствует нового императора, сказал: «Ваше императорское величество, Россия не пропала, а приветствует...»

То, что произошло дальше, сильно нарушило траурную атмосферу. «...Не успел он закончить свою фразу, как великий князь, весь вспыхнув, бросился на него и, схватив его за грудь, с гневом вскрикнул: „Да замолчите ли вы! Как вы осмелились выговорить эти слова, кто дал вам право предрешать дела, до вас не касающиеся? Вы знаете ли, чему вы подвергаетесь? Знаете ли, что за это в Сибирь и в кандалы сажают? Извольте идти сейчас под арест и отдайте вашу шпагу!“ Сцена получилась истинно павловская.

Ошеломленный Колзаков отправился под арест, ожидая дальнейших последствий. Но последствия оказались неожиданными, превратившими гнев великого князя в фарс.

Когда к Колзакову, сидевшему под арестом, пришел генерал Курута, то растерянный адъютант попытался объяснить свое поведение: «Да помилуйте,

Дмитрий Дмитриевич, я ждал, чтобы кто-нибудь из вас его приветствовал как государя, но все молчали; наконец, мне больно было видеть его отчаяние и грусть, я хотел отвлечь его на время от его горести, ободрить его тем, что Россия не пропала».

На что циничный Курута ответил со своим пришепетыванием: «Да какое вам, мон сер, дело до этого?.. Россия пропала, ну, Христос с ней, пропала! на словах все можно сказать, но к чему тут было возразить!» После чего Колзаков получил обратно шпагу и был освобожден.

На словах действительно все можно было сказать. Но за всеми этими чертами явного наигрыша скрывалась острая тревога.

И в тот же вечер великому князю пришлось столкнуться с совершенно непредсказуемой ситуацией.

Михаил Фонвизин вспоминал: «Мне рассказывал покойный М. С. Лунин, бывший очевидцем, следующее обстоятельство: в Варшаве, когда великий князь Константин получил известие о смерти императора Александра, он, верный своему отречению, намеревался на другой день собрать полки Литовского корпуса, гвардейские и армейские, бывшие тогда в Варшаве, чтобы привести к присяге императору Николаю. Начальники этих войск, любимцы великого князя, никак не хотели допустить того, желая видеть его самого императором, чтобы пользоваться его милостями и благоволением. Накануне принесения присяги все эти господа собрались у больного генерала Альбрехта и приняли единогласно решительное намерение заставить все полки вместо Николая присягнуть Константину и насильно возвести его на трон. На это дал согласие и действительный тайный советник Новосильцев, который тогда заведовал высшей администрацией Царства. Но бывший в собрании русских генералов граф Красинский тайно предупредил цесаревича об этом намерении и помешал приведению его в исполнение. Сам великий князь на другой день лично приводил к присяге Николаю все полки. А без этого план генералов непременно бы состоялся. М. С. Лунин сам присутствовал при этом совещании».

Стало быть, варшавский генералитет собирался сделать то, что сделала в Петербурге группировка Милорадовича, — навязать свою волю кандидату на престол.

И крайне значимо здесь имя Новосильцева. Некогда один из «молодых друзей» Александра, человек с конституционными идеями, Новосильцев не отказался и в более поздние времена от идей своей молодости. В его варшавской канцелярии по поручению Александра был разработан проект конституции — «Уставная грамота». И если действительный тайный советник Новосильцев рискнул поддержать план «государственного переворота», план, чреватый в случае неудачи крупными неприятностями, то можно предположить, что он рассчитывал встретить в императоре Константине больше сочувствия своим политическим замыслам, чем в императоре Николае.

Но — в отличие от столичного — варшавский вариант не удался. Константин привел Польшу к присяге Николаю и сообщил ему об этом. Николай в это время уже привел к присяге Константину гвардию и правительственные учреждения.

Все, что произошло в России 25-27 ноября 1825 года, могло произойти только в государстве с разбалансированной политической системой, государстве, правители которого находились в состоянии страха и неуверенности, государстве, в котором

законность не гарантировала спокойную смену власти, — короче говоря, в государстве, охваченном политическим и социальным кризисом.

Лишь сравнительно небольшая группа дворян ясно понимала это и руководствовалась в своих действиях долгосрочными интересами страны.

Тайное общество. После 27 ноября

После 27 ноября наступили смутные дни. Вожди общества знали, что ведутся какие-то переговоры между Николаем и Константином. Но к чему все это приведет, трудно было предполагать с определенностью. Предпринимать что-либо конкретное в этом положении было невозможно. Только в первый вечер после присяги Константину была сделана пробная попытка массовой агитации.

Николай Бестужев вспоминал:

«Когда мы остались трое: Рылеев, брат мой Александр и я, то после многих намерений положили было писать прокламации к войску и тайно разбросать их по казармам; но после, признав это неудобным, изорвали несколько написанных уже листов и решились все трое идти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба.

Это положено было рассказывать, чтобы приготовить дух войска для всякого случая, могшего представиться впоследствии. Я для того упоминаю об этом намерении, что оно было началом действий наших и осталось неизвестным комитету.

Нельзя представить жадности, с какой слушали нас солдаты, нельзя изъяснить быстроты, с какой разнеслись наши слова по войскам; на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом».

Сообщение Николая Александровича Бестужева интересно и важно, во-первых, для фактической стороны дела, во-вторых, для понимания особенностей механизма мемуаротворчества.

Во время следствия, 26 апреля 1826 года, Н. Бестужеву был задан вопрос: «...Торсон показывает, что вы говорили ему, что вместе с Рылеевым однажды вечером внушали солдатам не присягать его императорскому величеству Николаю Павловичу и выходить на Петровскую площадь. Объясните, действительно ли это было?»

Н. Бестужев отвечал: «...Это правда, что я говорил ему, что в день присяги цесаревичу, когда я был у Рылеева ввечеру, то брат мой Александр пошел меня провожать, и мы, остановив человек двух солдат на улице, хотели узнать их расположение и о внезапной перемене правления, и потому я говорил им: „Знаете ли, братцы, что мы присягнули цесаревичу, а в Сенате было завещание покойного государя, в котором Бог знает что было написано, и нам его не объявили“, — но их обыкновенный солдатский ответ был: „Не можем знать, ваше благородие“. Итак, Торсон ошибается, смешивая Рылеева с братом; уговаривать же их мы не могли, чтоб они не присягали императору Николаю Павловичу, потому что и сами не знали тогда, будем ли ему присягать; после же Рылеев слег на другой день в постель, а я не имел случая с братом ходить по вечерам...»

Это было уже в конце следствия, Н. Бестужев знал, что показания его легко проверить, и потому — в общих чертах — говорил правду. Но если помнить его обычную хладнокровную сдержанность и точный расчет в ответах следователям, то можно заключить, что истина лежит посредине между мемуарами и показаниями. Очевидно, Бестужевы действительно ходили вдвоем по городу один раз, но реакция солдат была более «жадной», чем Николай Александрович показал перед комитетом. Естественно, что солдаты отвечали незнакомым офицерам: «Не можем знать», но само сообщение должно было их волновать.

Агитация же прекратилась, разумеется, не оттого, что у Бестужевых не было случая прогуляться по городу, а потому, что идея «утаенного завещания» могла быть актуальна только в особенной ситуации. Для того чтобы поднять войска, обществу нужны были строевые офицеры. Вовлечь строевых офицеров разговорами об «утаенном завещании» было невозможно. Для действенной агитации требовалась другая основа. В первые дни после 27 ноября ее не было.

Мотив «утаенного завещания» снова возник в агитации декабристов уже 14 декабря, в совершенно новых обстоятельствах.

Пока что оставалось — ждать.

Увлечь полки конституционными и антикрепостническими лозунгами в тот период никто бы не смог. Эти стратегические лозунги способны были зажечь молодых офицеров. Но в смутные дни конца ноября — начала декабря 1825 года офицеров надо было ориентировать не на долгосрочную деятельность по воспитанию солдат в революционном духе, а на скорое — возможно, через несколько суток — выступление. Для этого им нужно было предложить безошибочные тактические лозунги.

В самом начале декабря Батеньков заехал к Рылееву. «Не помню уж, кого тут нашел, ибо все мое внимание обратилось на морского офицера, который говорил с большой самонадеянностью явные несообразности. (Это был лейтенант Арбузов. — Я. Г.) Например, что ежели взять большую книгу с золотой печатью и написать на ней крупно „закон“ и ежели пронести сию книгу по полкам, то все сделать можно, чего бы ни захотели, и тому подобное. После начали говорить о том, где должен быть подлинный акт отречения цесаревича, и полагали оный либо в Совете, либо отпавленный к его высочеству. „Надобно достать его, непременно достать“, — кричал сей офицер; а как другой кто-то принял в том участие и, казалось, тотчас готовы были без дальних рассуждений бежать, сами не зная куда, то сие действительно меня удивило».

Оценочная окраска этого свидетельства в значительной степени вызвана была ситуацией проигранного восстания. Но Батеньков точно передает нервную, беспокойную энергию молодых гвардейцев, внезапно попавших в историческую паузу. Они искали варианты немедленного действия — и не находили их.

Когда лидерам общества стали известны — после присяги Константину — разговоры о правах Николая, мысль о возникновении ситуации, идеально подходящей для попытки переворота, сразу пришла им в головы. Но проходил день, другой, третий — на витринах появились портреты курносого человека с подписью: «Император Константин I». Начата была чеканка константиновских рублей.

Вожди общества в разговорах возвращались к проекту 26 ноября. Трубецкой рассказывал на следствии: «Через несколько дней после того, как дана была присяга

государю цесаревичу и когда еще не говорили, что отречется его высочество от данной ему присяги, я говорил Рылееву, что существование общества в царствование государя цесаревича будет опасно, с чем Рылеев был согласен, и мы положили с ним, что надобно непременно общество уничтожить».

Оболенский говорил нечто похожее: «В один из близких сему вечеров Трубецкой, я и Рылеев, находясь одни в комнате (сколько я помню) и разговорясь о предмете, столь близком нам, князь Трубецкой утверждал, что император будет из Варшавы непременно и примет престол, и в то время предложил нам, в сем последнем случае, совершенно разрушить общество, объявить всем членам, что оно уже не существует; а самим, оставшись между собой друзьями, действовать каждому отдельно, сообразно правил наших и чувствований сердца».

Однако показание Рылеева об этом разговоре, подтверждая внешний рисунок, по сути дела существенно корректирует его содержание: «...положили в случае принятия короны государем цесаревичем объявить общество уничтоженным и действовать сколь можно осторожнее, стараясь года в два или три занять значительнейшие места в гвардейских полках. Это было мнение Трубецкого; причем я сказал, что в таком случае полезно будет обязать членов не выходить в отставку и не переходить в армию».

Во-первых, речь, стало быть, шла не о действительном уничтожении тайного общества, а о более глубоком уровне конспирации. Это был тот же прием, который применили лидеры «Союза благоденствия» в 1821 году. Недаром предложен он был одним из руководителей «Союза», ветераном движения Трубецким.

Во-вторых, существенно, что эта основополагающая на данном этапе идея предложена была именно Трубецким, что свидетельствует о его постоянной инициативе.



*К. Ф. Рылеев.
Миниатюра 1820-х гг.*

В-третьих, знаменательна мысль Рыльева о недопустимости оттока радикальных сил из гвардии в армию. И в первой трети XIX века ударной силой возможных перемен представители дворянского авангарда считали гвардию.

(Трубецкой, Оболенский и Рылеев не знали, что тайные общества уже преданы, что в то время, когда они обсуждают свой проект усиленной конспирации, генерал Дибич в Таганроге делает для великого князя Николая подробный свод трех доносов и что в этом своде среди прочих стоит и имя Рыльева. Они еще не знали, что у тайного общества не было иной перспективы, кроме близкого восстания или столь же близкой, но бесславной гибели.)

Но даже в этот смутный промежуток — с 28 ноября по 5 декабря — они отнюдь не ограничивались обсуждением возможной консервации общества и легальных путей продвижения наверх, к реальной власти в гвардии.

«В то же время, — показывал Оболенский именно об этих днях, — сделал я вопрос князю Трубецкому: „Если же император откажется, — в таком случае что делать?“ На сие князь Трубецкой отвечал мне, что в сем случае мы не можем никакой отговорки принести Обществу, избравшему нас, и мы должны все способы употребить для достижения цели Общества. Я и Рылеев согласились с мнением князя Трубецкого. Прочие члены Общества были уже известны об сем намерении и готовились каждый в своем круге действовать сообразно с целию Общества».

Эти несколько смутных дней были особым периодом междуцарствия. Но они не пропали даром. Мало заметная, но напряженная работа шла внутри тайного общества и на его периферии — лидеры привыкали к мысли о возможном выступлении, присматривались к людям, которых можно было привлечь в случае надобности, испытывали решимость молодых членов общества.

В квартире больного Рыльева, кроме Трубецкого, Оболенского, Бестужевых, Батенькова, Штейнгеля, Якубовича, Каховского, стали появляться поручик лейб-гвардии Гренадерского полка Александр Сутгоф и лейтенант Гвардейского морского экипажа Антон Арбузов.

Постепенно вырисовывался круг людей, готовых действовать в соответствующих обстоятельствах. Но возникнут ли эти обстоятельства — было неясно.

Петербург — Варшава. После 27 ноября

27 ноября, сразу после присяги, Николай послал в Варшаву письмо:

«Дорогой Константин! Предстаю пред моим государем, с присягою, которой я ему обязан и которую уже принес ему, так же, как и все, меня окружающие, в церкви, в тот самый момент, когда обрушилось на нас самое ужасное из всех несчастий. Как сострадаю я вам! Как несчастны мы все! Бога ради, не покидайте нас и не оставляйте нас одних! Ваш брат, ваш верный на жизнь и на смерть подданный Николай».

А в это время великий князь Михаил Павлович, гостивший в Варшаве, уже сутки как мчался в Петербург, везя Николаю письмо от Константина, где были такие слова: «Перехожу к делу и сообщаю вам, что согласно повелению нашего покойного государя я послал матушке письмо с изложением моей непреложной воли, заранее одобренной как покойным императором, так и матушкой».

К этому письму были приложены два послания императрице Марии Федоровне и Николаю, где более официальным тоном сообщалось о том, что он, Константин, уступает своему брату «право на наследие императорского всероссийского престола».

Великий князь Михаил, понимая драматичность момента, двигался по осеннему бездорожью с немалой скоростью и, выехав из Варшавы 26 ноября, был в столице 3 декабря.

Его приезд вызвал возбуждение и недоумение во дворце. Приехав и повидавшись с матерью и братом, Михаил отслужил панихиду по Александру, но не присягал Константину. Это наводило на размышления.

Михаил вспоминал об этих днях:

«Михаил Павлович (он писал о себе в третьем лице. — *Я. Г.*), поставленный, таким образом, стечением обстоятельств в совершенно ложное положение, со своей стороны тоже томился мрачными предчувствиями. В день своего приезда он обедал с братом у императрицы. •• После обеда братья остались одни.

- Зачем ты все это сделал, - сказал Михаил Павлович, - когда тебе известны акты покойного государя и отречение цесаревича? Что теперь будет при повторной присяге в отмену прежней, и как Бог поможет все это кончить?

Объяснив причины своих действий, брат его отвечал, что едва ли есть повод тревожиться, когда первая присяга совершена с такою покорностию и так спокойно».

Михаил, как видим, не раскрыл того, что сказал ему Николай в объяснение своей присяги. Но далее в тексте есть многозначительные слова о «с.-петербургском военном генерал-губернаторе Милорадовиче, который в эти дни везде и почти неотлучно находился при великом князе Николае Павловиче». Очевидно, Михаилу известна была истинная роль Милорадовича в событиях 25-27 ноября. Однако он считал, что Николай напрасно поддавался давлению и что теперь положение стало еще рискованнее. И в ответ на самоуспокоительные рассуждения Николая о гладкости первой присяги он возражал достаточно веско. «Нет, — возразил Михаил Павлович, — это совсем другое дело: все знают, что брат Константин остался между нами старший; народ всякий день слышал в церквах его имя первым, вслед за государем и императрицами, и еще с титулом цесаревича; все давно привыкли считать его законным наследником, и потому вступление его на престол показалось вещью очень естественною. Когда производят штабс-капитана в капитаны, это — в порядке, и никого не дивит; но совсем иное дело — перешагнуть через чин и произвести в капитаны поручика. Как тут растолковать каждому в народе и в войске эти домашние сделки и почему сделалось так, а не иначе?»

Но Николай и сам понимал двусмысленность и рискованность положения. И если вступление его на престол после смерти Александра, узаконенное официальными актами, могло, по мнению генералов, вызвать гвардейский бунт, то как же увеличилась опасность теперь, после присяги Константину, которую приходилось отменять! Потому те полуофициальные, полуличные письма, которые прислал Константин, справедливо казались Николаю совершенно недостаточными, чтобы приступить к переприсяге с надеждой на благополучный исход.

Если Константин, сидя в Варшаве, уверен был, что в случае воцарения его «задушат, как задушили отца», то и Николай, окруженный в Петербурге неприязненными генералами и настороженной гвардией, ожидал любых эксцессов. В воспоминаниях он писал об этом с полной откровенностью:

«Матушка заперлась с Михаилом Павловичем (после его прибытия из Варшавы. — Я. Г.); я ожидал в другом покое — и точно ожидал решения своей участи. Минута неизъяснимая. Наконец дверь отперлась, и матушка мне сказала: — Ну, Николай, преклонитесь перед вашим братом: он заслуживает почтения и высок в своем неизменном решении предоставить вам трон.

Признаюсь, мне слова сии тяжело было слушать, и я в том винюсь; но я себя спрашивал, кто большую приносит из нас двух жертву: тот ли, который отвергал наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и остался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям, — или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной и который неожиданно, в самое тяжелое время, в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого? Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тяжче. Я отвечал матушке:



*Великий князь Михаил.
Литография. 1820-е гг.*

— Прежде чем преклоняться, позвольте мне, матушка, узнать, почему я это должен сделать, ибо я не знаю, чья из двух жертв больше: того, кто отказывается от трона, или того, кто принимает его при подобных обстоятельствах». Николай в очередной раз кривил душой — «воля братняя» была ему известна, но он трезво оценивал обстановку. А ведь он ничего еще не знал о заговоре, о тайных обществах. Но он хотел, если уж ему суждено рискнуть головой, принимая престол, свести этот риск до минимума. У него была определенная идея — он требовал, чтоб Константин признал себя императором, в этом качестве издал манифест об отречении и провозгласил его, Николая, наследником. А еще лучше, чтоб сделал это лично, приехав в Петербург. Тогда, как справедливо считал Николай, «семейное дело», «домашняя сделка», вызывавшая естественное негодование, станет делом государственным.

А цесаревич, осаждаемый просьбами принять престол, пребывал в состоянии злом и раздраженном. Одному из петербургских посланцев, в прошлом известному игроку с дурной репутацией, он сказал: «Зачем вы приехали? Я давно уже не играю в пикет!»

В Варшаву были посланы курьеры с соответствующими письмами, а затем отправился туда и Михаил Павлович. Но, выехав 5 декабря, он встретил к вечеру того же дня Лазарева, адъютанта Николая, который послан был к Константину с извещением о присяге и теперь вез в Петербург резкий отказ цесаревича. Отказ этот выглядел так: «Ваш адъютант, любезный Николай, по прибытии сюда, вручил мне в точности ваше письмо. Я прочел его с живейшей горестью и печалью. Мое решение — непоколебимо и одобрено моим покойным благодетелем, государем и повелителем. Приглашение ваше приехать скорее к вам не может быть принято мною, и я объявляю вам, что я удалюсь еще далее, если все не устроится сообразно воле покойного нашего императора».

Это раздраженное письмо еще менее предыдущих годилось для оправдания переприсяги.

Михаил Павлович решил остаться на станции Ненналь, в трехстах верстах от столицы, и здесь ждать дальнейших событий, контролируя всю официальную переписку между Петербургом и Варшавой. Для этой цели он снабжен был специальным письмом императрицы Марии Федоровны, которая оказалась теперь формальным арбитром в деле престолонаследия: «Предъявитель сего открытого предписания его императорское высочество государь великий князь Михаил Павлович, любезнейший мой сын, уполномочен мной принимать моим именем и распечатывать все письма, пакеты и прочее от государя императора Константина Павловича, ко мне адресованные». Предписание было собственноручно подписано.

Поскольку все важные депеши в Петербург шли или на ее имя, или на два имени — ее и Николая, то Михаил получил возможность быть целиком в курсе династической тяжбы.

Николай, таким образом, после 5 декабря оказался совершенно отодвинутым от активных действий. В столице его постоянно контролировал Милорадович, а на тракте в Варшаву сидел Михаил Павлович, распечатывавший пакеты и наделенный правом задерживать и оставлять при себе курьеров.

Судя по тому, что вдовствующая императрица в открытом официальном документе назвала Константина государем императором, она вовсе не была уверена в окончательности его отречения...

После таинственного приезда и странного отъезда великого князя Михаила напряжение в Петербурге резко пошло вверх. То, что российской короной играли как семейной реликвией, свидетельствовало о глубоком несовершенстве правительственной системы и династических принципов.

Ощущение неблагополучия и чувство обиды постепенно овладевали гвардейскими солдатами и офицерами.

Сила крайностей

В один из дней смутного периода, когда перспектива была неясна, к Рылееву, у которого находился Николай Бестужев, пришел Каховский.

Николай Бестужев показывал на следствии: «Дня за два или за три (не упомяну) до 1-го декабря, когда я сидел у Рылеева один, вошел к нему Каховский и спросил Рылеева: „Правда ли, что положено Обществу разойтись-ся?“ — и когда Рылеев отвечал утвердительно, Каховский с сердцем сказал: „Не довольно того, что вы удержали человека от его намерения, вы не хотите и продолжать цели своей; я говорю вам, господа, что ежели вы не будете действовать, то я донесу на вас правительству. Я готов собою жертвовать, назначьте, кого должно поразить, и я поражу; теперь же все в недоумении, все общество в брожении; достаточно одного удара, чтобы заставить всех обратиться в нашу сторону“. Рылеев возразил ему на это, что напрасно он сделался членом и обещал безусловное повиновение Обществу, ежели он так безрассудно продолжает говорить о своем намерении; что ежели и сбудется преднамереваемое обществом, то участь царской фамилии будет зависеть от общего голоса всех чинов (сословий. — Я. Г.)... и что его обязанность слепо действовать как ему прикажут. Я, со своей стороны, подтвердил слова Рылеева, говоря, что цель Общества в преобразовании правительства заключается не в убийствах и что Обще-

ству совсем не то нужно, чтобы кого-нибудь убить, но чтобы в России были законы, а к этому можно при этих обстоятельствах дойти и не по кровавому пути. На что Каховский, успокоясь, сказал: „Смотрите, господа! претенденты на самодержавие всегда вредили намерениям конституции; чтоб вам не раскаиваться“).

Бестужев явно обманывал следователей: за два или три дня до восстания вопрос о роспуске тайного общества уже не стоял, шла интенсивная подготовка к выступлению. И в этой новой ситуации Рылеев не только не возражал против царевубийства, но настаивал на нем. Этот разговор мог состояться только до 6 декабря. Но дело не в этом, а в необычайной смысловой насыщенности разговора.

Когда мы говорим «декабристы», то мы покрываем этим термином широчайший спектр не только политических доктрин и практических позиций, но и не совместимых в обычном быту человеческих личностей.

Николай Бестужев и Петр Каховский, встретившиеся в квартире Рылеева, являли собой крайние точки Северного общества в декабрьские дни 1825 года.

У каждого из арестованных после восстания спрашивали: «Откуда заимствовали вы свободный образ мыслей?»

Николай Бестужев ответил: «Бытность моя в Голландии 1815 года, в продолжение 5 месяцев, когда там устанавливалось конституционное правление, дала мне первое понятие о пользе законов и прав гражданских; после того двукратное посещение Франции, вояж в Англию и Испанию утвердили сей образ мыслей. Первая же книга, разбудившая во мне желание конституции в моем отечестве, была: „О конституции Англии“, не помню, чьего сочинения, переведенная на русский язык (кажется, в 1805 году г. Татищевым) и посвященная покойному императору Александру Павловичу. Впрочем, все происшествия последнего времени во всей Европе, все иностранные журналы, современные истории и записки и даже русские журналы и газеты открывали внимательному читателю пользу постановления законов».

Каховский на тот же вопрос отвечал: «Мысли формируются с годами; определенно я не могу сказать, когда понятия мои развернулись. С детства



П. Г. Каховский. Миниатюра. 1820-е гг.

изучая историю греков и римлян, я был воспламенен героями древности. Недавние перевороты в правлениях Европы сильно на меня действовали. Наконец всего того, что было известным в свете по части политической, дало наклонность мыслям моим. Будучи в 1823 и 1824 годах за границею, я имел много способов читать и учиться: уединение, наблюдения и книги были мои учителями.

Почти все совпадает — заграничные впечатления, чтение политической литературы, европейские революции последних лет. Все, кроме исходной точки.

Бестужев начал свое развитие с трезвых наблюдений над политической практикой современной ему Европы и России.

Каховский — «с детства... был воспламенен героями древности». Он примерял к действительности тираноборческий эталон русского классицизма и рылеевского романтизма. (Он и принят был в общество Рылеевым.)

Оба они были людьми полного и твердого бескорыстия. Но Бестужев готов был подчиниться дисциплине тайного общества в критические моменты, а Каховский непрерывно бунтовал.

Для Бестужева как постепенная работа для реформирования страны, так и революция были серьезным и основательным делом.

Для Каховского это было мгновенным подвигом, не терпящим отлагательств.

Каховский показывал: «Личного намерения (то есть корыстных интересов. — Я. Г.) я не имел, все желания мои относились к отечеству моему. Положение государства меня приводило в трепет: финансы расстроенные, отсутствие справедливости в судах, корыстолюбие употребляемых, уничтожение внешней коммерции — все сие предшествовало в глазах моих полному разрушению. Одно спасение полагал я в составлении законов и принятии оных неколебимым вождем, ограждающих собственность и лицо каждого». Все это мог бы сказать Николай Бестужев, кроме одного — слов о «неколебимом вожде». Каховскому нужен был герой. Он примерял на себя тогу Брута, как Якубович — байронический плащ. (Для Якубовича и Брут задрапирован был в этот плащ.)

Но Якубович толковал о романтической мести за обиду, а Каховский готовился принести себя в жертву ради общего блага — без примеси личных видов.

И, однако, именно обида сформировала нервную, страстную, неуравновешенную, уязвленную, жаждущую подвига и гибели натуру Каховского.

Якубович, как мы знаем, мистифицируя вождей тайного общества, готовился к продолжению службы в гвардии и кавказской карьеры.

Каховский не видел для себя будущего и готовился к скорой и громкой гибели.

Якубович играл в трагедию. Каховский жил трагедией.

Он был удивительно неудачлив — он пережил крушение военной карьеры, он пережил крушение великой любви, он был беден. Этот страстный и гордый неудачник умел увидеть несчастье и неудачу своей страны. Обида за свое несчастье слилась в нем с обидой за несчастье своей страны, и этот сплав породил единственную в своем роде личность.

Якубович мог отказаться от разговоров о цареубийстве, надеть лейб-уланский мундир и забыть о своем демоническом революционизме.

Рылеев и Бестужев не могли отказаться от своей деятельности революционеров-реформаторов, наполнявшей их жизнь высоким смыслом. Но они могли

приостановить действия тайного общества, избрать на время иной путь борьбы, отложить попытку переворота.

Каховский в 1825 году ничего откладывать не мог. И не мог ждать. Отсюда и его вспышка при известии о роспуске общества. Отсюда его крайний радикализм. Для Каховского не существовало обстоятельств, ибо он жил в пространстве свершающейся трагедии.

Николай Бестужев и Каховский были полюсами активного слоя тайного общества. Но это не значит, что один был полезен, а другой вреден обществу — в любом порядке. Две эти крайности и делали в тот момент тайное общество жизнеспособным — способным на резкое и в то же время основательное действие.

Рылеев находился посередине между этими полюсами. Иначе он не мог бы стать политическим вождем и двигателем организации.

Тайное общество. После 6 декабря

6 декабря в Петербург прискакал Лазарев с известным нам письмом Константина. Если загадочное молчание великого князя Михаила усугубляло недоумение и порождало новые толки, то слухи о результатах миссии Лазарева несколько прояснили положение.

Трубецкой, осведомленный по своим высоким и обширным связям более других, показывал: «...слухи о прибывающих курьерах весьма скоро в городе распространялись; и как решение государя цесаревича на посланную его высочеству присягу было тогда повсеместным предметом разговоров и различных догадок, то и о курьерах и привозимых ими известиях верные и неверные слухи я слышал в разных домах и от разных лиц. Так, например: говорили в городе, что будто бы воротились Лазарев, Сабуров и Никитин, которые были посланы в Варшаву, и будто им не велено показываться. Слышал я еще, будто бы еще государь император получил от государя цесаревича письмо с надписью „его императорскому величеству“... Сей же слух подтвердил мне австрийский посланник граф Лебцельтерн, который говорил, что он слышал, что еще в самых первых днях письмо с означенною надписью было прислано государю императору от государя цесаревича; но я сему не верил...»

У декабристов на следствии был такой распространенный прием — сообщать факты, которых требуют следователи, но окрашивать их соответствующим отношением. Именно это делает здесь Трубецкой — он представляет сбор важнейших сведений случайными разговорами, которым он не придавал значения. Между тем он был осведомлен очень надежно, ибо информаторами его были сановники весьма высокого ранга — сенаторы, придворные, дипломаты.

Лазарев, как мы знаем, приехал 6 декабря. С этого времени лидерам тайного общества стало ясно, что желаемая ситуация приближается почти наверняка.

Александр Бестужев, демонстрировавший прекрасную память на даты и детали, показал: «После 6-го декабря стали уже в городе носиться слухи, что цесаревич отказывается от короны, тогда князь Трубецкой и Рылеев, а потом Оболенский, я, Арбузов и Одоевский, Штейнгель и Якубович стали говорить, что сим надо воспользоваться, что солдаты не расположены к Николаю Павловичу, а цесаревича любят, и что никогда не представится для России благоприятнейшего случая

отыскать права, коими пользуются другие нации. С 9-го числа стали собирать членов и вербовать единомышленников в полках».

Необыкновенная по своей интенсивности деятельность началась, очевидно, и в самом деле с 9 декабря, когда предположение об отказе Константина перешло в уверенность. Но два дня между 6-м и 9-м числом заполнены были сбором сведений, разговорами с офицерами и первоначальными прикидками конкретного плана переворота. Но как бы то ни было — восстание 14 декабря организовано всего за пять-шесть дней!

Если до 6 декабря члены тайного общества навещали больного Рылеева без определенной системы, то после этого дня начались регулярные целенаправленные совещания. Их обычными участниками были — кроме хозяина дома - Трубецкой, Оболенский, Александр Бестужев, Одоевский, Арбузов, Каховский, Якубович, Сутгоф.

Александр Бестужев, с присущей ему живописностью, изобразил общую атмосферу этих первых совещаний: «У Рылеева уже собирались члены и новобранцы с известиями, что полки хотят стоять грудью за Константина и не присягать ныне царствующему императору. Якубович сказал, что когда он графу Милорадовичу сказал, что он не присягнет иному, покуда Константин Павлович лично не придет отказаться, - тот взял его за руку и произнес: „Поверьте, вы не один так думаете“. Оболенский говорил, что генерал Бистром сначала сказал ему, что он, кроме Константина, никому не присягнет. Якубович обещал увлечь Измайловский полк, а мы, признаемся, полагали на его красноречие и фигуру большую надежду...»

Казалось, все складывается благоприятно. Надо было определить свои силы и выработать план действий. Надо было найти способы использовать настроения гвардии.

Генералы

Однако дело было не только в гвардии. Общая атмосфера в столице — атмосфера неопределенности, неустойчивости, недовольства и страха, то есть кризиса верхов, — складывалась из нескольких компонентов. Первый — растерянность и страх великих князей. Константин не только ни за что не желает потратить неделю на дорогу в Петербург, но и отказывается прислать манифест об отречении. Николай, законный наследник, человек вовсе не робкий, не находит в себе силы противостоять угрозам генерал-губернатора. Тот же Рафаил Зотов, который записал разговор Милорадовича с Шаховским о присяге Константину, сохранил и другой вариант этого разговора, еще более ясно характеризующий поведение наследника престола и генерала.

«Я сидел у Шаховского... — рассказывает Зотов. — Вдруг в комнату вошел граф Милорадович. Он был во всех орденах и приехал прямо из дворца. Рассказ его о случившемся там был вполне исторический.

Рассказав о привезенном известии о кончине Александра I, он — как главнокомандующий столицею и начальник всего гвардейского корпуса — обратился к великим князьям Николаю и Михаилу (ошибка Зотова: Михаил был в Варшаве. — Я. Г.), чтоб тотчас же присягнуть императору Константину. Николай Павлович несколько поколебался и сказал, что, по словам его матери, императрицы Марии

Федоровны, в Государственном совете, в Сенате и в московском Успенском соборе есть запечатанные пакеты, которые, в случае смерти Александра, поведено было распечатать, прочесть и исполнить прежде всякого другого распоряжения.

— Все это прекрасно, — сказал я (так говорил граф Милорадович), — но прежде всего приглашаю ваше императорское высочество исполнить свой долг верноподданного. По государственному закону преемником престола император Константин, и мы сперва исполним свой долг, присягнем ему в верности, а потом будем читать, что благоугодно было повелеть нам императору Александру. Сказав это, я взял великого князя под руку, и мы произнесли присягу, какой от нас требовал закон...

Князь Шаховский несколько задумался и сказал Милорадовичу:

—Послушайте, однако, граф! Что, если Константин настаит на своем отречении, — тогда присяга ваша будет как бы вынужденной. Вы очень смело поступили...

Милорадович отвечал:

—Имея шестьдесят тысяч штыков в кармане, можно говорить смело, — при этом он ударил себя по карману».

Достоверность этой замечательной сцены, когда великого князя ведут под руку присягать тому, кто от престола отрекся, — и все это знают! — подтверждается, как мы помним, и другими свидетельствами.

В Петербурге престолом империи распорядился по своему усмотрению генерал-губернатор, а в Варшаве пытались распорядиться несколько генералов. Законность и желания самих великих князей никого не интересовали.

Милорадович, лихой кавалерист, герой наполеоновских войн, прожигатель жизни, на губернаторском столе которого лежало скульптурное изображение ножки танцовщицы Зубовой, шеф петербургской полиции и либерал, рыцарственно простивший в 1820 году Пушкина от имени царя, неплохой человек, но дурной политик, был уверен, что тысячи гвардейских штыков у него в кармане. Через две с половиной недели выяснилось, что карман этот совершенно пуст.

Но Милорадович вел себя вполне последовательно — он кого только мог запугивал настроением гвардии.

Принц Евгений Вюртембергский вспоминал, как 8 или 9 декабря встретил во дворце генерал-губернатора:

«Он шепнул мне таинственно:

—Боюсь за успех дела: гвардия очень привержена к Константину.

—О каком успехе говорите вы? — возразил я удивленно. — Я ожидаю естественного перехода престолонаследия к великому князю Николаю, коль скоро Константин будет настаивать на своем отречении. Гвардия тут ни при чем.

—Совершенно верно, — отвечал граф, — ей бы не следовало тут вмешиваться, но она испокон веку привыкла к тому и сроднилась с такими понятиями.

Эти достопримечательные слова произнес сам военный губернатор Петербурга, а потому они имели особое значение в моих глазах. Я упрасивал его сообщить, что им замечено, но он отвечал, что не имеет на то положительного приказа».

Милорадовичу в эти дни никто и не пытался приказывать. Просто не мог же он раскрыть свои карты лояльному к Николаю принцу Евгению.

Милорадович был знаком с Якубовичем и встречался с ним в дни междоусобия. Об их знакомстве рассказал тот же Зотов. Дело было на свадьбе актера

Воротникова, где Милорадович был посаженным отцом. «В числе гостей был офицер, приехавший с Кавказа, Якубович, о храбрости которого мне тогда говорили... Я впервые увидел его на этом празднике и, познакомься тут, хотел рассказать ему об этнологии и жизни Кавказа.

К сожалению моему, Милорадович подзвал его к себе и почти весь вечер проговорил с ним: до того рассказы Якубовича были занимательны и красноречивы. Меня посадили играть в карты, и я уже больше не видел Якубовича. Мог ли я вообразить себе, что через несколько недель это будет один из главных корифеев 14 декабря? Сам граф, конечно, тоже мало предчувствовал, что разговаривает с одним из шайки будущих его убийц. Уже после того горестного события вспоминал я многие фразы, вырвавшиеся у Якубовича; и тогда уже они были понятны, а тут никто и не думал придавать им какой-либо смысл, видеть в них что-нибудь, кроме молодечества полудикого жителя гор, привыкшего к резким фразам».

Если встреча эта происходила во время междуцарствия, то можно с достаточной уверенностью сказать, что непонятные Зотову резкие фразы Якубовича были вполне понятны графу Милорадовичу, для которого Якубович стал своим человеком и которому он, генерал-губернатор, пожимая руку, дал понять, что они союзники в борьбе против великого князя Николая.

Император Николай после 14 декабря явно кое-что узнал о дружбе заговорщика с генерал-губернатором. В своих записках он сказал с раздражением: «Изверг во всем смысле слова, Якубовский (!), в то же время умел хитростью своею и некоторою наружностью смельчака втереться в дом графа Милорадовича и, уловив доброе сердце графа, снискать даже некоторую его к себе доверенность».

Парадоксальность ситуации была такова, что позиции Милорадовича и Якубовича, соратника Рыльева, друга Александра Бестужева, оказались ближе, чем позиции Милорадовича и Бенкендорфа, друга Николая.

Эта близость позиций привела в решающие дни к удивительным результатам...

Если Якубович внезапно и неожиданно сблизился с Милорадовичем, то



*К. И. Бистром.
Гравюра с оригинала Д.
Дов.*

командующего гвардейской пехотой генерала Бистрома и одного из директоров Северного тайного общества поручика князя Евгения Оболенского связывала длительная приязнь.

Отношения их были известны, и Николай впоследствии даже писал о влиянии Оболенского на своего генерала.

И в самом деле, могло кого угодно навести на размышления то обстоятельство, что оба адъютанта генерала, жившие с ним вместе на квартире, — Оболенский и Ростовцев — были членами тайного общества.

Карл Иванович Бистром, знаменитый боевой генерал, был, по выражению декабриста Розена, «идол гвардейских солдат». Розен пишет в воспоминаниях, как, сидя в Петропавловской крепости, слушал рассказы своего сторожа, бывшего гвардейского егеря, о Бистроме: «Он с такою непритворною любовью отзывался о бывшем полковом командире своем, К. И. Бистроме, или Быстрове, как называли его солдаты, что растрогал меня совершенно, когда уверял, что каждый день, поминая родителей своих в молитве, он также молится за Бистрома. Зато и генерал этот, герой, любил своих солдат, как отец своих детей... Он всегда делил с солдатами и жизнь, и копейку».

Во время объявления приговора Розен «заметил тотчас Бистрома в слезах: за несколько минут до того он видел осужденного любимого адъютанта своего Е. П. Оболенского...».

Бистром, второе по реальному значению лицо в гвардейской иерархии, сказал, как мы помним, Оболенскому, когда пошли слухи о переприсяге, что он никому, кроме Константина, не присягнет.

Независимое от решений императорской фамилии поведение генералитета было вторым чрезвычайно важным компонентом атмосферы, в которой готовилось восстание. Вожди тайного общества знали о настроенных генералитета. И это их ободряло.

Но они знали далеко не все. Генеральская оппозиция была достаточно широка, и, к сожалению, истинные ее размеры нам неизвестны, но о ее существовании и активности свидетельствует не только поведение Милорадовича, Воинова и Бистрома.

8 декабря, когда Милорадович угрожал августейшему семейству вмешательством гвардии, а вожди тайного общества энергично собирали силы, дежурный генерал Главного штаба его величества Потапов писал известному генералу Куруте: «Почтеннейший благодетель Дмитрий Дмитриевич. Неужели государь оставит нас? Он, верно, не изволит знать, что Россия боготворит его и ожидает, как ангела-хранителя своего! Почтеннейший Дмитрий Дмитриевич, доложите государю, молитесь за всех нас! Спасите Россию! Он — отец России, он не может отказаться от нее, и если мы, осиротевшие, будем несчастны, он Богу отвечать будет».

Смысл этого трогательного послания, собственно, один — спасите Россию от Николая. Ибо само по себе отречение Константина не было катастрофой — трон не оставался пуст. Но Потапову страсть как не хотелось

Николая, а с Константином их связывали давние отношения. Боевой генерал, обладатель золотого оружия за храбрость, Алексей Николаевич Потапов был в 1809 году, еще подполковником, назначен адъютантом к цесаревичу. С тех пор они много лет служили рядом. Потапов состоял при Константине и в 1812 году. А в 1813 году,

произведенный в генерал-майоры за отличие в битве при Кульме, Потапов стал дежурным генералом при великом князе Константине Павловиче. Их связывало боевое прошлое, что было чрезвычайно важно тогда. Для боевых генералов Николай был мальчишкой, не нюхавшим пороху, а Константин — при всей дикости его характера — свой брат «старый солдат».

Отсюда и настойчивость Потапова, переходящая границы дозволенного.

Курута ответил Потапову под диктовку Константина: «Его императорское высочество цесаревич приказал вам отвечать, что он ваше письмо ко мне от 8-го сего декабря читал и приказал вам сказать: что русский должен повиноваться непрекословно, — тех, кто свою присягу покойному государю забыли, он их не знает и знать не будет, пока ее в полной силе не исполнят. Великий князь цесаревич ее никогда не забывал и остался непоколебим к ней. Воля покойного государя есть и будет священна. Россия будет спасена тогда только, ежели своевольства в ней не будет и всякий будет исполнять долг своей присяги законной; от всех прочих действий великий князь цесаревич чужд и знать их не хочет».

Это письмо касалось, конечно, отнюдь не только притязаний Потапова. Речь в нем шла о явлении, которое привело Константина в ужас, — престолом стали распоряжаться помимо августейшей воли. «Воля покойного государя есть и будет священна» — прямой ответ на фразу, прозвучавшую 27 ноября на заседании Государственного совета: «Покойные государи не имеют воли». Константину могли приватно об этом донести.

Письмо цесаревича — истерическая реакция на своевольство, которое в критический момент полезло изо всех щелей правительственного здания. Принять точку зрения, что Николай не годится для трона и потому надо его заменить вопреки завещанию Александра, Константин никак не мог. Она не умиляла и не льстила ему. Она его пугала своей принципиальной сутью.

Но чем вероятнее становилось воцарение Николая, тем настойчивее действовали те, чьим рупором был Потапов.

10 декабря, когда первое письмо еще не покрыло и полпути до Варшавы, Потапов отправил вслед второе — самому цесаревичу:

«Государь! я был свидетелем, с каким усердием все сословия — воины и граждане — исполнили свой священный долг. Ручаюсь жизнью, сколь ни болезненна потеря покойного императора, но нет ни единого из ваших подданных, который бы по внутреннему своему убеждению не радовался искренне, что провидение вверило судьбу России вашему величеству... Когда возвратившиеся сюда курьеры, коих донесения сохраняются в тайне, не оправдали нашего ожидания, то недоумения о причинах, по коим изволите медлить приездом вашим в здешнюю столицу, стали поселять во всех невольное опасение, которое с каждым днем возрастает и производит во всех классах народа различные суждения. Каждый делает предположения по своему понятию, и горестное жестокое чувство неизвестности о собственной судьбе переходит от одного к другому. Таковое смущение умов в столице, без сомнения, скоро перельется и в другие места империи, токи увеличатся, и отчаяние может даже возродить неблагонамеренных, более или менее для общей тишины опасных. Словом, дальнейшее медление ваше, государь, приездом сюда обнимет ужасом всех, питающих чистое усердие к вам и России.

При таком положении вещей должны ли молчать перед вашим величеством те, которым ближе других известны свойства ваши, государь!.. Все преданные вашему величеству, видя непреложные знаки общей к вам любви, решились вместе со мною довести до сведения вашего все, изложенное здесь, и избрали меня истолкователем пред вами единодушного нашего чувствования ».

Письмо это насыщено явным и скрытым смыслом. Во-первых, это обращение целой группы генералов и сановников, «которым ближе других известны свойства» Константина. Это — его друзья, его сторонники. Они избрали генерала Потапова своим рупором. Как важно было бы узнать имена этих «преданных»! Но по генеральской оппозиции расследования не велось. Она не документирована. Потому письмо Потапова — драгоценно.

Потапов делает вид, что ничего не знает об отречении цесаревича, о правах Николая. Он пишет так, как будто Константин и вправду по неизвестным причинам бросает Россию на произвол судьбы. Вариант с Николаем даже не рассматривается — он приравнен к катастрофе.

Но есть в этом письме и совсем неожиданная вещь — угроза возможным мятежом. Почему, собственно, от промедления Константина должны «возродиться неблагонамеренные»? Потапов намекает, что ему известны некие тревожные сведения. А быть может, ему и в самом деле что-то было известно? От Милорадовича, скажем, часто встречавшегося в эти дни с Якубовичем и получавшего донесения от своих агентов?

Милорадович пугал Николая. Потапов пугает Константина. Цель у них одна — во что бы то ни стало посадить на трон Константина. Письмо Потапова — продуманная и весьма дерзкая акция.

Константин в своем ответе дал Потапову понять, что смысл письма ему ясен: «...одно мне остается сделать из уважения к вам, то есть напомнить долг вашей присяги покойному государю и возратить письмо ваше, разорванное для уничтожения, дабы тем очистить совесть вашу, ибо писано в духе заблуждения и под личиною усердия оказующего дух неповиновения и отступления от долга обязанностей ваших».

«Под личиною усердия... дух неповиновения»! Цесаревич показал, что ему все понятно, но давлению он не поддастся.

Группа генералов, осуществлявших в этот момент реальную власть в столице, фактически вышла из-под контроля и попыталась взять в свои руки судьбу престола. А потому есть основания говорить о генеральской группировке, первой акцией которой было отстранение от престола Николая 27 ноября, а дальнейшие усилия сосредоточились на том, чтобы сломить сопротивление Константина.

Разумеется, это облегчало задачу тайного общества. Более того, до определенного момента интересы взбунтовавшегося генералитета и членов тайного общества совпадали.

Вопрос заключался в том, кто кого сможет использовать в своих целях.

Тайное общество. Мобилизация сил

1 жодпоручик Измайловского полка Нил Кожевников принят был в тайное общество капитаном Назимовым еще до междуцарствия. Потом Назимов уехал в отпуск, и Кожевников остался в стороне от деятельности общества. В ноябре имел он разговор о целях общества со своим знакомым, поручиком Яковом Ростовцевым, — речь шла о введении конституционного правления в неблизком будущем. Но вскоре после присяги Константину Кожевников был привлечен к агитации среди офицеров и солдат. Его сослуживец и товарищ, тоже член тайного общества, стоявший со своим батальоном в Петергофе, подпоручик Лаппа показал на следствии:

«Будучи в Петербурге по своей надобности за две недели до происшествия, я был у Кожевникова и у Искрицкого (подпоручика Гвардейского штаба). Они не были знакомы между собою, однако согласно говорили, что его высочество Константин Павлович не отказывается от престола, но что ее императорское величество Мария Федоровна желает, чтоб он не привозил супругу свою, и что хотят заставить нас присягнуть его высочеству Николаю Павловичу, ежели его высочество Константин Павлович не согласится на предложение ее императорского величества. Они уверяли меня, что никто в городе не желает отступать от данной ими присяги его высочеству Константину Павловичу».

Допрос происходил более чем через два месяца после событий, и Лаппа несколько сдвинул время. За две недели до 14 декабря вопрос о том, что цесаревич «не отказывается от престола», еще не стоял. Лаппа, конечно же, приезжал не ранее 6 декабря. (В следственном деле Кожевникова названо 13 декабря, что тоже неверно, ибо в этот день уже известно было о завтрашней присяге, а во время разговора с Лаппой Кожевников о ней не знал.) Но из разговора этого ясна крайне важная вещь, которую декабристы на следствии старались скрыть, — согласованность агитации. Кожевников и Искрицкий не только не были знакомы, но и принадлежали к совершенно разным группам вокруг и внутри тайного общества.

Главным координатором действий среди офицерства был князь Оболенский. Очень часто лидеры общества на вопросы следствия, касающиеся связей с офицерами гвардейских полков, отсылали следователей к Оболенскому, говоря, что связи эти были в руках у него.

С расстояния в полтора с лишним столетия фигура князя Евгения Оболенского не столь заметна в бешеном круговороте кануна восстания, как, скажем, фигура Рыльева, но именно Оболенский упорно и неутомимо делал дело, без которого тайное общество могло бы только строить планы, — он создавал боевой механизм.

Боровков очень точно сказал о нем: «Деловитый, основательный ум, твердый, решительный характер, неутомимая деятельность в достижении предположенной цели... Оболенский был самым усердным сподвижником предприятия и главным, после Рыльева, виновником мятежа в Петербурге».

Но Боровков оценивал князя Евгения Петровича как заговорщика. А он, кроме того, был еще и образованный, мягкий, благородный человек. Недаром боевой генерал Бистром плакал, глядя, как с Оболенского срывают мундир и ломают над головой шпагу. Бистром оплакивал не только дельного, исполнительного адъютанта. Он оплакивал близкого человека, которого любил...

Князь Оболенский, один из ветеранов движения, восемь лет неустанно и последовательно работавший для целей тайного общества, принявший за последние годы больше новых людей, чем кто бы то ни было, остался и в критические дни кануна верен себе.

9 декабря Нил Кожевников пришел к Ростовцеву. И Ростовцев, и Оболенский, адъютанты Бистрома, жили, как тогда принято было, на квартире своего генерала, чтоб всегда быть у него под рукой. Кожевников на следствии не объяснил причину своего визита, но, разумеется, пришел он не случайно. У Ростовцева он встретился с Оболенским, который увел его в свою комнату и сообщил ему определенно о плане общества не допустить новой присяги и вывести полки к Сенату.

Измайловский офицер Андреев показал: «За несколько дней до 14 декабря сообщил мне товарищ мой Кожевников о тайном обществе, которого цель, говорил он, стремиться к пользе отечества. Но так как в таком предприятии главнейшая сила есть войско, то мы — части оною и как верные сыны отечества должны помогать сему обществу, тем более что оно подкрепляется членами Государственного совета, Сената и многими военными генералами».

Оболенский 9 декабря назвал Кожевникову имена членов тайного общества в Измайловском полку, а Кожевников своей деятельностью еще расширил этот круг. К 14 декабря среди измайловцев было четыре члена общества и несколько сочувствующих офицеров, обещавших содействие.

Из показаний Рылсева следователи сделали ясный вывод: «В последние дни Оболенский соединял у себя на квартире всех военных людей».

Оболенский поддерживал связь с артиллеристами, с финляндцами, с кавалергардами. С 6 по 10 декабря ему удалось создать подобие боевой организации в нескольких полках и наладить четкую связь с этими ячейками.

О том, что Оболенский стоит в центре механизма, знали во всех полках, где были ячейки общества. 12 декабря офицеры Кавалергардского полка Горожанский, Александр Муравьев, Арцыбашев и Анненков ездили к нему и получили инструкции. Это было сразу после того, как у Оболенского закончилось собрание представителей полков.



*Е. П. Оболенский.
Портрет работы
неизвестного
художника. 1820-е гг.*

На квартире Рылеева Оболенский встречался с теми членами общества, которые держали в руках другие важные нити. На первом месте здесь стоит, бесспорно, Каховский. Несмотря на те особенности натуры, о которых я уже говорил, Каховский, быть может благодаря своему страстному ощущению избранности, — ибо та лавина неудач, которая обрушилась на Каховского, могла либо сломать человека, либо породить богоборческий «комплекс Иова», — оказался незаурядным агитатором.

Поручик лейб-гвардии Гренадерского полка Александр Сутгоф показал: «В 1825 году, с февраля месяца, г. Каховский ежедневно посещал меня во время моей болезни, стараясь передавать мне свои мысли и приглашая вступить в тайное общество, о существовании коего он объявил мне в марте месяце».

Сам Каховский познакомился с Рылеевым не ранее декабря 1824 года, в тайное общество был принят не ранее января 1825 года. А в феврале он уже занимался политическим воспитанием Сутгофа, который, судя по всему, ранее не имел прикосновения к подобным предметам и идеям. Любопытно, что при этом он буквально повторял пропагандистские приемы Рылеева. Рылеев начал с того, что давал Каховскому читать «мнения Мордвинова» — то есть предложения адмирала в Государственном совете и проекты преобразований. Таким же образом воздействует Каховский на Сутгофа: «Каховский мне давал читать некоторые из мнений г. Мордвинова».

Каховский предложил Сутгофу вступить в общество в марте, а согласие получил только в сентябре. Работа, таким образом, была долгая и упорная.



Н. А. Анненков. Литография с оригинала О. Кипренского. 1823 г.

В начале ноября Каховский и Сутгоф приняли в общество подпоручика лейб-гвардии Гренадерского полка Андрея Кожевникова. Ситуация приема Кожевникова очень характерна для этих последних недель перед 14 декабря,

когда никто еще не подозревал, сколь близок рубеж. «...Был однажды вместе с поручиком Сутговым и отставным поручиком Каховским, долго рассуждали о нашем правительстве; и сей последний, исполненный красноречия, убедительно доказывал, сколь велико благо народа вольного; *сколь* приятно быть виновником общего счастья и сколь унижительно не стремиться к пользе Отечества». Через несколько дней Кожевников стал членом тайного общества.

А в середине ноября — за месяц до восстания и еще до начала междуцарствия — Каховский принял в члены общества сослуживца Сутгофа, поручика лейбтренадерского полка Николая Панова.

Когда Сутгофа на следствии спросили, какие причины побудили его вступить в общество, он ответил: «Цель общества есть благо общее. Веря словам г. Каховского, я тоже желал содействовать к благу общему».

Панов на такой же вопрос о причинах вступления в общество отвечал: «Не что иное, как желание принадлежать к оному». И далее следует та же формулировка «блага общего».

Оба поручика были людьми идеально порядочными, спокойными и последовательными. Но ни Каховский, ни Рылеев не предполагали до времени, каким ценнейшим приобретением для общества были эти молодые офицеры, которые, решив вступить в общество, удовлетволялись тезисом о «блага общем» и не требовали до самого конца, до картечи, никаких иных гарантий и объяснений...

Все, что он делал для тайного общества, Каховский переживал с необычайной интенсивностью. К людям, которых он принимал, относился с чувством отцовской ответственности. После разгрома и арестов он писал из крепости генералу Левашеву, члену Следственной комиссии: «Ваше превосходительство! я прибегаю к вам с моей просьбою, сделайте милость, доложите его величеству: я с радостью отказываюсь от всех льгот, отказываюсь писать к родным моим и прошу одной милости, чтоб облегчили судьбу Сутгофа, Панова, Кожевникова и Глебова. У них у всех многочисленные семейства, которых я убийца. Панов имеет невесту, он помолвлен, посудите о его положении!» Это написано было 21 декабря, в самом начале следствия. А 11 мая 1826 года, когда следствие заканчивалось, он снова умолял Левашева: «Истинно говорю, я причина восстания лейбтренадерского полка... Все они имеют семейства, и я их убийца! И все они таких чистых правил, как нельзя более. Возьмите поступок Панова, чем он не пожертвовал! Ваше превосходительство, с детства твердят нам историю греков и римлян, возбуждают героями древности, но, конечно, друзья мои по заблуждению виновны; причиною я всему. Сделайте милость, ваше превосходительство, сколько можете облегчите судьбу их».

28 ноября в лейбтренадерских казармах, на квартире поручика Сутгофа, Рылеев встретился с подпоручиком Андреем Кожевниковым, поручиком Пановым и прапоригиком Жеребцовым. Как показывал Кожевников, «он убеждал нас на ревностное содействие столь благого предприятия и объявил, что обстоятельства совсем переменились и все отложено на 5 лет, если, впрочем, не откроется новый благоприятный случай».

В начале декабря Каховский привел Сутгофа к Рылееву. С этого времени Сутгоф был представителем лейбтренадер на совещаниях общества.

В это же время Николай Бестужев привел к Рылееву лейтенанта Гвардейского экипажа Антона Арбузова, которого он принял в тайное общество.

Гвардейский морской экипаж занимал издавна в планах вождей тайного общества одно из ключевых мест. Рылеев знал, что среди офицеров-моряков многие восприимчивы к самым радикальным идеям. Знал он это от лейтенанта Дмитрия Завалишина, с которым познакомился у адмирала Мордвинова в январе 1825 года. Завалишин, человек умный, очень образованный, необычайно честолюбивый и самоуверенный, представлял собою странную смесь мистификатора-авантюриста с искренним деятелем-радикалом. Он, бесспорно, хотел реформ, а в случае сопротивления правительства — и переворота, но средства готов был использовать любые. Он придумал всемирное тайное общество, в реальности которого сумел убедить молодых моряков, ибо отличался уверенным красноречием.

Мичман Александр Беляев показал на следствии: «Общество, о котором говорил мне Завалишин, кажется, имело начало не здесь, а за границей, сколько мог догадываться из его слов... Носило оно название „Орден восстановления“».

Блестящий, загадочный Завалишин сильно действовал на воображение мичманов Гвардейского экипажа — братьев Беляевых, Дивова. Они и Арбузов были в течение 1825 года постоянными собеседниками Завалишина. Причем политическая температура этих бесед все повышалась. «Первоначально наши разговоры с Арбузовым и Завалишиным никакой цели не имели, — показывал Александр Беляев, — в которых просто рассуждали



*Д. И. Завалишин.
Акварель М.
Теребенева. Около 1820*

о правительствах и о возможности сделать переворот в России, считая в своем заблуждении сие благом для целого света».

Младший брат Александра Беляева Петр, тоже мичман Гвардейского экипажа, отвечавший на вопросы следователей с полной откровенностью, рассказывал об этих «просто либеральных» беседах в течение 1825 года: «Правда, что я имел свободный образ мыслей, но ни с кем, однако, не разделял, кроме как из коротко знакомых своих офицеров, а именно: Арбузова, Дивова, моего брата и Бодиско 2-го... в рассуждении же тайного общества я повторяю то же, что ни я, ни брат мой к оному не принадлежали;

но когда же мы познакомились с Завалиши-ным, то из его слов могли догадываться об оном... когда случалось с ним видеться, то он всегда старался говорить о выгодах конституционного представительного правления, приводя в пример Англию и Северные Американские Штаты, всем, и признаюсь, что я был согласен, находя оное по своему образу мыслей правлением, в коем менее может быть злоупотреблений, но когда же он говорил: „Что если бы в России такое же было“, — то я всегда против этого говорил, что это было бы хорошо, но что Россия еще мало образованна, но он возражал: „Поверьте, что образование тут не нужно, но нужны лишь люди, которые бы решились пожертвовать собою для блага отечества! И они есть“, — вот слова, которыми у нас всегда заканчивался разговор, и я должен сказать, что, любя мое отечество, я желал этого».

Беляевы и Дивов познакомились с Завалишиным в марте 1825 года и познакомили с ним Арбузова. Однако они оказались только ядром, вокруг которого образовался офицерский кружок радикалов. Атмосфера в Гвардейском экипаже к осени 1825 года была раскаленная. Разговоры становились все конкретнее и резче.

Мичман Дивов рассказывал: «Когда лейтенант Завалишин говорил нам, что если будет переворот, то начинать с головы, то один раз прибавил к сему: „Прекрасно выдумал мой знакомый г. Оржинский: сделать виселицу, первым повесить государя, а там к ногам его и братьев“».



*А. П. Арбузов. Акварель
Н. Бестужева. 1830-е
22.*

Александр Беляев рассказывал своим товарищам «об умершем молодом человеке Пальмане, имевшем свободный образ мыслей... Пальман говаривал, что стоит только подвести к дворцу несколько пушек и сделать залп ядрами, то вот и конец всем несчастьям».

Когда Дивов сидел на дворцовой гауптвахте, то навестивший его Беляев сказал: «Завалишина мнение на опыте оказалось справедливым, что для успеху в перевороте должно начинать отсюда».

Завалишин сыграл большую роль в революционном сознании офицеров Гвардейского экипажа. Но — в значительной степени — его речи были отражением того, что слышал он у Рылеева. И когда они «в мечтаниях... о перевороте считали поселенные войска лучшею народною гвардиєю и удобным там учредить временное правление, ибо думали, что те войска должны быть недовольны», то это было прямым следствием тактических идей, обсуждавшихся у Рылеева. И когда Завалишин сообщил им, что есть предположение «сделать переворот в Петергофский праздник», то это было отзвуком заявлений Якубовича о его намерении убить царя на Петергофском празднике.

Офицеры Гвардейского экипажа прекрасно знали рылеевские стихи — Петр Бестужев приносил их в экипаж. Они воспринимали эти стихи как политическую программу.

Мичман Дивов рассказывал: «Вскоре после смерти государя приходит ко мне лейтенант Акулов и между разговорами сказал мне: „Вот наши сочинители свободных стихов твердят: „Я ль буду в роковое время позорить гражданина сан“, — а как пришло роковое время, то они и замолкли...“ После ухода Акулова я сделал подобный же вопрос и мичману Беляеву 1-му, и он мне отвечал: „Подождите, еще, может быть, и не ушло время“».

Они были готовы к действию и ждали его. Они жили в этой наэлектризованной атмосфере постоянного ожидания событий. Они были окружены менее активными, но сочувствующими товарищами. Тот же Дивов называет много имен молодых офицеров, которые охотно поддерживали «свободные разговоры» и сами их вели.

Они чувствовали наступление «рокового времени».

После отъезда Завалишина в отпуск — незадолго до смерти Александра — лидером в Гвардейском экипаже стал Арбузов, восхищавшийся Рылеевым и Якубовичем и близкий с Николаем Бестужевым.

(К своим младшим товарищам Арбузов испытывал те же чувства, что и Каховский — к лейбтренадерской молодежи. «Лейтенант Арбузов, заключая показание свое раскаянием и просьбою расстрелять его, убеждает о единой милости в уважение десятилетней верной службы его помиловать двух Беляевых и Дивова». Так сказано в материалах следствия.)

Гвардейский морской экипаж — 1100 штыков при четырех орудиях — был, несомненно, ударной силой будущего восстания.

С Московским полком дело обстояло туманнее: Михаил Бестужев недавно пришел в полк и принял роту, а, кроме себя, рассчитывать он мог еще только на одного ротного командира — князя Щепина-Ростовского.

О лейб-егерях поговорим позднее.

Из всего этого ясно: люди с таким пониманием несправедливости и неблагоприятия, люди с таким напряженным сознанием своей ответственности не могли адаптироваться к состоянию ложной стабильности. Они обречены были на действие. Ибо они аккумулировали в себе политическую энергию сочувствующей периферии. «Треть дворянства думала так же, как мы...»

Штейнгель писал после ареста Николаю из крепости: «Сколько бы ни оказалось членов тайного общества или ведавших про онос, сколько бы многих по сему преследованию ни лишили свободы, все еще остается гораздо множайшее число людей, разделявших те же идеи и чувствования... Чтобы истребить корень

свободомыслия нет другого средства, как истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в последнее царствование».

Дворянский авангард, четко определивший свою позицию, сузивший свой состав, превратившийся в босую организацию, шел к роковому моменту.

Стратеги

Оболенский, Каховский, Сутгоф, Арбузов, братья Бестужевы начиная с 6 декабря неустанно работали, собирая силы, привлекая офицеров, известных порядочностью и свободными взглядами, — выполняли задачу тактическую. Они готовили средства. Но ведь надо было еще и определить цель. Не ту, далекую и общую — введение конституции, отмену рабства. А более конкретную - ту, что лежала непосредственно за чертой военной победы в столице.

Первой мыслью членов тайного общества была мысль, традиционная для прошедшего века, — возвести на престол кого-либо из августейшего семейства. Лучше — слабую женщину. Батеньков, приехав к вечеру 27 ноября к Рылееву, услышал разговоры о кандидатурах Елизаветы Алексеевны вдовы Александра, и малолетнего Александра Николаевича.

Одним из первых и самых упорных защитников этой идеи был Штейнгель: «Убеждая Рылеева и доказывая ему... что Россия к быстрому перевороту не готова, что у нас и в самых городах нет настоящего гражданства, что внезапная свобода даст повод к безначалию, беспорядкам и неотвратимым бедствиям и для предупреждения всего того необходимо, чтобы конституция введена была законною властью, я просил его согласить общество возвести на престол императрицу Елизавету Алексеевну. Доводы мои при сем случае были следующие: 1-е) что в публике и в народе на государыню смотрели как на страдательное лицо из всей царской фамилии, всегда брали за ней особенное участие, и потому смело можно сказать, все сердца на ее стороне; 2-е) что простой народ о праве наследия судит часто по ектениям, а в тех она второе лицо по государю; 3-е) что пример Екатерины Великой, которая взошла на престол по супруге, при живом наследнике, тому благоприятствует; 4-е) что о царствовании Елизаветы I по преданию известно как о златом веке России, а о царствовании Екатерины Великой многие и теперь, со слезами вспоминая, детям и внукам повествуют; а потому не простыло еще доверие к женскому правлению».

Это безусловно правдивое свидетельство, помимо всего прочего, говорит о краткости исторической памяти. И в самом деле — о царствовании Екатерины, которое ознаменовалось гражданской войной — пугачевщиной, вспоминали через столетия после кровавой междоусобицы со слезами умиления. Но говорит это и о все ухудшающихся условиях жизни в стране и о возрастающем чувстве неуверенности у дворянства и мещанства.

Штейнгель, однако, был убежденный конституционалист и с этой точки зрения рассматривал вариант Елизаветы. «Наконец, 5-е) что у государыни нет никого ближайших родных, для кого бы ей дорожить неограниченным самодержавием, а потому она склоннее может быть всех к тому, чтобы даровать России конституцию; можно даже надеяться, что впоследствии, если бы то уже необходимо было нужно, она совсем откажется от правления и введет республиканское; особливо, если б ей

представлено было приличное содержание, воздвигнут монумент и поднесен титул Матери свободного отечества...»

Штейнгель, самый старший по возрасту из деятелей 14 декабря - ему было сорок три года, - сформировался в 90-е годы XVIII века. И таково было обаяние простых и ясных идей того века, что он, как это ни странно, остался верен этим идеям и в 1825 году. То, что он предлагал, было несколько



Императрица Елизавета Алексеевна. Гравюра с портрета работы К. Рейхеля. 1814 г.

модернизированным вариантом идеи верховников в 1730 году — приглашение государя на определенных условиях, не подкрепленных, однако, ничем, кроме бумажного договора.

Известно, чем кончилась попытка верховников довериться Анне Иоанновне. И Рылеев сразу понял эту опасность. «Рылеев, не опровергая доводов, говорил только, что, может быть, возникнет партия совсем с другими побуждениями и тогда еще хуже нельзя будет успеть ни в чем». Не исключено, что Рылеев вспомнил партию сторонников самодержавия, которая возникла сразу же по приезде Анны Иоанновны и пресекла возможности реформ.

Штейнгель упорно пытался убедить Рыльева принять его идею — до 11 декабря, когда понял, что кандидатура Елизаветы в данный момент не решает проблем захвата власти или сильного давления на Николая и его приближенных. Но Штейнгель, страшно опасавшийся безначалия и кровопролития, обдумывал и другие варианты «безмятежного» переворота.

Подполковник Батеньков был не только приятелем Штейнгеля, но и его единомышленником. Хотя идеи свои разрабатывал он более подробно и с большей политической основательностью. Как и Штейнгель, он был сторонником бескровного переворота. Не столько революции, сколько «силовой реформы», перемен, достигнутых давлением, но не уличными боями. 27 ноября он высказывался прежде всего в поддержку кандидатуры Елизаветы.

В Батенькове, как я уже говорил, уживались трезвый, целеустремленный политик и честолюбивый мечтатель.

Его тянуло к рылеевскому кругу, к людям, которые готовились к действию, к мятежу, к перевороту. Но, с другой стороны, его трезвый ум не допускал, что нечиновный литератор Рылеев и штабс-капитан Александр Бестужев могут представлять реальную опасность для самодержавия. Однако держались они очень уверенно. Присматриваясь к этим людям, Батеньков пришел к мысли, что за ними должен стоять кто-то более влиятельный.

Когда в октябре приехал Трубецкой и Рылеев их с Батеньковым познакомил, то подозрение Батенькова еще более подкрепилось: «В разговорах Трубецкого, кои во второе свидание были уже свободны, приметил я самонадеянность и как бы человека с способами что-нибудь сделать. Сообразив слухи, кои носились о неудовольствиях, я стал подозревать, что Трубецкой должен принадлежать к сильной партии недовольных в армии. При сей мысли о нем вовсе уже не думал о прочих, считая их вне самого дела». Любопытно, что у Рылеева и Александра Бестужева такого же рода предположения были относительно самого Батенькова. «...Рылеев подозревал, — говорил Бестужев, — не принадлежал ли он к какому высшему обществу; мы его на этот счет часто пробовали...» Все они понимали организационную ограниченность своих сил, и им хотелось иметь союзников среди либеральных сановников и генералов.

Простой логический расчет приводил математика Батенькова к мысли, что офицерство, в том числе и высшее, не может мириться с тупым движением к пропасти. Впрочем, в чем-то подобном уверен был и Александр I, написавший в 1824 году памятную записку о заговоре, охватившем армию, и перечисливший в ней популярных генералов — Раевского, Михаила Орлова, Ермолова, Киселева — как лидеров оппозиции...

После своего знакомства Трубецкой и Батеньков встречались регулярно и обсуждали проблемы острые, но общие. И Батеньков пытался вывести у князя Сергея Петровича, кого же он представляет в действительности, ибо Рылеев и Бестужев не казались ему фигурами политически крупными. «...Мне казалось совершенно невероятным, чтоб в Петербурге могло скрываться центральное место какого-либо важного союза с политической целью, и вовсе уж невозможным, чтоб сии люди могли быть из числа первых. Я все относил к армии и, чтоб удостовериться в том, старался показать в себе Трубецкому человека, исполненного желаний другого порядка; но сие ни к чему не служило. Он не объяснил мне ничего, кроме того, что на юге, особенно в Киеве и Бобруйске, много людей, желающих перемены. Мне казалось, что он от меня тщательно скрывает настоящее дело и желает только ложною откровенностью собрать разные сведения и мнения. Посему я, с своей стороны, ограничился только разговорами без связи и совершенно необдуманно, соображаясь только с его словами... Трубецкой также говорил, что должно желать республику, но я не верил сему, ибо он легко уступал всякому возражению».

Короче говоря, они играли в поддавки. Хотя и не совсем. Если Батеньков все же высказал много своих сокровенных идей, то Трубецкой, конспиратор с девятилетним стажем, старался понять, что за человек перед ним, и внешне соглашался с вещами, с которыми внутренне был вовсе не согласен. Так он вел себя перед междуцарствием, так он вел себя и в первые дни междуцарствия. Он соглашался с кандидатурой

Елизаветы и с кандидатурой Александра Николаевича. Он соглашался и с другим проектом Батенькова: если гвардия откажется присягнуть Николаю в случае отказа Константина, то можно будет договориться с ним, Николаем, и предложить ему купить трон, заплатив конституцией. А там убедить полки присягнуть ему как конституционному монарху. Трубецкой не возражал, хотя прекрасно понимал, что это невозможно тактически и пагубно стратегически.

Батеньков же, который столь недавно с восторгом слушал слова Александра Бестужева о двадцати отчаянных головах, которые увлекут солдат, и поощрял кровавые декламации Якубовича, теперь, когда надо было выбирать способ действий, настойчиво очерчивал «безмятежную» позицию.

Уже во время междуцарствия он говорил Штейнгелю: «Молодежь наша горячится, так ли они сильны, чтоб могли что-нибудь предпринять?» Его позиция складывалась из соображений принципиальных и неверия

в силу «молодежи».

Они с Трубецким продолжали встречаться с глазу на глаз и во время междуцарствия. Их тянуло друг к другу — они понимали значительность друг друга. Трубецкой отнюдь не забывал, что Батеньков очень близок к Сперанскому. Теперь это приобретало особое значение.

В смутный период между 27 ноября и 6 декабря Батеньков сказал Трубецкому, что надо «остановить все замыслы, по крайней мере, на 10 лет и обратить все внимание на то, чтобы составить собою аристократию и произвести перемену простым требованием, а не мятежом». Во-первых, в этом предложении так много от XVIII века, а далее — от идей Мордвинова и «Ордена русских рыцарей», вышедших из этого века. Во-вторых, отсюда идет линия к идеям Пушкина 30-х годов. Но мысль эта была мгновенна. Обстоятельства требовали новых идей. Они стремительно менялись, отречение Константина становилось реальностью, и нужно было к этим обстоятельствам применяться.

«Около 8 декабря», то есть 6-го или 7-го числа, Батеньков имел с Трубецким очень важную беседу. Он уже знал, что младшие соратники князя Сергея Петровича готовят войска для выступления, и думал сообразно с этим. Выпасть из действия он не хотел.

Батеньков уже обсуждал эти материи с Рылеевым, но он почитал Трубецкого, как мы знаем, не только главным, но и единственным политически значимым в группировке Рылеева, а потому хотел найти общую с ним позицию.

В эту встречу они договорились: в случае победы тайного общества -любым способом, мирным или немирным, — принудить Сенат создать временное правительство, «которое бы распорядило в губерниях избирательные камеры и собрало депутатов... от дворянства, купечества, духовенства и поселян». Речь шла, таким образом, о созыве подобия Земского собора. Собор этот, в свою очередь, должен был решить вопрос о будущем правлении. Батеньков предлагал создать двухпалатный парламент с наследственной верхней палатой, но при этом сохранить — в случае отказа Константина — императором Николая Павловича.

Трубецкой против наследственного принципа верхней палаты возражал, и Батеньков согласился на принцип пожизненного места. «Я уступил на время». И вообще союз их носил временный и вынужденный с обеих сторон характер. И если заинтересованность Батенькова в Трубецком понятна — он видел в гвардейском

полковнике силу, то о стремлении Трубецкого во что бы то ни стало иметь Батенькова хотя бы временным союзником мы еще будем говорить.

6-7 декабря, в момент, когда начались активные приготовления к восстанию, они приблизительно выработали общую стратегическую позицию.

Из проблем тактических обсуждались только две: Батеньков настаивал на том, чтобы части, отказавшиеся от присяги, выведены были за город, на Пулковскую гору, и оттуда вели переговоры с Николаем. А кроме того, Батеньков предложил свою кандидатуру для переговоров с Сенатом в решающий момент. Трубецкой не возражал.

(Позднее, на следствии, Трубецкой и Рылеев излагали умеренный план Батенькова как свой, хотя их план был иной.)

Параллельно оба стратега вели беседы с Рылеевым — каждый в отдельности. Батеньков обсуждал с Рылеевым вопрос о военных поселениях как о возможной базе революции в случае поражения в столице. Его идея отступления к Новгородским поселениям была принята обществом.

Диктатор

Трубецкой был избран диктатором 8-9 декабря. Понадобилось время, чтобы собрать голоса членов тайного общества. Сама мысль принадлежала, как мы помним, Рылееву и возникла еще 27 ноября. Но реализовалась она в тот момент, когда общество приступило к решительным и однонаправленным действиям и появилась насущная потребность в единой организующей воле.

Для Рылеева и Оболенского кандидатура Трубецкого была естественна: князь Сергей Петрович был не просто ветераном движения, но одним из его основателей и идеологов. Он не отходил от тайных обществ все девять лет их существования. В канун восстания немалую роль сыграло и то, что Трубецкой был боевым офицером, участником многих сражений, кавалером русских и иностранных орденов. Со времен Бородина и заграничных походов он пользовался репутацией человека хладнокровной и осмотрительной храбрости.

Этот очень высокий (около двух метров росту), горбоносый (мать — урожденная княжна Грузинская) полковник на всех, кто близко его знал, производил впечатление спокойной надежности.

Розен впоследствии писал о нем: «Я жил с ним вместе под одною крышею шесть лет в Читинском остроге и в Петровской тюрьме за Байкалом. Товарищи знали его давно и много лет до рокового дня; все согласятся, что он был всегда муж правдивый, честный, весьма образованный, способный, на которого можно было положиться».

Товарищ Трубецкого по Семеновскому полку декабрист Якушкин вспоминал: «Трубецкой отлично добрый, весьма кроткий и неглупый человек, не лишен также и личной храбрости, что он имел не раз случай доказать своим сослуживцам. Под Бородином он простоял 14 часов под ядрами и картечью с таким же спокойствием, с каким он сидит, играя в шахматы. Под Люценом, когда принц Евгений (Евгений Богарне, пасынок Наполеона. - Я. Г.), пришедший от Лейпцига, из 40 орудий громил гвардейские полки, Трубецкому пришла мысль подшутить над Боком, известным трусом в Семеновском полку: он подошел к нему сзади и бросил в него ком земли; Бок с испугу упал. Под Кульмом две роты третьего батальона Семеновского полка, не имевшие в сумках ни одного патрона, были посланы под начальством капитана Пущина (Павел Сергеевич, будущий член „Союза благоденствия“. — Я. Г.), но с одним холодным оружием и громким русским „ура“ прогнать французов, стрелявших из опушки леса. Трубецкой, находившийся при одной из рот, несмотря на свистящие неприятельские пули, шел спокойно впереди солдат, размахивая шпагой над своей головой».

Естественно, что когда понадобилось выбрать общего руководителя действий, то из всех присутствовавших в Петербурге членов общества Рылеев назвал Трубецкого.

Как мы помним, с самого начала междуцарствия князь Сергей Петрович был настроен решительно, но разумно. В случае воцарения Константина он считал немедленные действия бессмысленными и предлагал глубоко законспирировать деятельность общества. Однако, когда Александр Бестужев спросил его, как быть, ежели Константин отречется, Трубецкой твердо ему ответил, что «в таком случае мы не можем никакой отговорки принести обществу, избравшему нас, и что мы должны все способы употребить для достижения цели общества».

Эти слова — более мягкий вариант формулировки Пущина: «Если ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов».

Еще до формального избрания диктатором Трубецкой играл главную роль в подготовке возможного восстания. Оболенский говорил: «С самого начала избрали мы Трубецкого начальником и сами подчинились ему во всем». Он же свидетельствовал: «Со времени назначения князя Трубецкого начальником общества у нас совещания о делах общества прекращены были; и потому вообще во всех разговорах всегда останавливали даже мнения частные, излагаемые членами о плане и действиях общества, напоминая, что у нас есть начальник, нами избранный, который назначит всякому свое дело и которому, дабы не рождал споры и более приучить к подчинению избранному нами начальнику, старались сколько можно более сие соблюсти».

Рылеев, который отнюдь не преуменьшал на следствии свою собственную роль, тем не менее вполне подтверждает свидетельство Оболенского: «Видя, как обыкновенно бывает несогласие в мнениях, я предложил Оболенскому избрать начальника и, отобрав от Бестужевых и Каховского голоса в пользу Трубецкого, на другой день сказал о том Оболенскому, прибавив



*С. П. Трубецкой. Акварель Н. Бестужева.
1839 г.*

к тому и свой голос. Оболенский объявил, что и он со всею своей от-рослью на выбор Трубецкого согласен, потом он же сказал про то Трубецкому. С того дня Трубецкой был уже полновластный начальник наш; он или сам, или через меня, или через Оболенского делал распоряжения».

Штаб-квартира общества по-прежнему была у Рылеева, который после 10 декабря начал уже выходить из дому. Но назначались совещания — «настоящие совещания», по выражению Рылеева, — только Трубецким. «...Он каждый день по два и по три раза приезжал ко мне с разными известиями или советами, и когда я уведомлял его о каком-нибудь успехе по делам общества, он жал мне руку, хвалил ревность мою и говорил, что он только и надеется на мою отросль. Словом, он готовностью своею на переворот совершенно равнялся мне, но превосходил меня осторожностью, не во всем себя открывая».

Трубецкой это подтвердил.

В свидетельствах Оболенского и Рылеева есть некое противоречие с показаниями многих других членов общества о бурных спорах и обсуждении вариантов плана восстания на рылеевской квартире. Но это — кажущееся противоречие. Было два типа совещаний. Первый — те самые пламенные и хаотичные разговоры, в которых принимали участие все, кто приезжал к Рылееву в эти дни, — тут выдвигались разнообразные предложения, сообщались последние новости и слухи, высказывались сомнения. Все это и было подробно зафиксировано в протоколах следствия. Но был второй, решающий, тип совещаний — «настоящие совещания», назначавшиеся Трубецким и проходившие в совершенно иной обстановке — в обстановке профессиональной штабной работы. В этих совещаниях участвовали, как правило, Трубецкой, Оболенский, Рылеев. Трубецкой несколько раз подчеркивал это на следствии.

Трубецкой не имел до самых последних дней никаких контактов даже с такими активными, но не входящими в круг профессиональных конспираторов

фигурами, как Якубович и Каховский. С первым из них он познакомился только 12 декабря. «Я его тут видел в первый и, надеюсь, в последний раз в моей жизни», — раздраженно сказал он на следствии. Как мы увидим, ему было от чего прийти в раздражение. (Но князь Сергей Петрович ошибался - вскоре ему придется провести вместе с Якубовичем много месяцев в Благодатском руднике, жить «в душной клетке, где едва можно было повернуться, миллион клопов и разной гадины осыпали тебя с головы до ног», а затем — много лет в Читинском и Петровском острогах.) Иногда только состав участников несколько расширялся — но в строгих границах. Каховский рассказывал с обидой: «Я его (Трубецкого. - Я. Г.) даже никогда не слышал говорящим. Он, князь Оболенский, князь Одоевский, Николай Бестужев, Пущин всегда запирались с Рылеевым».

Оболенский точно рисует организацию этих совещаний: «На совещаниях находились обыкновенно Трубецкой, Рылеев, я, Бестужевых три брата, Одоевский, Каховский, Арбузов и Сутгоф. Но никогда не находились мы все в одной комнате или в одно время и никогда не было совещания общего, но большею частью, когда Трубецкой приезжал, то мы разговаривали втроем — он, Рылеев и я, прочие же члены находились в другой комнате и входили к нам по одному, по два».

Высказывать свои мнения могли все. Решения принимала узкая группа лидеров. И слова Оболенского о том, что были прекращены совещания о делах общества, относятся к последним трем-четырем дням, когда принимались решения.

О чем же говорили Рылеев и Трубецкой во время частых визитов князя Сергея Петровича в дом Российско-Американской компании? Каковы были конкретные планы задуманного восстания?

Вопрос о плане восстания — вопрос трудный.

Был целый ряд сюжетов, о которых декабристы на следствии, при всем многословии и откровенности их показаний, старались молчать или говорить по возможности неточно. Одним из таких сюжетов был военный план восстания. Когда Пущину был задан прямой вопрос о военном плане на 14 декабря, он на него попросту не ответил — пропустил этот пункт.

Мотивы тут понятны: основным элементом защиты многих северян было утверждение, что побудительной причиной их выступления явилась вторая присяга, казавшаяся им незаконной, и, стало быть, в основе их поступков лежало желание остаться верными императору Константину. Даже заведомо осведомленные об истинных целях восстания люди, как, например, Александр Бестужев, старались убедить следствие в своей симпатии к Константину. В этом случае признание продуманного и четкого плана военных действий против власти разрушало достоверность проконстантиновской позиции. Становилось ясно, что готовилась не защита воинской присяги, а политический переворот.

Кроме того, рядовые члены тайного общества и примкнувшие к ним в последние дни офицеры знали только отдельные элементы плана, связанные с их собственной ролью в восстании, и не больше.



Здание Сената. Литография П. Иванова. 1820-е гг.

А Трубецкой до последних недель следствия отрицал наличие радикального, четкого плана, понимая, как усугубит это его вину. Он признал наличие такого плана только в самом конце следствия — 6 мая 1826 года — на очной ставке с Рылеевым. Оба они были изнурены пятью месяцами постоянных допросов...

Решение стратегических проблем ясно было и Рылееву, и Трубецкому с самого начала, ибо проблемы эти были неоднократно обсуждены членами тайного общества в предшествующие годы. Тайное общество не собиралось навязывать стране свою власть. Главной целью переворота и было дать стране возможность выбирать свободно свой путь, свое государственное устройство. Северяне не сомневались, что страна выберет конституционную монархию, которая, по их мнению, была на первый период целесообразна, после чего должна была последовать отмена крепостного права.

Надо было решить, какими конкретными способами добиваться этой цели в ситуации декабря 1825 года. Этому были посвящены сепаратные беседы Трубецкого и Батенькова, Батенькова и Рылеева и — главное — Рылеева и Трубецкого. Оболенский в эти дни слишком занят был практической деятельностью по собиранию сил. Остальные члены общества, разумеется, тоже принимали участие в обсуждении этих проблем, но, скорее, на правах совещательных.

Рылеев писал 16 декабря 1825 года: «Когда достоверно узнали, что государь цесаревич отказался от престола, положено было не присягать вашему императорскому величеству, офицерам подать пример солдатам и, если они увлекутся, то каждому, кто сколько может, привести их на Сенатскую пло-

шадь, где князь Трубецкой должен был принять начальство и действовать смотря по обстоятельствам. Причем, однако ж, решено было стрельбы не начинать, а выждать выстрелов с противной стороны. Во всяком случае не предполагали, чтобы солдаты стали стрелять против солдат, и потому надеялись более, что дело кончится без кровопролития, что другие полки пристанут к нам и что мы в состоянии будем посредством Сената предложить вашему величеству или государю цесаревичу о собрании Великого Собора, на который должны были съехаться выборные из каждой губернии, с каждого сословия по два. Они должны были решить, кому царствовать и на каких условиях. Приговору Великого Собора положено было беспрекословно повиноваться, стараясь только, чтобы народным Уставом был введен представительный образ правления, свобода книгопечатания, открытое судопроизводство и личная безопасность. Проект конституции, составленный Муравьевым, должно было представить Народному Собору как проект».

Сенат и созданный им Великий Собор выступают вперед в эти дни. И сколько здесь знакомых по прошлым векам и началу века девятнадцатого идей и понятий: депутаты сословий, представительное правление, свобода книгопечатания и безопасность личности, конституционные ограничения самодержавия. Здесь в некотором роде — с существенными оговорками и коррективами — суммированы мечтания многих поколений русских конституционалистов.

Но в этом письме Николаю Рылеев писал отнюдь не всю правду.

Группа Рылеева — Трубецкого вовсе не собиралась оставлять у власти — на любых условиях — Николая или Константина. Николая-то уж во всяком случае. Недаром негласным элементом тактического плана, как мы увидим, было царубийство, физическое устранение Николая.

Ближайший к Трубецкому¹ в последние перед восстанием дни человек — Пущин — говорил: «Возможность сего предприятия основывал я на военной силе, которая в состоянии будет отстранить царствующий дом от престола...». Нет сомнения, что он излагает их общий с Трубецким взгляд.

А Рылеев в этот начальный период следствия старался заслонить радикальные намерения своей группировки умеренной программой Батенькова.

(В один из моментов следствия, находясь в состоянии сильного возбуждения и не желая ничего скрывать, а иногда и преувеличивая свою роль, Батеньков между прочим показал: «Относительно средств предприятие основано было тоже на моей мысли, а именно, чтоб, подняв войска именем государя цесаревича, идти от полка к полку, собрать более народа, не делать ни малейших беспорядков, — сие я считал тем более возможным, что солдаты должны надеяться в случае неуспеха — амнистии, а в случае превозможения с их стороны — награды от его высочества...»).

Именно это заявление Батенькова показаниями Трубецкого вполне подтверждается.)

Следствие, располагавшее мозаикой многих показаний, наступало, и Рылеев, как и Трубецкой, вынуждены были говорить все определеннее.

24 апреля 1826 года Рылеев показал: «При совещании о средствах к возмущению солдат я полагал полезным распустить слух, будто бы в Сенате хранится духовное завещание покойного государя, в коем срок службы нижним чинам уменьшен десятью годами. Мнение сие как Трубецким, так и всеми другими членами

единогласно принято было, и положено было поручить офицерам разных полков, принадлежащих к обществу, привести оное в исполнение».

Естественно, вставал вопрос о практических средствах для переворота. И Рылеев вынужден был показать: «Когда еще надеялись только на полки Гренадерский, Московский и Гвардейский экипаж, Трубецкой действительно однажды в разговоре со мною усумнился в успехе, ибо, говорил он, невероятно, чтобы все роты увлеклись примером нескольких. Я, напротив, думал, что в каждом полку достаточно одного решительного капитана для возмущения всех нижних чинов, по причине их негодования противу взыскательности начальства; и когда я спросил Трубецкого, какую силу полагает он достаточною для совершения наших намерений, он отвечал: „Довольно одного полка“. На это я сказал ему: „Так нечего и хлопотать; можно ручаться за три, а за два — наверное“. Впоследствии же... сверх означенных, стали надеяться и на полки Измайловский, Финляндский и Егерский...»

Это показание необычайно насыщено смыслом. За этими немногими фразами прочитывается очень многое. Здесь можно понять периодизацию составления плана восстания — на Измайловский и Финляндский полки появилась надежда не ранее 9 декабря. Стало быть, разговор вождей общества происходил между 6 и 9 декабря. И в этот период, если буквально понимать Рылеева, Трубецкой делает взаимоисключающие заявления: с одной стороны, ему мало трех полков, а с другой — достаточно одного. В чем же дело? А дело в том, что они с Рылеевым говорили о разных вариантах плана. Трубецкой считал, что если пытаться реализовать батеньковский вариант: переговоры с Николаем, подкрепленные мирной военной демонстрацией, спокойный отказ от присяги, вывод войск за город и «обмен» присяги на конституцию, — то нескольких рот Московского и Гренадерского полков вместе с батальоном экипажа мало. Они не смогут увлечь остальную гвардию. Но если реализовать боевой вариант — захват власти и реализацию программы в условиях победившего восстания, — то одного полка достаточно. Достаточно для быстрого и решительного удара. За спиной полковника Трубецкого стоял столетний опыт гвардии. Да, для того чтобы захватить дворец, арестовать императорскую фамилию и тем самым, поставив остальные полки перед свершившимся фактом, привлечь их на свою сторону немедленными реформами — одного полка было достаточно.

Этим ответом Трубецкой выдал свои подлинные намерения. Не забудем, что, если верить Рылееву, это было еще до избрания Трубецкого диктатором и он должен был учитывать мнение других группировок.

(Правда, опрошенный на этот счет следователями Трубецкой объяснил, что имел в виду одним полком увлечь все остальные. Но тогда не снимается противоречие и есть основания предположить, что это была попытка увести следствие с опасного для него, Трубецкого, пути.)

Кроме того, важно запомнить ясно намеченную здесь разницу в тактических взглядах Рылеева и Трубецкого, разницу, которая усугубится за три последних дня. Рылеев считает, что достаточно одного решительного капитана на полк, ибо солдаты, возмущенные притеснениями, готовы к бунту. Он верит в возможность революционной импровизации. Трубецкой же хочет действовать наверняка.

Однако к 12 декабря, когда силы общества были еще неясны, в основу предварительного плана положена была следующая система действий: первые отказавшиеся присягать подразделения или части идут определенным маршрутом от казармы к казарме и увлекают своим примером других. А затем следуют на Сенатскую площадь. Но план этот своей громоздкостью, медленностью и неопределенностью совершенно не устраивал Рылеева. Трубецкой же принял его за неимением лучшего, ибо пока непонятно было, сколько полков последует за обществом, невозможно было и составить реальный план. В письме Бенкендорфу от 5 мая 1826 года Трубецкой существенно проговаривается: «...не хотел я, чтоб члены заранее знали о моих предположениях... чтоб после не было прекословия или ослушания, если я переменю мысли согласно с обстоятельствами...» Он не хотел связывать себе руки и потому мирился с этим неопределенным вариантом. В этом же письме он категорически отрицает свой подлинный план, который ему пришлось признать на следующий день.

Вопреки существующему мнению, Трубецкой вовсе не был категорическим сторонником бескровного переворота. Он понимал, что ход событий может вынудить восставших к жестким действиям. Корнет Кавалергардского полка Свистунов, член петербургской ячейки Южного общества, показал: «Бывши у Трубецкого, который изъяснял мне свое намерение возмутить солдат, я ему отвечал, что пролитие крови неизбежно, на что он мне сказал: „Что ж делать!“ Тогда я его оставил и решился ехать из С.-Петербурга...»

Это было еще до 12 декабря.

А 12 декабря произошло нечто вроде смотра сил тайного общества.

К вечеру этого дня Трубецкой понял, что остается только одна возможность, и на совещании у Рылеева, совещании решающем во многих отношениях, отдал точные распоряжения.

ФИНЛЯНДСКИЙ ПОЛК. 9—12 декабря

За шесть дней до восстания - 8 декабря - из Москвы приехал Пущин. 9-го числа, придя к Рылееву, он застал у него Оболенского, Сутгофа, Каховского, Арбузова и Александра Бестужева. Слухи о переприсяге подтвердились, и решено было расширить деятельность в полках.

На следующий день Пущин отправился к своему старому знакомому, сослуживцу по гвардейской артиллерии, штабс-капитану Финляндского полка Репину.



*Н. П. Репин. Акварель Н. Бестужева.
1831 г.*

С приездом Пущина в сферу внимания тайного общества сразу же попал еще один полк.

9 и 10 декабря были переломными днями — интенсивность подготовки к восстанию стремительно возрастала.

Юто числа Трубецкой привез к Рылееву точные сведения об отречении Константина и скорой переприсяге. Немедленно решено было оповестить всех. Оболенский поехал к Каховскому, где застал и Сутгофа, затем был у Якубовича, а потом поехал в Финляндский полк, чтобы увидеть двух батальонных командиров — полковников Моллера и Тулубьева. Оба были членами тайного общества. Моллера не было дома, а у Тулубьева были гости, и поговорить с ним Оболенский не смог. Но само намерение это открывает новый сюжет. 10 декабря началась борьба за Финляндский полк, от исхода которой в высокой степени зависел исход восстания.

1-й и 2-й батальоны Финляндского полка — две тысячи штыков — стояли вместе на 19-й линии Васильевского острова, в десяти минутах беглого шага от Сената через наплавной Исаакиевский мост.

Штабс-капитан Николай Репин, боевой офицер, успевший принять участие в заграничном походе, узнал о существовании тайного общества в начале 1825 года от корнета Свистунова, члена ячейки Южного общества в Петербурге. Обстоятельства, при которых Свистунов сообщил ему эту тайну, заслуживают внимания. «Все мои отношения с корнетом Свистуновым заключаются в следующем, — показал Репин на следствии, — видевшись с ним однажды, по поводу бывшего между нами разговора о форме правления вообще, корнет Свистунов сказал мне, что в России существует общество, имеющее целью сделать перемену в правлении». Эти разговоры о перемене правления и тайном обществе - при первой встрече!- характе-

ризуют не столько молодого и малоопытного Свистунова, сколько атмосферу в Петербурге 1825 года.

Дальнейшего развития знакомство Репина со Свистуновым не получило. Но, очевидно, репутация у Репина была вполне определенная, если Пущин в этот критический момент решил обратиться именно к нему — старому сослуживцу, которого давно не видел.

Репин уже подал прошение об отставке, а рота его стояла за городом. Но в содействии он не отказал. Пущин привез его к Рылееву в середине дня 10 декабря. Там были Трубещкой и вернувшийся Оболенский. Репин договорился с Оболенским, что тот на следующий день приедет к нему, Репину, на квартиру, где встретится с офицерами, на которых можно рассчитывать.

Репину, который еще несколько часов назад и не подозревал о существовании заговора и готовился к спокойной жизни в отставке, сообщено было немного: «Цель общества, сколько мне известно, состояла в том, чтобы ввести в России правление ограниченное, по примеру Англии или Франции, и средством достигнуть оной было то, что ежели весь Гвардейский корпус или большая половина оного не согласится присягать, то, по словам Рылеева, нашлись бы значительные люди (которых имена, однако, он мне не сказывал), которые предложили бы правительству желаемые перемены как средство к примирению. Частных распоряжений он мне не сообщал, говоря, что они будут зависеть от обстоятельств».

И несмотря на эти весьма ограниченные сведения и отсутствие гарантий, Репин согласился содействовать тайному обществу. Конечно, большую роль здесь играла личность Пущина. Но ведь для того, чтобы довериться даже самому верному человеку в деле политического заговора, надо психологически быть к этому готовым. Штабс-капитан Репин, русский интеллигент александровской эпохи, получивший «свободный образ мыслей» единственно из чтения политической и политэкономической литературы в сочетании с трезвыми наблюдениями над окружающей жизнью, оказался готов рискнуть очень многим ради введения конституционного правления в России.

Вернувшись от Рылеева, Репин послал записку своему товарищу по полку, поручику Андрею Розену.

Розен, мемуарист правдивый и обладавший удивительной памятью на детали, вспоминал: «Ютого декабря, вечером, получил я записку от товарища, капитана Н. П. Репина, в которой он просил меня немедленно приехать к нему; это было в 8 часов. Я тотчас поехал, полагая, что он имел какую-нибудь неприятность или беду; я застал его одного в трезвом состоянии. В кратких и ясных словах изложил он мне дело важное, цель восстания, удобный случай действовать для отвращения гибельных между-усобий». Ситуация Розена еще поразительнее репинской. Он недавно счастливо женился. Он был прекрасным строевиком, за что к нему благоволил великий князь Николай. При императоре Николае Розен мог сделать быструю карьеру.

Он пожертвовал всем «для отвращения гибельных междуусобий». Речь тут, бесспорно, идет не о возможном вооруженном конфликте между претендентами на престол — это было нереально, а о тех «гибельных междуусобиях», о которых столь часто говорили и писали декабристы: речь идет о взрыве, который можно было предотвратить, только реформировав государство.

Розен, профессионально мыслящий офицер, подошел к проблеме просто. Необходимость действия, очевидно, не вызвала у него сомнений. Он думал о средствах: «Тут речи были бесполезны: надлежало иметь материальную силу, по крайней мере, несколько батальонов с орудиями». Розен изложил Репину все препятствия к выводу 1-го батальона финляндцев, в котором он командовал всего-навсего карабинерным взводом, но не усомнился в готовности к действию молодых офицеров полка. Хотя офицеры эти еще и предположить не могли, что их пригласят в заговор. И эта уверенность Розена тоже чрезвычайно симптоматична.

Процесс, начатый Пуциным 10 декабря, развивался. На другой день, 11 декабря, Репин собрал у себя одиннадцать офицеров-финляндцев. Оболенский изложил программу действий. Он сообщил им о близкой переприсяге и о средствах, которыми решено было воздействовать на солдат: «Определено было при новой присяге солдатам объявить, что их обманывают, и что бывший император Константин Павлович не отказывался от престола, и для сохранения верности в данной ему присяге собираются на Сенатскую площадь, дабы истребовать от Сената отзыва: почему от прежней присяги отказываются».

Но Оболенский решился открыть финляндцам и подлинные причины выступления тайного общества: «Наша цель была единственно от Сената, собранного в общем собрании, истребовать сведение о причине новой присяги и объявить (в случае, если б большая часть гвардии к нам пристала), что так как по документам, которые Сенат в виду имеет, действительно видно, что император Константин Павлович отказывается от престола, то мы полагаем себя не вправе присягать другому, доколе он жив, и посему требуем, дабы Сенат собрал представителей со всех губерний по примеру прежних всеобщих Соборов и представил оному назначение императора и формы правления. До Собора же представителей предлагаем Сенату назначить временное правление из двух или трех членов Совета, к коим присоединить одного из членов нашего общества, единственно для обеспечения нашего, соглашаясь назначить его единственно правителем дел временного правления». На следствии Оболенский показал, что объявил все это «в Финляндском полку офицерам, бывшим собранным у Репина».

Но при всем энтузиазме офицерской молодежи услышанное было слишком ошеломительно и неожиданно. Розен, из них наиболее зрело и четко мыслящий, сказал Оболенскому, что, «жертвуя всем для пользы отечества в столь важном случае, каков ныне предстоит, желают быть сколь возможно более уверенными в содействии» офицеров других полков. Это было совершенно резонно. И столь важен был для планов общества Финляндский полк, что Оболенский решился на весьма опасный шаг. «Что мы не одни в сем согласны, могу вам доказать завтра, — сказал он Розену, — приезжайте ко мне один или двое и убедитесь, увидя офицеров других полков».

На другой день Розен и прапорщик Богданов приехали к Оболенскому, где собралась уже Рылеев и по одному представителю от разных полков: от измайловцев — подпоручик Нил Кожевников (иногда исследователи считают, что на этом совещании был лейб-гренадер А. Кожевников. Это неверно. Сам Оболенский показал на следствии, что у него был именно измайло-вец Кожевников), от лейб-гренадер — Сутгоф, от московцев — князь Щепин-Ростовский, от гвардейских моряков — Арбузов, от конногвардейцев - князь Одоевский.

Совещание 12 декабря было не из самых бодрых. Кожевников не мог с уверенностью ручаться за свой полк, а финляндские офицеры — за свой. Но Рылеев, оратор дельный и убедительный, сказал несколько энергичных слов, сводившихся к тому, что присутствующие должны поклясться друг другу привести на площадь столько солдат, сколько смогут. И в любом случае явиться самим. На том и порешили.

Финляндцы убедились, что движение захватило, по крайней мере, еще пять полков. Но твердой надежды на Финляндский полк все же не было.

Зимний дворец. 12 декабря

Между Петербургом и Варшавой скакали курьеры. Великий князь Михаил изнывал от скуки и неопределенности на маленькой станции.

Поведение Константина можно понять. Его привело в ярость нелепое положение, в которое его поставил Николай поспешной присягой. Согласившись приехать в столицу в качестве императора, чтобы там отречься или хотя бы издать в этом качестве манифест об отречении, он радикально менял свою жизнь. «Отставному императору» неприлично было оставаться в Варшаве в прежней, столь любезной ему роли. Отказываться от нее он категорически не желал. Его позиция определялась формулой: «Сами заварили кашу, сами и расхлебывайте».

К 12 декабря Николай и Мария Федоровна располагали только письмами Константина, подтверждающими его прежнее отречение, но непригодными в новой ситуации, когда вся страна признала его императором. Николай и старшая императрица не считали возможным эти письма обнародовать как официальные документы — слишком странная история «семейной сделки» по поводу престола вырисовывалась в них.

Принц Евгений Вюртембергский, совершенно ошеломленный всеми дворцовыми хитросплетениями, оставил замечательное свидетельство:

«Немногие говорили со мною доверчиво, но под строгою тайной; им казалось, что они угадывают план императрицы-матери захватить управление государством. При одной этой мысли меня охватил сильнейший ужас, и я воскликнул:

— Это — невозможно!

— А если бы это случилось, — ответил на мои слова один из собеседников, — что бы вы стали делать?

- Идти против своей собственной благодетельницы, как этого требует долг! - был мой немедленный ответ. - По моему убеждению, было бы несчастьем, если бы теперь Константин стал у власти, но всякая интрига против того, кто имеет на то

неоспоримое право, есть и остается преступлением и никогда и ни в коем случае не может быть одобрена мною.

—Однако бывают обстоятельства, — продолжал он, — которые то, что кажется неправым, могут сделать правым и справедливым. Если бы великий князь Константин продолжал настаивать на своем отречении, а оба молодых князя отрелись бы временно в пользу матери, разве не было бы в порядке вещей ее вступление на престол? Русские любят правление женщин.

То, что мне сообщили как предположение и в порядке строгой тайны, при той настроенности, которую императрица проявляла в отношениях со мною, показалось мне правдоподобным. Вскоре мой дядя, герцог Александр Вюртембергский, передал мне это как вполне достоверную, по его мнению, вещь».

Впоследствии, незадолго до смерти, принц Евгений расшифровал имя своего первого собеседника. Это был влиятельный министр финансов Канкрин. Главноуправляющий путей сообщения герцог Александр и министр финансов, «деловые люди», образовали группировку, — они наверняка не были одиноки, — интриговавшую в пользу императрицы-матери. Они не без оснований предполагали, что в случае ее восшествия на престол реальная власть окажется в их руках.

Содействие знаменитого боевого генерала — принца Евгения — было для них весьма желательно. Можно с уверенностью предположить, что они обращались с подобными разговорами не только к нему, а равно предположить можно, что не все отнеслись к этой идее столь отрицательно. Воцарение пожилой, недалеккой Марии Федоровны давало простор для замыслов и честолюбивых устремлений...

В замечаниях на книгу Корфа Николай раздраженно написал о поведении герцога 14 декабря: «Дядя, герцог Александр Вюртембергский, все время просидел в бывшей голубой гостиной матушки и не позволял сыновьям явиться, куда долг их требовал. Зачем — не догадываюсь».

Тут и гадать особенно нечего. Герцог Александр выжидал исхода событий. Он хотел быть возле своего кандидата на престол и иметь под рукой сыновей-офицеров. Ведь Николая и убить могли...

Интересно, как следы этой особой позиции Марии Федоровны, ставшие известными гвардейским солдатам, трансформировались в их сознании.

13 мая 1826 года, когда шло еще следствие, агент полиции мещанка Екатерина Цызырева, раздававшая гвардейским солдатам мелкие ручные работы для заработка, доносила в Главный штаб о настроениях в Преображенском полку:

«Вообще о сем полку могу сказать, что они любят и преданы государю императору, но из их слов видно, что в них стараются поселить любовь к цесаревичу, великому князю Константину Павловичу и ненависть к государыне императрице Марии Федоровне, мне рассказывали они, что говорили



Евгений Вюртембергский. Гравюра с портрета работы Д. Доу. 1820-е гг.

им, будто великий князь Константин Павлович просил государя императора недавно, дабы гвардейским солдатам уменьшить службу до 15-ти лет, что монарх на это был согласен, но будто бы государыня императрица Мария Федоровна на это не согласилась и настояла, чтоб в просьбе сей отказать цесаревичу великому князю, на что его высочество остался столь недоволен, что не пишет более к государю императору.

Все сии рассказы, сколь они ни пусты, но заставили обратить на них особое внимание, я сама буду каждую неделю у них два раза, а сверх сего я раздала там работы и наняла женщин Саперного батальона, которые будут доставлять мне сведения о слухах и разговорах в том полку»³⁹.

Этот вариант «константиновской легенды» говорит о том, что полки, поддержавшие Николая, ждали после 14 декабря немедленных перемен к лучшему и, не видя их, искали виновников. Ясно, что и до восстания в сознании гвардейцев с возможностью перемен связано было имя Константина.

В атмосфере напряженного ожидания, мучительной неловкости своего положения, подспудных интриг и страха встретил великий князь Николай утро 12 декабря.

Николай в записках рассказал об этом роковом утре с большой психологической достоверностью:

«...Часов в 6 я был разбужен внезапным приездом из Таганрога лейб-гвардии Измайловского полка полковника барона Фредерикса с пакетом „о самонужнейшем“ от генерала Дибича, начальника Главного Штаба, и адресованным в собственные руки императору!

³⁹ ОР РНБ, ф. 859, к.18, № 12, л. 106-106 об.



*Е. Ф. Канкрин.
Литография.
1830-е гг.*

Спросив полковника Фредерикса, знает ли он содержание пакета, получив в ответ, что ничего ему не известно, но что такой же пакет послан в Варшаву, по неизвестности в Таганроге, где находится государь. Заключив из сего, что пакет содержит обстоятельство особой важности, я был в крайнем недоумении, на что мне решиться. Вскрывать пакет на имя императора — был поступок столь отважный, что решиться на сие казалось мне последней крайностью, к которой одна необходимость могла принудить человека, поставленного в самое затруднительное положение, и — пакет вскрыт! Пусть изобразят себе, что должно было произойти во мне, когда, бросив глаза на включенное письмо от генерала Дибича, увидел я, что дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространились через всю империю, от Петербурга на Москву и до второй армии в Бессарабии.

Тогда только почувствовал я в полной мере всю тяжесть своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. Должно было действовать, не теряя ни минуты, с полною властью, с опытностью, с решимостью — я не имел ни власти, ни права на оную; мог действовать только через других, из одного доверия ко мне обращавшихся, без уверенности, что совету моему последуют...»

При достоверности изображения чувств, которые испытал Николай при чтении Дибичевой депеши, здесь, конечно же, немало риторики, призванной оправдать и объяснить (вернее, скрыть!) причины тех странностей, которые произошли далее.

Николай Павлович, даже если забыть, что он был кандидатом на престол, в любом случае оставался великим князем и в этом качестве обладал —



*А. А. Аракчеев.
Литография Г. Гиттуса. 1822 г.*

в отсутствие императора — немалым влиянием. Сам он, разумеется, не должен был производить аресты — для этого были соответствующие лица. Первым делом Николай призвал генерал-губернатора Милорадовича, в руках которого была полиция, и начальника почтовой части князя Голицына, который контролировал связь столицы с остальной империей. Оба они прочитали бумаги Дибича. Это был подробный свод тех сведений о тайных обществах, которые доставлены были Шервудом, Виттом и — уже после смерти Александра — капитаном Вятского полка, доверенным человеком Пестеля — Майбородой.

«Подобное извещение, в столь затруднительное и важное время, требовало величайшего внимания, и решено было узнать, кто из поименованных лиц в Петербурге, и не медля их арестовать... Из петербургских заговорщиков по справке никого не оказалось налицо: все были в отпуску...»

Тут Николай сознательно обманывал будущих читателей, и в том числе историков. Ибо в письме Дибича названы были «из числа деятельнейших членов» тайного общества «гвардейского генерального штаба капитан Муравьев, гвардейский офицер Бестужев, служивший прежде во флоте, некто Рылеев (вероятно, секундانت покойного поручика Чернова на дуэли с флигель-адъютантом Новосильцевым)...» Отыскать в Петербурге Рылеева было крайне просто - издатель «Полярной звезды» и знаменитый поэт был прекрасно известен графу Милорадовичу. Установить, какой Бестужев перешел из флота в гвардию, тоже можно было в весьма короткий срок, — это был Михаил Бестужев. Хотя, скорее всего, доноскики, получившие сведения о Северном обществе из вторых рук, имели в виду лейб-драгуна Александра Бестужева вместе с его братом, моряком Николаем Бестужевым.

Этот кусок воспоминаний — прекрасный образец волевого моделирования событий задним числом. Николай сознательно упрощает происходившее, чтобы —

опять-таки в целях самооправдания — представить его неожиданным, мгновенным, как с неба свалившимся.

На самом деле было по-другому.

Николай узнал о существовании заговора не утром 12-го, а после обеда 10 декабря.

12 декабря в письме Дибичу, в ответ на его депешу, Николай писал: «Третьего дня видел в первый раз (в первый раз во время междоусобицы, разумеется. — Я. Г.) графа Аракчеева. Он мне в разговоре упомянул об этом деле, не зная, на чем оно остановилось, и говоря мне про оно, потому что полагает его весьма важным». (Встреча с Аракчеевым зафиксирована в дневнике.) Таким образом, Аракчеев, который был давно уже осведомлен о содержании доносов, полученных Александром, сообщил Николаю о заговоре.

Стало быть, во-первых, Николай уже Юто числа узнал, какую пороховую бочку ему оставил один брат и усиленно уступает другой. Во-вторых, известия Дибича не были для него неожиданностью. Они только конкретизировали рассказ Аракчеева.

Более того, Николай немедленно, 10 декабря, сообщил новость Милорадовичу, который на следующий день, 11 декабря, попытался увидеть Аракчеева. Тот его не принял (!). Но у генерал-губернатора было время обдумать происходящее и соответствующим образом ориентировать тайную полицию.

Вообще письмо Николая к Дибичу, написанное немедленно после беседы с Милорадовичем и Голицыным, существенно корректирует воспоминания и по деталям. Выясняется, что кроме двух этих лиц великий князь известил и Бенкендорфа. Но из письма этого ясно еще, что Николай вовсе не был столь беспомощен, как он хочет это в воспоминаниях представить: «Я еще не государь ваш, но должен поступать уже как государь...» Ясна из письма и его несомненная решимость ликвидировать опасность в Петербурге, не дав ей реализоваться. «Обязанность моя — не теряя ни минуты, приступить к делу, до общего блага касающемуся, а потому и приступлю к назначению мер, мною принятых». И далее: «Получив ваши бумаги, я тотчас уведомил графа Милорадовича и условился с ним и Голицыным обратить непременно бдительное внимание на некоторых лиц, здесь находящихся». Таким образом, не все заговорщики отсутствовали.

Совершенно ясно, что, уже ощущая себя главой государства, Николай полон был решимости действовать. Но решимость эта была нейтрализована тем, кому отданы были недвусмысленные приказания, — Милорадовичем.

«Но „на Бога надейся и сам не плошай" было и будет нашим правилом до конца, и мы не зеваем», - заверяет великий князь начальника Главного штаба.

Они и в самом деле не зевали, но — каждый по-своему...

Сам Николай, несмотря на сетования по поводу отсутствия у него власти, был настроен решительно, да и Милорадович тоже, судя по сообщению Николая: «Решено было узнать, кто из поименованных лиц в Петербурге, и не медля их арестовать...» Так было решено на совещании рано утром 12 декабря. Простое выполнение Милорадовичем своих обязанностей исключало возможность будущего восстания.

В нормальном, подлинно стабильном государстве замыслы заговорщиков были бы пресечены в тот же день, в крайнем случае — на следующий. В нормальном и стабильном, но не в государстве, охваченном кризисом, не в ситуации групповой борьбы в верхах...

Милорадович ушел, а великий князь остался обдумывать создавшееся положение. Хотя на спокойные раздумья времени не было. После целого ряда деловых встреч и разговоров, как видно из дневника, сразу после обеда прибыл курьер от Константина с подтверждением прежней позиции. Это не был желаемый манифест об отречении. Это было очередное письмо. Но далее откладывать решение было нельзя. Сведения о грандиозном заговоре делали и без того взрывоопасное положение катастрофическим. Николай и Мария Федоровна решили ограничиться этим письмом и, на него опираясь, объявить о переприсяге. У них просто не было другого выхода. Надо было заканчивать манифест о вступлении на престол. Над манифестом Николай трудился уже несколько дней, что говорит об его уверенности в определенном исходе «тяжбы о короне». Еще 9 декабря он записал в дневник: «Карамзин, читал ему свой проект манифеста...» Они теперь встречались ежедневно, обсуждая текст. Но то, что предлагал Карамзин, Николаю не очень устраивало. Он поручил 10 декабря еще и Сперанскому написать свой вариант. 11-го числа Сперанский представил проект, понравившийся великому князю. Но днем 12 декабря Николай соединил в этой работе и Карамзина, и Сперанского.

Два политических мыслителя, непримиримые противники по истинным своим позициям, стали авторами совместного документа, объявлявшего начало новой эпохи.

Дневник Николая дает точную картину этого бурного и насыщенного делами и встречами дня: Фредерике, Перовский, Голицын, Милорадович, герцоги Вюртембергские, Воинов, Бистром, Потапов, полковник Геруа, командир гвардейских саперов (причем некоторые из названных лиц приходили не один раз), разговоры с императрицей Марией Федоровной и женой, работа над манифестом — вот день Николая, свидетельствующий еще раз о том, что он вовсе не был изолирован в это время. Все сходилось к нему. Он обладал достаточной властью для пресечения заговора.

Около девяти часов вечера Николаю доложили, что адъютант генерала Бистрома принес какой-то пакет от командующего гвардейской пехотой. Николай вскрыл пакет. В нем оказалось личное письмо к великому князю подпоручика Якова Ростовцева.

В письме этом Ростовцев давал понять великому князю, что против него существует заговор и что принимать престол в сложившейся ситуации смертельно опасно и для него, Николая, и для всего государства.

Николай пригласил Ростовцева к себе в кабинет. Они долго разговаривали надине. Содержание разговора мы знаем только в версии самого Ростовцева, одобренной Николаем. Но ясно, что подпоручик повторял то же самое, что сказал в письме, и не называл имен.

Великий князь попросил его ничего не говорить Бистрому и отпустил.

Николай теперь мог сопоставить конкретные данные из Таганрога и туманные предостережения и намеки подпоручика. При сопоставлении же этих сообщений вероятность мятежа в результате новой присяги становилась почти несомненной.

Николай это прекрасно понял.

После ухода Ростовцева он написал короткое письмо находившемуся в Таганроге генерал-адъютанту Петру Михайловичу Волконскому: «Воля Божия и приговор братний надо мной совершается! 14-го числа я буду государь или мертв. Что во мне

происходит, описать нельзя; вы, вероятно, надо мной сжалитесь - да, мы все несчастные - но нет несчастливее меня! Да будет воля Божия!..»

После чего он отправил полковника Фредерикса в обратный путь.

ПОЛКОВНИКИ

После совещания у Оболенского 12-го числа Розен «поехал к Репину, пересказал ему слышанное и виденное, а на другой день сообщил то же полковнику Тулубьеву...».

10 декабря, как мы помним, Оболенский сам ездил к Тулубьеву и полковнику Моллеру, но не смог поговорить с ними.

Полковники Тулубьев и Моллер, командовавшие 1-м и 2-м батальонами финляндцев, были членами тайного общества. Моллера принял декабрист Нарышкин. Кто принял Тулубьева, следствие выяснять не стало по причинам, о которых речь впереди. Но Трубецкой уверенно назвал членами общества и того, и другого.

Участие в восстании Тулубьева и Моллера давало не только гарантию выступления двух батальонов, но и бросало на весы авторитет еще двух гвардейских полковников.

Тайному обществу катастрофически не хватало «густых эполет» — от полковников и выше. Дело было не только в солдатах, стоявших непосредственно за таким-то полковником, хотя и это было чрезвычайно важно, но и в том впечатлении, которое должно было произвести на солдат нейтральных или колеблющихся частей их присутствие в рядах инсургентов. Когда за права цесаревича вступаются поручики и штабс-капитаны — это одно. Когда полковники и генералы — другое.

Оболенскому, очевидно, не удалось поговорить с Моллером и в последующие дни. На нем лежала бездна обязанностей. Ведь, кроме подготовки вооруженного восстания, ему приходилось заниматься своим официальным делом, а у старшего адъютанта командующего гвардейской пехотой забот хватало. Поэтому переговоры с Моллером взял на себя Николай Бестужев. Первый раз он видел полковника вечером 12 декабря. Моллер был «в наилучшем расположении».

С Тулубьевым вели переговоры Репин и Розен.

Мы мало знаем о полковнике Александре Никитиче Тулубьеве, чья судьба сломалась 14 декабря. Знаем, что он, по сведениям Следственной комиссии, был хорошо знаком с Оболенским и посылал ему книги неблагонадежного содержания. 12 декабря Тулубьев поддерживал связь с тайным обществом и, очевидно, ждал решения Моллера.

12-го числа Рылеев, который уже начал выходить на улицу, сам пытался несколько раз поговорить с Моллером, но не мог его застать.

Но в то время, когда члены тайного общества тщетно пытались привлечь к действию двух полковников, Рылеев куда больше преуспел с третьим.

Полковник Булатов приехал в Петербург 11 сентября. Умер генерал Булатов, и надобно было делить с братьями наследство. Вскоре полковник встретил в театре своего однокашника по кадетскому корпусу Рылеева. Они условились о встрече, но встречи не получилось. Затем они снова столкнулись в театре, и Рылеев сообщил своему старому товарищу о существовании тайного общества. Булатов не принял этого всерьез. Он был далек от политики, совсем недавно перенес тяжкое горе — смерть любимой жены — и находился в состоянии нервном и неуравновешенном.

Началось междуцарствие. Настроения Булатова в этот период уже известны нам — как многие офицеры, он хотел в императоры Константина. Но ни о каком вмешательстве в государственные дела и не думал. Рылеев, однако, о нем не забыл. И когда началась активная мобилизация сил, Рылеев сделал очень точный ход.

6 декабря к Булатову приехал поручик Панов и пригласил его на обед. Квартира Панова помещалась в лейбгренадерских казармах...

Вся боевая служба Булатова связана была с этим полком. С лейб-гренадерами он прошел кампанию 1812 года, а затем и заграничные походы. В 1825 году он командовал егерским полком в провинции, но лейбгренадеры помнили и любили его. На это и рассчитывали Рылеев, Сутгоф и Панов.

За столом начались вольные политические разговоры о необходимости перемен, на что Булатов сказал, что «было время для исполнения их предприятий, но оно упущено — время семеновской истории».

Между тем Панов предупредил ветеранов полка о том, кто будет у него в гостях. И то, что произошло далее, было проверкой отношения солдат к Булатову. «...Пусть каждый поставит себя на мое место, — писал он из крепости великому князю Михаилу Павловичу, — и вообразит свидание с тем солдатом, который 13 лет тому назад после жаркого сражения, видя своего офицера в изнурении и немогшего идти, нес на своем плаще и плечах своих. Я увидел Герасимова, и биение сердца изъявило ему мою благодарность, я встал, взял его за руку и поцеловал его, потом велел подать рюмку вина и выпил с большим удовольствием за его здоровье; пого-воря несколько с ним, спросил о прежних сослуживцах моих - его товарищах, дал ему на водку 20 или сколько рублей и отпустил его... Не прошло получаса, как вошел в комнату унтер-офицер Иевлев, рядовые Миклейн и два Герасимова. Я поздоровался с ними. Просил Панова, чтоб дали им водки, они выпили за мое здоровье. Я поблагодарил их небольшою



Схватка с французами. Силуэт работы Ф. П. Толстого. 1820-е гг.

рюмкою вина и, поговоря немного, взял каждого за руку, жал; они целовали мою руку...»

Все эти солдаты по очереди несли раненого Булатова при отступлении от Смоленска, где он прикрывал отход армии, командуя отрядом добровольцев.

В коридоре Панов спросил солдат: «Что, ребята, если бы полковника хотел кто-нибудь убить, допустили ли бы вы до этого?» Гренадеры божились, что защитят Булатова.

Ясно было, что полковник по-прежнему любим в полку.

После этого молодые офицеры втянули Булатова в спор об Аракчееве, чтобы выяснить его настроения. Аракчеева Булатов терпеть не мог и сообщил об этом в выражениях весьма резких.

На следующий день Сутгоф передал Булатову приглашение Рылеева.

8 декабря полковник приехал к больному Рылееву и застал там Трубецкого. Но князь вскоре уехал. Они остались одни. И тут произошел решительный разговор. «Рылеев открывает мне о заговоре, слышанном мною в театре. Зная, что он женат и имеет дочь, я думаю, что он шутит, но он говорит серьезно, описывает состав одного, который, как кажется, открыть довольно трудно. Меня поразило это так, что я ничего ему не ответил, не знаю, заметил ли он это или нет, но кажется, понял так, как должно: он знал, что я ни к каким подобным поступкам и в молодости лет не был сроден. Но он продолжал следующим образом: „Я по старой нашей дружбе никак от тебя не мог этого скрыть, тебя знают здесь за благороднейшего человека... Комplot наш, - продолжал он, - составлен из благородных и решительных людей“. Я отвечал ему, что так и должно быть, ибо на такие решительные дела малодушным решаться не должно. Ему это понравилось. „Тебя давно сюда дожидали, и первое твое появление обратило на



Наполеон на пом боя. Силуэт работы Ф. П. Толстого. 1820-е гг.

тебя внимание". Он тронул мое самолюбие, и я был доволен, что отважные и не известные мне люди отдадут мне справедливость. Тут кто-то вошел, и разговор наш кончился».

Но на следующий день, 9 декабря, полковник Булатов снова приехал к Рылееву. У него была полная возможность отказаться, прервать смертельно опасные переговоры. С чего бы ему вдруг — после получения полка, наследства, после похвал императора Александра на последнем смотре, — с чего бы ему входить в заговор, рисковать всем? Но он едет к Рылееву.

«Садимся, и он открывает, в чем состоит заговор, основанный на пользе отечества. Из открытия его узнал я следующее и главное — то, чтобы уничтожить монархическое правление и власть тиранскую, как говорит Рылеев, которую присвоили себе цари над равными себе народами. Я спросил у него: „Какая же в этом польза отечеству?“ Он продолжает: когда мы успеем в своем предприятии, на которое они полагали твердую надежду в то время, на время избран диктатором князь Трубецкой, устроим Временное правление, потом вызовем из каждой губернии, каждого уезда депутатов... — состав Народного правления. Я ему сказал на это, что вижу из этого только другое правление, но так как теперь новый император (в то время царствовал цесаревич Константин), гвардия вся его любит... добавя к тому, что партия их упустила в 1821 году самый удобный случай во время возмущения Семеновского полка. Он отвечал мне на это, что они тогда не были так сильны, но теперь совсем готовы. Я опять напомнил ему, что новый государь любим народом и войсками».

Но Рылеев видел, что собеседник его колеблется, и не прерывал разговора. Он последовательно изложил Булатову три варианта плана — в зависимости от обстоятельств. Первый — в случае принятия Константином престола законсервировать общество, делать карьеры и окружить императора своими людьми, а затем вынудить к проведению реформ. Это был уже

устаревший вариант, но Рылеев, надо полагать, специально начал с него чтобы показать Булатову гибкость и предусмотрительность общества. Второй — воспользоваться для переворота переприсягой. Третий — ежели не получится во время новой присяги, отложить действие до коронации.

На этом они расстались. И Булатов решил 15-го числа уехать из Петербурга, закончив свои дела по наследству.

11-го числа к нему пришел Сутгоф и от имени Рыльева прямо предложил возглавить лейб-гренадерских офицеров. Оба они — Булатов и Сутгоф — понимали, что в случае согласия полковника к ним примкнут новые люди в полку. 11 декабря, как мы помним, было пиком организационной деятельности вождей общества.

Но 10 декабря прошло у Булатова в тяжелых раздумьях. Одна мысль не давала ему покоя. Мысль, определившая в конце концов гибельное решение, которое он принял накануне восстания.

Вечером 11 декабря он прямо сказал Сутгофу: «Я не вижу никакой пользы отечественной, кроме того чтобы вместо законного государя был какой-нибудь другой властелин». Но он твердо обещал быть назавтра у Рыльева и ответить ему.

Булатов метался. Ему вняты были рассуждения Рыльева о необходимости перемен. Его честолюбие и самолюбие высокого профессионала, заслуженного офицера, претерпевшего еще недавно немало несправедливостей, требовали компенсации более значительной, чем командование егерским полком. Его взвинченные смертью любимой жены нервы не давали ему хладнокровно обдумать происходящее. Младший брат Булатова вспоминал о том, как выглядел полковник осенью 1825 года: «Я его почти не узнал, он как-то опустился, осунулся и очень похудел; румянца на щеках не было более, и только впавшие в орбиты глаза горели лихорадочным огнем; несмотря на 32 года, на висках были седые волосы».

С другой стороны, ему страшно было за двух маленьких дочерей, осиротевших со смертью матери и живших на попечении прабабки.

А главное — не обладая такой идеологической подготовкой, как лидеры тайного общества и даже такие его члены, как Репин, Сутгоф, Панов, офицеры-моряки, не будучи человеком такой достойной и чистой доверчивости, как Андрей Розен, Булатов примерял к развернувшейся перед ним ситуации «переворотную» традицию XVIII века - когда в результате выступления гвардии одна персона на престоле сменялась другой. Подлинный смысл и политическая потенция гвардейских мятежей были ему неясны. Он боялся оказаться орудием в руках новоявленных Орловых.

Но та же гвардейская традиция требовала от него действия. Перед ним внезапно возникла возможность принести «пользу отечеству», и ему тяжело было ею пренебречь.

Он знал, что лейб-гренадеры поверят ему и пойдут за ним. Он понимал, что в смутный момент переприсяги он может со своими солдатами переломить ход событий — как сочтет нужным. Он помнил 6 декабря, молодых возбужденных офицеров, старых гренадеров, целовавших ему руки...

Он колебался. И никому из «действателей» 14 декабря окончательное решение не далось с такой мукой, как полковнику Булатову.

Утром 12 декабря он был у Рылеева и дал положительный ответ, иначе Рылеев не пригласил бы его на вечернее совещание, на котором должны были быть распределены роли в случае восстания.

А Рылеев его пригласил. И Булатов на это решающее совещание явился.

Феномен Ростовцева

12 декабря *было* переломным днем междоусобицы. В этот день Николай, получив очередное полуофициальное письмо цесаревича, решил назначить переписищу. В этот день он получил письмо Дибича, показавшее ему всю опасность его положения. В этот день собравшиеся у Оболенского представители полков дали слово действовать, а полковник Булатов связал себя с судьбой тайного общества. В этот день появилась надежда на полковников Тулубьева и Моллера.

В этот же день произошло событие настолько странное, что по сию пору трудно исчерпывающе объяснить его подоплеку и последствия. В девять часов вечера во дворец явился адъютант генерала Бистрома, подпоручик лейб-гвардии егерского полка Яков Ростовцев и в туманных выражениях сообщил о грядущих мятежах.

Официальная версия, впервые оформленная Корфом, рисует Ростовцева благородным, прекраснородным юношей, который, живя на одной квартире с Оболенским, случайно узнал о замыслах мятежников, пытался образумить своего друга, но, потеряв надежду на это, рискуя жизнью, предостерег великого князя Николая Павловича о грозящей ему опасности, не назвав при этом никаких имен.

И Корф, и другие историки пользовались в качестве источника рассказами самого Ростовцева, впоследствии им записанными и после его смерти опубликованными. Можно с полной уверенностью сказать, что источник этот абсолютно лжив.

Между тем неофициально поступок Ростовцева толковался многими поколениями как заурядное предательство. Обвинители исходили из простейшей схемы — человек близкий к заговорщикам сообщает о них правительству. Характер самого сообщения во внимание не принимался. И это было принципиальной ошибкой.

Парадоксальность положения заключалась в том, что оправдаться — хотя бы частично — перед историей и собственными сыновьями, хотя бы несколько притушить горящую на нем печать доносчика Ростовцев мог, только написав правду. А правду написать он не смел, ибо вся его незаурядная карьера после 14 декабря построена была на утаении этой правды — и не только им самим, но и Следственной комиссией, и Николаем. Написать через много лет правду — значило дезавуировать сложившуюся легенду о благородном восторженном юноше, готовом погибнуть, но не допустить мятежа. Это значило — признать, что шефом военно-учебных заведений империи стал активный член тайного общества, товарищи которого, куда менее

замешанные в событиях 14 декабря, пошли в солдаты, в дальние гарнизоны, на Кавказ...

Поступок Ростовцева объяснялся и квалифицировался очень по-разному. Штейнгель писал в воспоминаниях: «Ростовцев, младший брат из трех служивших в л.-гв. Егерском полку, адъютант генерала Бистрома... благодетельствованный великим князем, в порыве благородного сердца решился предупредить его высочество».

Розен писал потом о Ростовцеве: «Нельзя причислить его к доносчикам, потому что он 12-го декабря предварил членов общества Рылеева и Оболенского, дав им прочесть письмо, написанное великому князю Николаю Павловичу, благодетелю его семейства».

Через много лет племянник Лунина С. Уваров записал мнение о Ростовцеве декабриста Нарышкина: «Он не питает никакого отвращения... к знаменитому Якову Ростовцеву. Он говорит даже, что Ростовцев предупредил будто бы этих господ, что он их выдаст, и что они — таков был энтузиазм — нашли его поведение благородным, и что его приветствовали». Это, конечно, отзвуки сибирских разговоров, ибо Нарышкина не было в столице 14 декабря.

Наиболее жестко вспоминал о странном доносителе Николай Бестужев. Он так реконструировал в воспоминаниях свое мнение в разговоре с Рылеевым: «...Ростовцев хочет ставить свечку Богу и Сатане. Николаю он открывает заговор, перед нами умывает руки признанием...»

Но кем же был в действительности этот «благородный молодой энтузиаст» и какие мотивы двигали им?

В своих записках Ростовцев настаивает на том, что он совершенно случайно, именно по причине своего соседства с Оболенским, узнал тайну заговора. Это первая и главная ложь.

Ростовцев был членом Северного общества. Оболенский показал на следствии: «Принят был мною за несколько недель до 27го ноября товарищ мой, старший же адъютант Ростовцев». Незадолго до восстания Оболенский поручил Ростовцеву принять в тайное общество измайловца Кожевникова, очевидно не зная, что тот уже принят Назимовым.

Александр Бестужев утверждал: «Я. Ростовцев был членом общества и приятель Оболенского. Был раза два у Рылеева, когда многие из наших приезжали. За три дня я видел его во дворце и сказал ему, что дело доходит до палашей, и он промолвил, чтоб часовые слышали: „Да, палаша — хороши“».

Даже малоосведомленный подпоручик Коновницын знает, что Ростовцев — член тайного общества, и называет его на следствии рядом с Трубецким, Оболенским и Рылеевым.

Оболенский сообщил Ростовцеву о плане восстания (очевидно, в несколько неопределенном варианте). Ростовцев знал о собраниях офицеров у Оболенского. Короче говоря, он был полноправным и доверенным членом тайного общества. В этом качестве он и фигурирует в показаниях декабристов.



*Я. И. Ростовцев.
Рисунок Н. Степанова. 1830-е гг.*

Причем был членом общества достаточно активным. Так, незадолго до восстания он запиской приглашал к себе и Оболенскому полковника Федора Глинку для разговора. (Глинка, рассказав об этом на следствии, добавил, что Ростовцева он «любил с его детства».)

На несообразность отношения следователей к показаниям на Ростовцева обратил внимание проникательный историк Шильдер, сделав для себя выписки из следственных дел, где указано было, что Ростовцев — член тайного общества, пользовавшийся доверием своих товарищей. К одним показаниям, уличавшим Ростовцева в том, что он старался привлекать в общество новых людей, Шильдер сделал саркастическое примечание: «Сие осталось без дальнейшего действия».

Когда на одном из первых допросов Штейнгель стал рассказывать о действиях Ростовцева, генерал Левашев раздраженно его прервал...

Почему был принят в тайное общество Яков Ростовцев?

Оболенский объяснил это тем, что Ростовцев, «будучи поэт, был принят мною единственно как человек, коего талант мог быть полезен распространению просвещения, тем более что талант сей соединен был с истинною любовью к Отечеству и с пылким воображением».

Ростовцев был близок не только с Оболенским. Тот же Штейнгель показал: «Около половины уже ноября, не прежде, будучи приглашен Рылеевым к меньшому Ростовцеву на чтение отрывка из сочиняемой им трагедии „Пожарский“, изготовленного для помещения в „Полярную Звезду“, я увидел тут в первый раз князя Оболенского...» Ростовцев, стало быть, способствовал декабристской пропаганде и как литератор, сотрудник «Полярной звезды».

Штейнгель вспоминал потом о Ростовцеве: «Он был тогда одним из восторженных обожателей свободы. Написал трагедию „Пожарский“, исполненную смелыми выражениями пламенной любви к отечеству, и не скрывал если не

ненависти, то презрения к тогдашнему порядку вещей в России». Как видим, Ростовцеву самое место было в тайном обществе. Он не был там случайным человеком.

Ростовцев и вне общества находился в либеральной среде. Судя по всему, большое влияние на молодого офицера имел его зять, муж его сестры, богатый купец Сапожников. Штейнгель рассказывал: «Помнится, уже в декабре месяце он (Рылеев. — Я. Г.) мне рассказывал, что Ростовцев поручил ему сказать мне, чтобы я принял купца Сапожникова. Дня через два или три Ростовцев и сам мне то же подтвердил, промолвив: „Я бы и сам принял, но мне неловко, пожалуйста, примите“... Поводом к тому, что они ко мне в сем случае адресовались, было то, что им известна была дружеская связь моя с Сапожниковым, а Ростовцев притом знал, что он, по делам своим терпя многие притеснения и потери от покойного министра финансов, часто в семейном кругу, не обинуясь, жаловался на порядок вещей; да и вообще человек с очищенными понятиями... После 14 декабря, при первом посещении Ростовцева, он мне рассказал, что написал к государю письмо по совету своего зятя, которому тогда только открыл об обществе и его намерениях».

Кроме Штейнгеля, с Сапожниковым был дружен Батеньков.

Но маловероятно, чтобы совет зятя стал решающим мотивом поступка Ростовцева. Он, скорее всего, стал советоваться с Сапожниковым в последние дни перед восстанием, потому что обдумывал свою акцию — в том или ином варианте.

Каковы же могли быть собственные мотивы Ростовцева? Почему он, как мы видели, убежденный сторонник перемен, поэт-свободолюбец, активный член тайного общества, вдруг решил отправиться к великому князю с тем, чтобы не допустить восстания? Фонвизин, наверняка обсуждавший в Сибири эту проблему с теми, кто был в декабре в Петербурге, писал: «Один член Союза, адъютант начальника гвардейской пехоты генерала Бистрома поручик Ростовцев, не из корыстных видов, а испуганный мыслию о междоусобном кровопролитии, идет во дворец и открывает великому князю Николаю намерения и надежды общества воспрепятствовать его восшествию на трон». Это крайне важное соображение, если помнить, с кем особенно близок был Ростовцев в последние дни перед 14 декабря.

Ни в одном следственном деле, даже деле Оболенского, так часто не упоминается имя Ростовцева, как в деле подполковника Штейнгеля. Когда была возможность, декабристы старались скрыть от следствия свои сепаратные связи внутри общества, и Штейнгель наверняка говорит о своих отношениях с Ростовцевым меньше, чем мог бы сказать. Не случайно же, когда после восстания Ростовцев, избитый на площади прикладами, лежал в родительском доме больной, то Штейнгель, по собственному признанию, «ежедневно посещал в болезни его» - пять дней подряд. Не случайно

же, когда сидящему в крепости Штейнгелю удалось передать на волю записку, он адресовал ее в дом Ростовцевых.

Относительно грядущего восстания у Штейнгеля были очень определенные соображения: «Я утверждал и доказывал, что Россия не готова еще к чрезвычайным переменам правительства (то есть к насильственным. - Я. Г.), что конституция дана быть может только высочайшею властью (хотя бы и под давлением гвардии. - Я. Г.), что всякое насильственное предприятие произведет всеобщее возмущение и все ужасы безначалия...» Штейнгель говорил это еще до междуцарствия, но и в декабре 1825 года его позиция по сути своей оставалась столь же умеренной.

Штейнгель был не одинок. Позиция Батенькова относительно средств давления на власть была принципиально схожей. И тот и другой прежде всего опасались кровопролития, неуправляемого развития событий.

Именно этой боязнью объясняет Фонвизин поступок Ростовцева.

Но тогда почему же Ростовцев не «взбунтовался» раньше? Ведь еще 9 декабря он исправно выполнял поручения Оболенского и заботился о расширении общества. Очевидно, и в его позиции решающую роль сыграло 11 декабря, когда ясна стала недостаточность сил для бескровного давления на власть и выяснилась необходимость решительных действий — не демонстрации, а восстания в полном смысле слова. А совещание 12 декабря у Оболенского, где ситуация проявилась во всей своей рискованной неопределенности, довершило дело. Именно 11-12 декабря Оболенский объявил связанным с ним офицерам, и в том числе Ростовцеву, достаточно уже радикальный план. И ясно было, что план этот может стать еще радикальнее.

11-12 декабря, как мы увидим, вообще были днями начала борьбы внутри тайного общества, резкого размежевания позиций. И есть основания утверждать, что поступок Ростовцева был именно эпизодом этой внутренней борьбы.

Что, собственно, сделал Ростовцев?

12 декабря, в первой половине дня, на общей квартире Оболенского и Ростовцева (которая, в свою очередь, была частью квартиры Бистрома), собрались представители полков. А вечером того же дня Ростовцев явился во дворец и передал, как мы помним, Николаю письмо. Письмо это в опубликованном самим Ростовцевым варианте выглядело так:

«В народе и войске распространился уже слух, что Константин Павлович отказывается от престола. Следуя редко влечению вашего доброго сердца, излишне доверяя льстецам и наушникам, вы весьма многих против себя раздражили.

Для вашей собственной славы погодите царствовать.

Против вас должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге, и, быть может, это зарево осветит конечную гибель России.

Пользуясь междуусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть, и Литва от нас отделятся. Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и соделает ее державою азиатскою, и незаслуженные проклятия вместо должных благословений будут вашим уделом.

Ваше высочество! Может быть, предположения мои ошибочны, может быть, я увлекся и личною привязанностью к вам и любовью к спокойствию России, но дерзаю умолять вас именем славы отечества, именем вашей собственной славы преклонить Константина Павловича принять корону! Не пересылайтесь с ним

Всевышнему Господу Богу угодно было отозвать къ себѣ обожаемаго нами Монарха!

Его Императорскому Величеству, Государю Императору Константину Павловичу учинена присяга Его Высочествомъ Великимъ Княземъ Николаемъ Павловичемъ, Государственнымъ Советомъ, Святѣйшимъ Синодомъ и Войскомъ.

По приказанію Его Силтельства Господина Санктпетербургскаго Военнаго Генераль-Губернатора, я извѣдаю о семъ всѣхъ жителей Столицы, дабы они послѣдуя долгу своему, обратились во храмы Божіи и тамъ предъ Престоломъ Всевышняго учинили таковую же присягу на вѣрность подданства Государю Императору Константину Павловичу установленнымъ порядкомъ. Ноябрь 27 дня 1825 года.

С. Петербургскій Оберъ - Поміціймейстеръ Ш у л ь с и н в 1.

Обращение к жителямъ Петербурга по случаю присяги императору Константину I

курьерами; это длит пагубное для вас междуцарствие, и может выискаться дерзкій мятежник, который воспользуется брожением умов и общим недоумением. Нет, поезжайте сами в Варшаву, или пусть он приедет в Петербург, излейте ему как брату мысли и чувства свои, ежели он согласится быть императором — слава Богу! Ежели же нет, то пусть всенародно, на площади, провозгласит вас своим государем».

В этом суть письма. Далее следовали уверения в бескорыстии и преданности: «Ежели ваше воцарение, что даст всемогущий, — будет мирно и благополучно, то казните меня, как человека недостойного, желавшего из личных видов нарушить ваше спокойствие; ежели же, к несчастью России, ужасные предположения мои сбудутся, то наградите меня своею доверенностью, позволив мне умереть, защищая вас».

Письмо это — удивительная смесь романтического вдохновения и тонкого расчета. Точно зная, что переприсяга будет сигналом к мятежу, Ростовцев мог, ничем не рискуя, предлагать казнить себя в случае мирного исхода.

Но дело не только в этих мелких хитростях. Дело в том, что письмо это печаталось и Корфом в его книге о 14 декабря, и Шильдером, взявшим текст У Корфа, и, главное, самим Ростовцевым в воспоминаниях, с пропуском интереснейшего абзаца. Умный Корф и его редактор, император Николай,

не случайно вычеркнули этот абзац. В свете последовавших событий он представлялся весьма странным. Стоял он после слов о гибели России в междоусобиях и звучал так: «Государственный совет, Сенат и, может быть, гвардия будут за вас; военные поселения и отдельный Кавказский корпус решительно будут против. (Об двух армиях ничего не умею сказать.)»⁴⁰.

Этот абзац имеет принципиальное значение для понимания смысла письма. Суть его в том, что мятеж против Николая должен вспыхнуть не в Петербурге! То есть идет явная дезинформация.

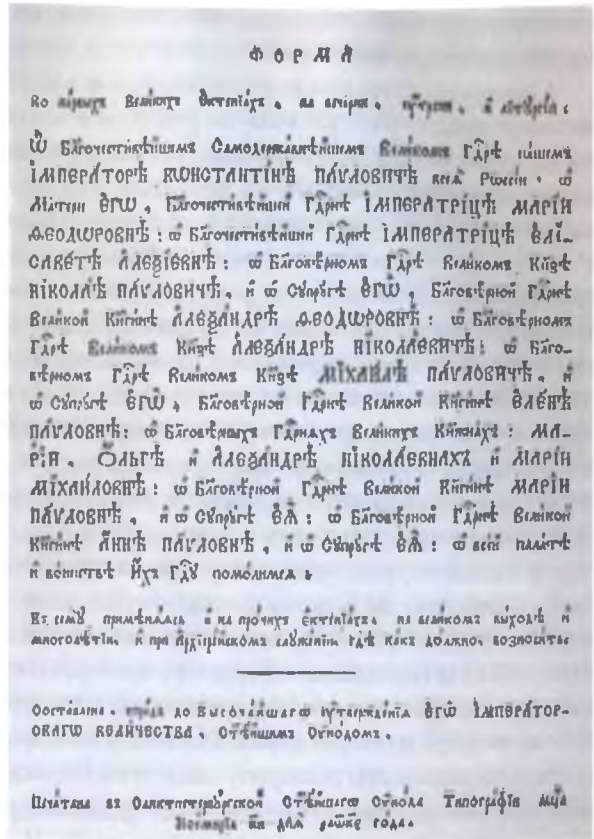
Если бы Ростовцев был заурядным доносчиком, он написал бы пусть в общей форме, но правду. А он сознательно обманывает Николая. Прекрасно зная, что тайное общество рассчитывает на несколько гвардейских полков, Ростовцев успокаивает великого князя относительно гвардии. Зато с уверенностью указывает как на очаги мятежа на те воинские контингенты, проверить лояльность которых в короткий срок просто невозможно, - на поселенные войска и на Кавказский корпус. Если учесть, что о напряженности в военных поселениях Николай знал, а Ермолов был ему подозрителен, то предостережение подпоручика должно было звучать вполне убедительно. Не мог Ростовцев, друг и доверенное лицо Оболенского, не знать и о существовании Южного общества, о котором — в общем виде — сообщали всем неофитам. Он, однако, специально говорит, что ничего не знает о двух армиях, стоявших на Юге. Он скрывает все свое конкретное знание и сообщает сведения туманные и недостоверные.

Несомненным свидетельством того, что Николай поверил Ростовцеву, является приписка к готовому уже письму великого князя Дибичу. Приписку эту Николай сделал сразу же, как только за Ростовцевым закрылась дверь (он зафиксировал это в дневнике): «Послезавтра поутру я - или государь, или без дыхания. Я жертвую собою для брата, счастлив, если как подданный исполню волю его. Но что будет в России? Что будет в армии?.. Я вам послезавтра, если жив буду, пришлю — сам еще не знаю, кого, — с уведомлением, как все сошло; вы также не оставите меня уведомить о всем, что у вас вокруг вас происходить будет, особливо у Ермолова. К нему надо будет под каким-нибудь предлогом и от вас кого выслать, например, Германа или такого разбора; я, виноват, ему менее всего верю».

Как видим, о гвардии здесь нет ни слова, зато - «что будет в армии?». И откровенное теперь уже недоверие к Ермолову - прямой результат ро-стовцевского предупреждения. Вся эта приписка - реакция на сведения Ростовцева.

Смысл ростовцевского письма в полном его виде — запугать великого князя, заставить его сделать еще одну попытку навязать престол Константину (который его ни за что не принял бы) и тем самым завести ситуацию в тупик либо продолжать попытки вызвать цесаревича в столицу (куда бы он ни за что не поехал) и таким образом до бесконечности затянуть междуцарствие. Тогда становились реальными кандидатуры Елизаветы или Михаила Павловича, любезные Штейнделю и

⁴⁰ Полный текст письма хранится в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), ф. 48, д. 3, л. 1-1 об. Текст этот был включен правителем дел Следственной комиссии в справку о Ростовцеве в «Алфавите декабристов» и, соответственно, опубликован в 8-м томе «Восстания декабристов» (Л., 1925). Поскольку «Алфавит» мыслился тогда материалом «закрытым», секретным, текст письма редактуре не подвергся.



Форма молитвенного возношения о Царствующем доме. 28 ноября 1825 года.

Батенькову, либо решение вопроса о малолетнем Александре Николаевиче и регентстве переходило в руки Государственного совета и Сената, что открывало перед умеренным крылом общества серьезные перспективы.

Во всяком случае, если бы Николай внял истерическим заклинаниям Ростовцева, то оба старших великих князя были бы «безмятежным» способом устранены.

Милорадович запугивал Николая бунтом гвардии в столице.

Ростовцев пугает его гражданской войной на пространствах страны. «Но что будет с Россией? Что будет в армии?» — вопрошает Николай, отпустив подпоручика.

Не будь депеши Дибича, ясно сообщавшей о наличии заговорщиков в Петербурге, Николай мог быть совершенно дезориентирован. Но Ростовцев и те, кто, возможно, стоял за ним, о послании Дибича не знали.

Все это можно было бы считать более или менее аргументированной гипотезой (хотя полный текст письма достаточно красноречив), если бы не удивительное свидетельство Завалишина, мимо которого равнодушно проходят исследователи.

Свидетельство это вообще важно, но особенно для ростовцевского сюжета. Завалишин, при непомерном самомнении и дурном характере, был человеком необычайно цепкого и интенсивного ума - он часто схватывал такие аспекты событий, на которые другие не обращали внимания. Так и в данном случае. Он говорил в записках об атмосфере среди его окружения в 1825 году: «Чем больше толковали о

формах и о средствах к перевороту, тем сильнее становилось разногласие и тем очевиднее было колебание. В таком положении многие начали подумывать, не лучше ли опять возвратиться к действию через само правительство, возбуждая в государе или прежние либеральные чувства, или опасения. Для последнего был даже составлен такой план: открыть ему существование тайных обществ и неминуемость переворота и доказать, что единственное средство предупредить это состоит в добровольном даровании конституции или, по крайней мере, в немедленном приступлении к реформам в самом обширном размере, обещая ему в таком случае полную преданность и ревностнейшее содействие членов общества. Для исполнения этого плана дело состояло единственно в том, чтобы найти человека, способного на хладнокровное пожертвование собой и настолько твердого, чтобы, открыв существование заговора, не выдать, однако, его соучастников... Так объясняли некоторые действия Оболенского относительно Ростовцева. Сообщая последнему все дело от себя, Оболенский, говорят, знал, что Ростовцев способен составить себе выслугу из доноса, но что его, Оболенского, он не решится выдать, а объяснит, что узнал все как-нибудь стороною, а между тем влияние на государя может быть произведено».

Разумеется, акция Ростовцева подробно обсуждалась в Чите и Петровском заводе, и сообщение Завалишина опирается на эти обсуждения.

Опять-таки можно было счесть свидетельство Завалишина экстравагантной выдумкой. Но мы располагаем неопровержимым свидетельством такого надежного мемуариста, как соратник и друг Пестеля майор Лорер.

Лорер свидетельствует, что в ноябре 1825 года у Пестеля был план «отправиться в Таганрог и принести государю свою повинную голову с тем намерением, чтоб он внял настоятельной необходимости разрушить общество, предупредив его развитие дарованием России тех уложений прав, которых мы добиваемся».

Но, пожалуй, самое существенное и убедительное известие на эту тему принадлежит Батенькову, человеку, через Штейнгеля к Ростовцеву близкому: «Мне приходило на мысль составить записку о настоящем состоянии России и в конце ее обратить внимание на то, что в ней являются уже политические тайные общества, указав именно на Трубецкого...» Записка предназначалась царю. И мысль эта явилась Батенькову за неделю до 14 декабря.

Как видим, мысль воздействовать на царя сообщением о существовании сильного тайного общества и угрозой его выступления, а равно и возможностью его самоликвидации в случае реформ сверху обсуждалась и обдумывалась в декабристской среде в последние недели перед восстанием. И Ростовцев реализовал ее на свой манер.

Несколько позже он сказал Штейнгелю, что мысль пойти для разговора к Николаю подал ему зять — купец Сапожников. Тот самый, которого Ростовцев хотел принять в тайное общество. У Сапожникова Батеньков провел вечер 13 декабря, а Штейнгель пошел к Сапожникову, побывав возле Сенатской площади уже во время восстания.

Скорее всего, Штейнгель, несмотря на свою близость в эти дни с Ростовцевым, не принимал участия в обсуждении акции подпоручика. Но несомненно, что они обсуждали сложившуюся ситуацию и что Ростовцев прекрасно знал позицию Штейнгеля и Батенькова, существенно отличавшуюся от позиции Оболенского.

(Если в следственных материалах и появились в какой-то момент следы сепаратных совещаний Ростовцева и Штейнгеля, то они вполне могли быть изъяты, как отсекалось все, компрометирующее Ростовцева.)

Для того чтобы яснее понять происходящее, надо ввести понятие декабристской периферии. Был центр движения в Петербурге: Рылеев, Трубецкой, Бестужевы, Пушин, Каховский, Оболенский, Арбузов — люди прочной идеологии, продуманной и внутренне обоснованной. Они в этот период были революционерами по убеждению, а не по ситуации.

И была периферия, в которую входили именно те, кто, будучи готов к действию — разной степени радикальности, — оказался вовлечен в события стечением обстоятельств. Панов и Сутгоф смогли органично примкнуть к декабристскому центру. Но были десятки людей, вовлеченных в водоворот мятежа, которые, будучи сторонниками перемен, не могли вместить в сознание идею радикального переворота. Вождями, идеологами периферии, которая включала в себя широчайший спектр позиций и характеров — от неистового Якубовича до сдержанного, правдивого, идеально порядочного Розена, — фактическими идеологами ее были Батеньков и Штейнгель. И тут неважно, что многие из людей декабристской периферии не знали или почти не знали этих двух подполковников. Они готовы были к восприятию идей именно Батенькова и Штейнгеля.

Один из характерных людей периферии, прапорщик Гвардейского генерального штаба Палицын, так сформулировал на следствии свое представление о цели тайного общества: «При вступлении на престол его императорского высочества Константина Павловича или нынешнего государя-императора должны поднести проект другого порядка вещей, как то было сделано при императрице Анне Иоанновне».

Но это идея Батенькова и Штейнгеля — приглашение государя на определенных условиях. Неважно — Елизавета, Константин, малолетний Александр Николаевич или сам Николай. Важно - без восстания, без захвата власти, без риска уличных боев с вытекающим отсюда волнением городских низов. Спокойные переговоры с претендентом группы лиц, за которыми стоит некая сила. Изменение структуры без ее ломки.

Палицын был лично знаком только с Рылеевым и Каховским, который его принял в общество. Ни тот ни другой не могли внушить ему этот аналог идеи верховников, ибо они эту идею не исповедовали. (От Каховского Палицын слышал о «восстании народа» как средстве достигнуть цели общества). Но это была та идея, к которой Палицын был подготовлен, потому он так и интерпретировал происходящее.

Ростовцев, такой же, как Палицын, - не организационно, но идеологически - человек периферии, пытался подготовить почву для реализации этой идеи, объективно пытался осуществить план Батенькова - Штейнгеля. Ведь сбор войск на Пулковой горе и требования от их имени отнюдь не равнозначны были тому, что задумали Трубецкой и Рылеев...

Александр Бестужев показал на следствии, что о беседе Ростовцева с Николаем он узнал в тот же день. На следствии ростовцевский сюжет был запретным для следователей и подследственных. Первые не хотели компрометировать императорского подопечного, а декабристы считали эту тему постыдной для общества. Потому мы располагаем, увы, крайне скудными данными. Очевидно,

Ростовцев, вернувшись на их общую квартиру, признался Оболенскому в том, что сделал. А Оболенский тут же поехал к Рылееву и Бестужеву. Это было поздно вечером 12 декабря.

Сильные персоны

По свидетельству самого Трубецкого, в последние дни перед восстанием они с Рылеевым виделись ежедневно по два-три раза. Круг их общих занятий нам ясен — обсуждение последних новостей, подсчет сил, прикидка плана. Но что делал князь Сергей Петрович в остальное время? Кроме, естественно, его обычных светских и семейных дел, сведенных в эти дни до минимума.

Кроме дел, общих с Рылеевым, у него был еще свой круг деятельности, который, естественно, не исчерпывался переговорами с Батеньковым.

В известном письме Пущина членам московского тайного общества от 12 декабря есть фраза, которая заставляет задуматься: «Мы всякий день вместе у Трубецкого и много работаем». Никаких собраний и встреч в доме Лавалья, тестя Трубецкого, где жил князь Сергей Петрович, следствием не зафиксировано. Центром организационной деятельности, как мы знаем, была квартира Рылеева. Дом Лавалей с его светским многолюдством был и в самом деле не очень подходящим местом для конспиративных встреч.

Но — «мы всякий день вместе у Трубецкого...». Ясно, что Пущин писал только о себе и Трубецком. «...Много работаем». Но следственное дело Пущина не дает представления о напряженной деятельности. Нам известно, что Пущин ввел в тайное общество Репина и сразу же передал его Оболенскому, активизировал связь тайного общества с гвардейской конной артиллерией, в которой служил до 1823 года, а кроме того, попытался привлечь к заговору своего брата — капитана Михаила Пущина, командира коннопионерного эскадрона, то есть конных сапер. И все... Но Иван Иванович Пущин был не такой человек, чтобы сидеть сложа руки и при этом писать единомышленникам, что он «много работает», готовя восстание. Стало быть, у него было свое поле деятельности. То, что они объединились с Трубецким, — понятно. Ведь из ветеранов движения только они двое да Оболенский были в эти дни в Петербурге.

Скудность показаний на Пущина, краткость его следственного дела объясняется не только его собственной сдержанностью и твердостью, но и тем, что он действовал отдельно. Из практической деятельности Пущина по сбору сил нам известно только его важное свидание с Репиным и переговоры с братом, Михаилом Пущиным, командиром конно-пионерного эскадрона.

Чем же еще занимались Трубецкой и Пущин? С чем приезжал к Рылееву Трубецкой?

Этот сюжет относится к той категории, о которой у нас еще пойдет речь, — категории сюжетов, о которых декабристы старались умолчать. А в данном случае такая возможность была, ибо свидетелей среди подследственных не было, а те свидетели, которые существовали, не попали в поле зрения следствия или же к ним не сочли возможным обращаться.

Примером этой особой деятельности князя Трубецкого были его переговоры в период междуцарствия со старым товарищем и старым соратником по двум тайным обществам — генералом Сергеем Шиповым.

В обширном следственном деле Трубецкого имя Шилова упомянуто лишь дважды — оба раза в связи с ранними декабристскими организациями. А между тем переговоры с командиром Семеновского полка и гвардейской бригады, куда, кроме семеновцев, входили лейб-гренадерский полк и Гвардейский экипаж, были одной из главных забот князя Сергея Петровича в конце ноября — начале декабря 1825 года. Шипов не только носил генеральские эполеты и уже поэтому был для гвардейского солдата лицом авторитетным, но и обладал большим влиянием на свой полк. А участие в выступлении старейшего «коренного» Семеновского полка могло стать решающим фактором. Сергей Шипов, один из основателей тайных обществ, друг Пестеля, казался подходящей кандидатурой на первую роль в возможном выступлении. Его участие было тем более желательным, что полковником другого «коренного» полка был его брат, Иван Шипов, можно сказать воспитанник Пестеля, Трубецкого и Никиты Муравьева. (Он сам говорил об этом после 14 декабря в объяснительной записке по поводу принадлежности к Союзу благоденствия.)

Естественно, что встреча с Шиповым была одним из первых действий Трубецкого по подготовке восстания. Через двадцать лет после событий Трубецкой писал: «По смерти имп. Александра я поехал к Шилову, и мы вдвоем разговаривали о тогдашних обстоятельствах. Он сожалел, что брата его не было в городе, который со 2-м Преображенским батальоном стоял вне города, как и все 2-е батальоны гвардейских полков. С. Шипов говорил, что желает устроить так, чтобы можно было нам втроем поговорить».



С. П. Шипов. Литография К. Бегрова. Около 1830 г.

После ликвидации Союза благоденствия Сергей Шипов не вступил в Северное общество. Но дело было совсем не в том, являлся он формально членом общества или

нет. Важно было принципиальное единомыслие. А в этом Трубецкой не сомневался. После первого обнадеживающего разговора он через несколько дней снова приехал к Шилу. Был уже декабрь. Трубецкой не называет даты, да, скорее всего, и не помнит ее, но по логике событий это должно было произойти после 6 декабря, когда появилась реальная потребность в мобилизации сил.

«...Мы снова стали говорить о тогдашних обстоятельствах и делать разные предположения о будущем императоре. Наконец он сказал: „Большое несчастье будет, если Константин будет императором“.

Я: — Почему ты так судишь?

Он: — Он варвар.

Я: — Но и Николай очень жестокий человек.

Он: — Какая разница! Этот человек просвещенный, а тот варвар».

Не вдаваясь в споры о личности великих князей, Трубецкой заговорил о настроениях солдат, о неестественности второй присяги и возможных волнениях. Но Шипов стоял на своем:

«Он: - Меня солдаты послушают. Я первый узнаю, если Константин откажется, мне тотчас пришлют сказать из Аничкова дворца; я тотчас приведу свой полк к присяге. Я отвечал за него, я дал слово.

Я: — Но можешь ли ты знать, что тебе скажут истину? Кажется, очень желают царствовать, а в таком случае разве не могут прислать тебе сказать, что Константин отказался, и обмануть тебя? Ты приведешь полк к присяге, а окажется, что Константин не отказывался; что ты будешь тогда делать? Ты несешь голову на плаху.

Эти слова поразили Шипова; он отскочил от меня, потом спросил: — Трубецкой, что ж делать?

Я продолжал: - Если даже Константин и откажется, то можем ли мы полагать, что все спокойно кончится? Ненависть солдат, дурное мнение которое вообще все имеют о Николае, разве не может возродить сопротивление и не от одних солдат?

Он: — А разве есть что? Разве говорят о чем?

Я: — Я не знаю, но все может быть.

Он: — Трубецкой, у тебя много знакомых; ты многих знаешь в Совете в Сенате. Если есть что, если о чем поговаривают в Совете, то, пожалуйста, уведоь меня».

Поскольку Шипов на второй — решающий — встрече неожиданно заявил, что Константин «злой варвар», а Николай «человек просвещенный», Трубецкому стало ясно, что он будет поддерживать Николая.

Позиция Шипова поражает своей неестественностью. Умный, либерально мыслящий человек, он не мог не знать истинной цены Николаю. Но и маловероятно, чтобы он притворялся, не доверяя Трубецкому, старому боевому товарищу, другу молодости, соратнику по тайным обществам. Создается впечатление, что Шипов просто не знал, чью сторону принять. Недаром он настойчиво просил Трубецкого извещать его о конъюнктуре.

Позиция Шипова была характерна для того момента — он выжидал. Судя по его прошлому, весьма недавнему прошлому, он совсем не прочь был увидеть Россию конституционной страной. Но рисковать не хотел.

Трубецкой решил — или ему через двадцать лет так казалось, — что Шипов «передался совсем на сторону» Николая. Однако поведение Шипова 14 декабря вовсе не свидетельствует о прочности и убежденности его выбора...

Попытка привлечь Шипова к действию, скрытая Трубецким от следствия и, как мы увидим, далеко не исчерпывающе изложенная им в мемуарах, много говорит об особом круге занятий князя Сергея Петровича. Как правильно сказал Шипов, Трубецкой имел высокие связи, очень важные для видов общества знакомства и явно пытался в эти дни их использовать. Ведь, кроме Шипова, в Петербурге в это время находились и другие — дослужившиеся до генеральских чинов — члены Союза благоденствия. Например, командир лейб-гвардии Кирасирского полка Кошкуль. Естественно было Трубецкому попытаться хотя бы выяснить позиции таких людей.

Кроме того, в его следственном деле проскальзывают следы и других контактов, касающихся именно Совета и Сената. Лидеры тайного общества хорошо усвоили уроки прошлого века. Недаром другом Трубецкого был Михаил Фонвизин, столь подробно знавший историю екатерининского времени. Лидеры общества не хуже Орловых в 1762 году понимали необходимость союза с либеральными вельможами. Тогда это были Панины, Дашкова, Разумовский. А теперь?

Тут можно спросить: почему же Трубецкой через двадцать лет, в безопасном отдалении от событий, вспомнил о Шилове, но не вспомнил о других.

Во-первых, Трубецкой говорит о разных своих контактах, например, с Опочининым, бывшим адъютантом Константина. Во-вторых, записки эти далеки от полноты и завершенности. В-третьих, отдаление еще вовсе не было безопасным для лиц, о которых могла идти речь, поскольку записки датируются 1840-ми годами. Скажем, и Шипов, и Кошкуль были еще живы. (Потому можно усомниться - и этому сейчас увидим подтверждение, - что Трубецкой и о разговоре с Шиповым сказал все, что помнил.)

Быть может, князь Сергей Петрович умолчал бы и о встречах с Шиповым, если бы этот сюжет не был связан с другим, весьма важным.

Трубецкой рассказывает - и косвенные данные подтверждают этот рассказ, - что в конце марта 1826 года к нему в камеру пришел для разговора с глазу на глаз генерал Бенкендорф и сказал, что государь прислал его секретно, вне рамок следствия, выяснить - какие отношения связывали Трубецкого со Сперанским. На полное отрицание Трубецким каких бы то ни было отношений Бенкендорф сказал, что царь располагает свидетельством человека, которому Трубецкой говорил о своих переговорах со Сперанским. «Вы даже советовались с ним о будущей конституции России». По ряду признаков Трубецкой, так и не признавший правдивости этих сведений, решил, что они идут от Сергея Шипова. (Действительно, никто из подследственных не давал таких показаний.) Вот тогда-то князь Сергей Петрович и вспомнил о командире Семеновского полка.

Но странно: в воспроизведенных Трубецким разговорах с Шиповым о Сперанском нет ни слова. Очевидно, речь о нем шла в том «продолжении разговора», которое Трубецкой не раскрыл, не конкретизировал. Между тем он уверенно говорит о Шилове как о возможном источнике информации.

Встречался ли Трубецкой в эти дни со Сперанским? Трудно сказать. Но есть одно любопытное его собственное свидетельство. В так называемых «Заметках, не вошедших в свод» князь Сергей Петрович, рассказывая о подготовке восстания, говорит: «Некоторым лицам было обещано содействие в Государственном совете, если войско, собравшись, будет выведено из города в избежание беспорядков». В

Государственном совете только два человека могли обещать содействие в случае мирной гвардейской демонстрации — Сперанский и Мордвинов.

Из членов тайного общества и близких к нему людей со Сперанским прочнее и дольше всех был связан Батеньков. Мы знаем, что он неоднократно пытался говорить со «своим стариком» о возможных переменах, но, по утверждению Батенькова, Сперанский в первые дни междуцарствия — после присяги Константину — оправдывал свою пассивность отсутствием соратников, а затем стал довольно резко обрывать разговоры на эту тему. Этому можно поверить и это можно объяснить именно близостью Батенькова к Сперанскому. Холодный и умный Сперанский не считал нужным вести разговоры на столь опасную тему с человеком, за которым — он был в этом уверен — не стоит никакой серьезной силы. И совсем другое дело — гвардии полковник князь Трубецкой, с его внушительными родственниками и дружескими связями. Вряд ли Трубецкой — даже если сведения Николая



К. Ф. Рылеев.

Рисунок А. С. Пушкина. 1826 г.

и Бенкендорфа были верными и вышеупомянутая беседа имела место — посвящал Сперанского в подробности заговора. Судя по его собственным словам, лицу, говорившему от имени Государственного совета, представлен был самый мягкий вариант плана — «безмятежный» переворот, переговоры с опорой на мнение гвардии. На это Сперанский в принципе мог согласиться.

Есть и еще одно чрезвычайно существенное свидетельство, подкрепляющее утверждение в «Заметках» Трубецкого. Рылеев показал на следствии: «...Надежда наша основывалась и на словах Трубецкого, который накануне или дни за два до 14 числа, говорил у меня при многих наших членах: „Только бы удалось, а там явятся люди"». Перед этим речь шла именно о правительствующих учреждениях.

Если вспомнить страшную по сути своей судьбу Сперанского, крупного политического деятеля и мыслителя, которому не дали реализовать ни одной из

главных его идей, которого протащили сквозь унижение, страх и безнадежность и вернули в государственные верхи с тем, чтоб он стал исполнителем чужой воли и безропотно служил системе, которую он пытался мягко и постепенно, но ликвидировать, - если вспомнить все это, то можно представить себе, как хотелось Сперанскому получить возможность осуществления реформ, настоящей деятельности, компенсации за унижение и уничтоженные грандиозные политические мечтания его молодости. Сперанский понимал, что все это могло произойти только в случае победы оппозиции.

Михаил Фонвизин писал о Сперанском и Мордвинове: «Обоим им известно было существование тайного общества и сокровенная его цель». Так ли это? И не простое любопытство заставляет нас задаваться этим вопросом. Если и в самом деле в правительствующих верхах были люди, знавшие о тайном обществе и его целях и не только не донесшие, но и сочувствовавшие, - это во много раз повышает вероятность победы заговорщиков, а главное, делает существование общества центральным фактом политического бытия тогдашней России. Это значит, что тайное общество аккумулировало политическую энергию страны в очень высокой степени.

Сочувствие Сперанского и Мордвинова важно было лидерам тайного общества в трех планах. Во-первых, как мощный агитационный прием, который особенно сильно действовал на молодых офицеров, примкнувших к обществу перед самым восстанием. Подпоручик Измайловского полка Андреев 2-й показал на первом допросе: «Надежда общества была основана на пособии Совета и Сената, и мне называли членов первого - господ Мордвинова и Сперанского, готовых воспользоваться случаем, буде мы оный изыщем. Господин же Рылеев уверял меня, что сии государственные члены извещены о нашем обществе и намерении и оно одобряют».

Во-вторых, сановные реформаторы могли сыграть решающую роль в том вполне возможном, по мнению лидеров тайного общества, случае, если междуцарствие затянется и вопрос о наследнике придется решать Совету и Сенату. Вот тут Сперанский и Мордвинов в союзе с гвардейским офицерством могли настоять на конституционных переменах.

В-третьих, они необходимы были сразу после удачного переворота. Ибо первые действия после победы должны были выглядеть следующим образом: «Когда же было рассуждаемо о плане нашего предприятия, — показывал Рылеев, — и я сказал: „До созвания Великого Собора надо же быть какому-нибудь правлению“, — и потом спросил: „Кто оно будет составлять?“, — то Трубецкой отвечал: „Надобно принудить Сенат назначить Временную Правительственную Думу и стараться, чтобы в нее попали люди уважаемые в России, как, например, Мордвинов или Сперанский, а к ним в правителя дел назначить подполковника Батенькова"». Последнее, конечно, было результатом сепаратных переговоров Трубецкого с Батеньковым.

Так прав ли все же Фонвизин — известно ли было Сперанскому и Мордвинову о существовании и планах тайного общества?

Декабрист Завалишин в своих записках рассказывает — вероятно, со слов самого Корниловича: «...Утром, прежде еще, нежели началось движение, Корнилович был послан к Сперанскому объявить ему о предстоящем перевороте и испросить его согласие на назначение его в число членов регентства.

„С ума вы сошли", — отвечал Сперанский, — „разве делают такие предложения преждевременно? Одержите сначала верх, тогда все будет на вашей стороне"».

Трудно представить себе, чтобы Завалишин, который весьма осторожно говорит о связях Сперанского с тайным обществом, выдумал все это.

Во время следствия трем арестованным, хорошо Сперанского знавшим, — Батенькову, Корниловичу и обер-прокурору Сената Краснокутско-му, — задан был один и тот же вопрос. Батенькову он сформулирован был так: «В 7-м часу вечера 13 декабря вы были у господина Сперанского вместе с Корниловичем и Краснокутским. Во время пребывания вашего у господина Сперанского дверь была заперта ключом и в передней не оставалось человека. Объясните: зачем вы были у господина Сперанского, какой имели с ним разговор, что от него слышали и что ему сообщили». Все трое отрицали это свидание. Но у следователей не было достаточных доказательств чтобы припереть допрашиваемых к стенке. Как резонно полагают историки, сведения были получены «оперативным путем» — расспросами прислуги в доме Сперанского. (Следователи и сами опасались получения прямых данных о связях члена Государственного совета с заговорщиками. Они должны были задать вопрос, но не очень настаивать на ответе.) Выдумать эту ситуацию на пустом месте следствие не могло. Какие-то сведения, пускай не полностью адекватные реальности, лежали в основе этих вопросов.

Во всяком случае, следствие точно установило, что Краснокутский и Корнилович были во второй половине дня 13 декабря у Сперанского, а вечером — на последнем собрании у Рылеева, где Краснокутский сообщил о времени завтрашней присяги. Узнал он об этом в доме Сперанского.

Впоследствии дочь Сперанского вспоминала, что накануне восстания многие из заговорщиков были в доме ее отца. Само по себе это говорило бы только об атмосфере в доме Сперанского, если бы не упорные косвенные свидетельства более тесных связей знаменитого реформатора с заговорщиками, чем это выяснилось на следствии. Но все это именно косвенные сведения. И нам важно не столько доказать организационную причастность Сперанского к заговору, сколько показать, что в глазах многих современников Сперанский был естественным союзником тайного общества. Во всяком случае — его умеренного крыла.

Любопытно в плане психологическом, что одним из таких современников был император Николай: «В числе показаний на лица, но без достаточных улик, чтоб приступить было можно к допросам, были таковые на Н. С. Мордвинова, сенатора П. И. Сумарокова и даже на М. М. Сперанского. Подобные показания рождали сомнения и недоверчивость, весьма тягостные, и долго не могли совершенно рассеяться». Они до конца никогда не рассеялись...

О Мордвинове Николай еще определеннее писал в письме Константину 23 декабря: «У меня весьма основательные подозрения, чтоб быть уверенным, что все это восходит до Государственного совета, именно до Мордвинова...».

С Мордвиновым, как и со Сперанским, многие лидеры тайного общества были достаточно близко знакомы — Трубецкой, Рылеев, Николай Бестужев. Но и здесь, как и в случае Сперанского, дело не в прямых организационных связях, которых скорее всего не было, а в принципиальной возможности союза.

Получив от Николая первые сведения об арестованных, Константин ответил ему соображениями, в данном случае крайне характерными: «...Список арестованных

содержит только имена лиц, до того неизвестных, до того незначительных самих по себе и по тому влиянию, которое они могут иметь, что я вижу в них только передовых охотников и застрельщиков шайки, заправилы которой остались сокрытыми до времени. Никаких остановок, пока не будет найдена исходная точка всех этих происков!»).

В ответ на это Николай и сообщил о подозрениях на Мордвинова.

Мнение Константина было ошибочно в прямом, конкретном смысле, но вполне основательно в смысле более общем. Люди 14 декабря действительно были застрельщиками, передовым отрядом дворянского авангарда, который в последний раз попытался вернуться в активный исторический слой, из которого его вытеснили кондотьеры самодержавия - бюрократическая элита...

Если теперь вернуться к началу главы, к особому кругу деятельности Трубецкого и Пушина, то ясно, в чем она могла заключаться. Это были настойчивые попытки заручиться поддержкой предполагаемых единомышленников как в гвардейских верхах, так и в верхах правительственных. И это не было утопией. Сперанскому и Мордвинову в тот момент Трубецкой, Батеньков, Штейнгель были ближе, чем окружение Николая. Возможные политические — пусть временные! — союзы в ситуации междоусобия были парадоксальны. Недаром же Пестель и его друзья так надеялись на командира 2-й гвардейской бригады Сергея Шипова, что прочили его в случае победы революции в военные министры.

Характер и масштабы этой особой деятельности Трубецкого и Пушина нами только угадываются. «Мы всякий день вместе у Трубецкого и много работаем...»

Надо иметь в виду, что реальные связи лидеров тайного общества с либералами в верхах — один из тех малоизученных аспектов событий ноября-декабря 1825 года, о которых уже шла речь. Мы можем представить себе только контуры ситуации. Есть все основания предполагать, что, делая ставку на сотрудничество с Сенатом после захвата власти, понимая огромное политико-психологическое значение этого сотрудничества — манифест, выпущенный Сенатом, прочно легитимизировал бы результаты победы заговорщиков, - лидеры тайного общества старались обеспечить себе поддержку влиятельных персон.

Это чрезвычайно существенный момент, ибо, готовясь к захвату власти, лидеры тайного общества, безусловно, продумывали способы ее легитимизации без прямого участия Константина.

Различные источники дают нам пять имен сановников, на которых делали ставку заговорщики. Кроме членов Государственного совета Мордвинова и Сперанского, были названы имена сенаторов — тайного советника Дмитрия Осиповича Баранова, тайного советника Павла Ивановича Сумарокова и действительного тайного советника Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, отца трех братьев-декабристов - Матвея, Сергея и Ипполита.

О возможной поддержке заговорщиков после победы восстания Барановым и Муравьевым-Апостолом говорил на следствии Николай Бестужев, чьи сведения всегда отличались точностью.

Либеральные настроения Муравьева-Апостола старшего известны. Две другие фигуры нуждаются в изучении. Здесь можно только напомнить, что



И. И. Пущин.

Рисунок А. С. Пушкина. 1826 г.

Сумароков, племянник знаменитого Александра Сумарокова, и сам был литератором, в частности автором драмы «Марфа Посадница». Выбор в качестве сюжета судьбы героини республиканского Новгорода, вдохновлявшей борьбу против московского деспотизма, многозначителен.

Кроме Трубецкого, вести переговоры на этом уровне мог только Пущин, чей отец Иван Петрович Пущин был сенатором.

И здесь надо вернуться к записке Пущина, кругу его деятельности и его сепаратному сотрудничеству с Трубецким.

Пущин и Трубецкой были ветеранами тайных обществ, последовательно прошедшими Союз спасения, Союз благоденствия и Северное тайное общество. У них были все основания полностью полагаться друг на друга.

На первом допросе в Зимнем дворце Трубецкой показал: «Тайное общество, которое хотело составить в России конституционную монархию, существовало некогда и потом разрушено. Остались некоторые рассеянные члены. Некоторые из поименованных Пущиным мне известны, других я не знаю». Отчего возник здесь Пущин, которого еще не допрашивали и который, соответственно, никого поименовать не мог?

Дело в том, что Трубецкому показания Рылеева выданы были за показания Пущина. Почему?

После того как Рылеев дал первое официальное показание, в котором был назван Пущин, у него состоялся неофициальный разговор с Бенкендорфом, часть которого Бенкендорф вписал потом в дело. Но перед этой записью рукой Бенкендорфа написано: «Иван Иванович Пущин, коллежский ассессор...». Ясно, что они с Рылеевым говорили о Пущине, а из этого разговора следователям — Николаю, Бенкендорфу и Толю — стала ясна особая близость Пущина и Трубецкого, что и

привело к вышеупомянутой подтасовке — следователи решили, что показания Пушина будут для Трубецкого убедительнее показаний Рылеева.

Трубецкой и сам подтвердил эту значимость Пушина. В первом же показании, объясняя логику событий, он говорил: «Между тем, приехал сюда из Москвы Пущин, которого я видел несколько раз, он приезжал ко мне и был у Рылеева».

И вряд ли случайно именно Пущин вместе с главой тайного общества Рылеевым должен был предъявить Сенату манифест о перемене правления и созыве Собора для определения дальнейшей судьбы страны...

И есть основания предположить, что если особым кругом занятий Трубецкого в дни перед восстанием были переговоры с высокопоставленными военными, то сферой деятельности Пушина стало налаживание связей с сенаторами.

Вместе они должны были подготовить влиятельную опору в верхах, необходимую для организации власти после победы. И это еще раз свидетельствует о тщательности и продуманности подготовки и самого переворота, и его результатов.

Что задумали Трубецкой и Рылеев

В ночь с 14 на 15 декабря во время обыска в кабинете Трубецкого был найден написанный его рукой документ следующего содержания: «В манифесте Сената объявляется:

1. Уничтожение бывшего правления.
2. Учреждение временного, до установления постоянного выборными.
3. Свободное тиснение, и потому уничтожение цензуры.
4. Свободное отправление богослужения всем верам.
5. Уничтожение права собственности, распространяющееся на людей.
6. Равенство всех сословий перед законом, и потому уничтожение военных судов и всякого рода судебных комиссий, из коих все дела поступают в ведомство ближайших судов гражданских.
7. Объявление права всякому гражданину заниматься чем он хочет, и потому дворянин, купец, мещанин все равно имеют право вступать в воинскую и гражданскую службу и в духовное звание, торговать оптом и в розницу, платя установленные повинности для торгов. Приобретать всякого рода собственность, как то: земли, дома в деревнях и в городах. Заключать всякого рода условия между собой, тягаться друг с другом перед судом.
8. Сложение подушных податей и недоимок по оным.
9. Уничтожение монополий, как то: на соль, на продажу горячего вина и проч., и потому учреждение свободного винокурения и добывания соли, с уплатою за промышленность с количества добывания соли и водки.
10. Уничтожение рекрутских наборов и военных поселений.
11. Убавление срока службы военной для нижних чинов, и определение оного последует по уравнении воинской повинности между всеми сословиями.
12. Отставка без изъятия нижних чинов, прослуживших 15 лет.

13. Учреждение волостных, уездных, губернских и областных правлений и порядка выборов сих правлений, кои должны заменить всех чиновников, доселе от гражданского правительства назначаемых.

14. Гласность судов.

15. Введение присяжных в суды уголовные и гражданские.

Учреждает правление из 2-х или 3-х лиц, которому подчиняет все части высшего управления, то есть все министерства, Совет, Комитет министров, армии, флот. Словом, всю верховную исполнительную власть, но отнюдь не законодательную и не судную. Для сей последней остается министерство, подчиненное временному правлению, но для суждения дел, не решенных в нижних инстанциях, остается департамент Сената уголовный и учреждается департамент гражданский, кои решают окончательно, и члены коих останутся до учреждения постоянного правления. Временному правлению поручается приведение в исполнение:

1-е. Уравнение всех прав сословий.

2-е. Образование местных волостных, уездных, губернских и областных правлений.

3-е. Образование внутренней народной стражи.

4-е. Образование судной части с присяжными.

5-е. Уравнение рекрутской повинности между сословиями.

6-е. Уничтожение постоянной армии.

7-е. Учреждение порядка избрания выборных в палату представителей народных, кои должны утвердить на будущее время имеющий существовать порядок правления и государственное законоположение».

Этот манифест составлен был князем Трубецким, скорее всего, в последние дни перед восстанием (хотя существуют и другие версии). По своей радикальности он превосходит все проекты, которые появлялись в тайном обществе в период междоусобицы. Манифест этот вообрал в себя главное из того, что обсуждалось на заседаниях общества с момента его возникновения. И в этом смысле документ этот был программой ветеранов движения - Трубецкого, Оболенского, Пущина. И разумеется, Рылеева. Нужна была длительная психологическая самоподготовка, в сомнениях и спорах рожденная политическая традиция, чтобы решиться обнародовать документ, сокрушающий основы системы, а не просто улучшающий, корректирующий ее.

И когда читаешь манифест Трубецкого, то становится ясно, что все компромиссные варианты, обсуждавшиеся Трубецким и Рылеевым до 11-12 декабря с Батеньковым и Штейнгейлем, были тактическим лавированием, разведкой, выяснением возможности объединения сил. А истинная позиция ядра тайного общества открылась именно в канун восстания - в манифесте Трубецкого, который, естественно, согласовал его с Рылеевым.

И становится ясно, что на такой основе любые переговоры с членами императорской фамилии были абсолютно невозможны.



Гвардия на маневрах. Силуэт работы Ф. П. Толстого. 1820-е гг.

Возможность таких переговоров и в компромиссной форме весьма сомнительна. Когда Трубецкой на допросе упомянул об этой идее, то великий князь Михаил Павлович спросил: «Кто бы вступил с вами в переговоры?». И на ответ: «Государь» — закричал с гневом: «С вами? с бунтовщиками?!». Для самодержавного сознания сама идея равных переговоров с подданными, компромиссов, договора с ними была невыносима и не-представима.

Ни Трубецкой, ни Рылеев не были столь наивны, чтобы предполагать возможность добровольной самоликвидации самодержавия. А манифест предусматривал — еще до определения Собором формы правления — такие изменения в политической и экономической системе государства, что ни о каком самодержавии уже и речи быть не могло.

Отсюда неизбежно следовал вывод: сделать подобную программу политической реальностью можно было только путем вооруженного переворота. Речь могла идти о захвате власти, а не о переговорах с компромиссным решением.

Это, в свою очередь, опять-таки означает, что ядро общества, будучи в явном меньшинстве, до последних дней вынуждено было считаться с мнением умеренной периферии. (Не надо забывать, что, скажем, Щепин-Рос-товский, без которого было не поднять Московский полк, вообще не думал ни о какой конституции, даже в самом умеренном варианте, а стоял за возведение Константина, то есть псевдолозунг принимал за истинный, и знакомить его с радикальной программой было просто невозможно — она оттолкнула бы его.) И общий план действий, разработанный Трубецким и Батеньковым около 8 декабря, был для группы Трубецкого — Рылеева временным, вынужденным. Ибо трудно предположить, что положения манифеста родились в их головах за два дня до восстания. Нет, это была давно продуманная программа-максимум.



Гвардия на маневрах. Силуэт работы Ф. П. Толстого. 1820-е гг.

Теперь пора выяснить, каков же был истинный план действий, при посредстве которого Трубецкой и Рылеев надеялись захватить власть в Петербурге.

Как говорилось уже, на следствии вожди общества старались скрыть окончательный радикальный вариант плана, настойчиво предлагая следователям вариант мягкий — сбор полков и переговоры.

Александр Бестужев, человек, безусловно, осведомленный, так представил план действий: «Якубовичу с Арбузовым, выведя экипаж, идти поднимать Измайловский полк, а потом спуститься по Вознесенской на площадь. Пушину (имеется в виду Михаил Пущин. — Я. Г.) вести с ними эскадрон. Брату Николаю и Рылееву находиться при экипаже. Мне поднять Московский полк и идти по Гороховой. Сутгофу вывести свою роту, а если можно и другие, по льду на мост и на площадь (Панов повел ошибкою по набережной. — Я. Г.). Финляндскому полку — через Неву. Полковник Булатов должен был ждать лейб-гренадер, а кн. Трубецкой все войска, чтобы ими командовать и там сделать дальнейшие распоряжения». Здесь сказано многое. Но нет главного - захвата дворца. От этого Бестужев всячески уклонялся, ссылаясь на свою неосведомленность и на то, что окончательные решения должен был принять Трубецкой по ходу дела.

На следствии Трубецкой держался подобной тактики до 6 мая. Основные сведения о плане содержатся в показаниях Рыльева. Но в делах других Декабристов имеются ясные подтверждения его показаний.

Однако и показания Рыльева, и показания рядовых членов общества Разрознены и фрагментарны, и общая картина вырисовывается только при их сопоставлении.

В ночь на 15 декабря на первом допросе во дворце Рылеев показал: «Положено было выйти на площадь и требовать Константина Павловича как императора, которому уже присягали, или, по крайней мере, его приезда

в Петербург... Князь Трубецкой должен был принять начальство на Сенатской площади».

Но уже 24 декабря на допросе, отвечая на конкретный вопрос о роли Якубовича, он сказал: «Капитану Якубовичу назначено было находиться под командою Трубецкого с экипажем Гвардейским и в случае надобности идти ко дворцу, дабы захватить императорскую фамилию...».

Это показание было чрезвычайно важно, и следователи, ухватившись за него, стали с бульдожьим упорством добиваться всей правды.

После этого Якубовичу задан был вопрос: «Вам поручено было от сообщников взять дворец, для какой цели? и что должны были вы предпринять, если бы вам удалось успеть в том?»

Якубович ответил: «Не взять дворец, а идти с войсками на Дворцовую или Петровскую площадь мне поручило общество и кричать „Ура, Константин!“, пока не соберется Совет и Сенат». Это была полуправда. Якубовичу вовсе не хотелось признаваться, что он должен был брать штурмом Зимний дворец. А кроме того, он, как мы увидим, сознательно смешал две тактические идеи, два плана. Но характерно здесь упоминание о Дворцовой площади как конечной цели.

Но 24 апреля на допросе Рылеев сказал определеннее и подробнее: «Дворец занять брался Якубович с Арбузовым, на что изъявил свое согласие Трубецкой. Занятие ж крепости и других мест должно было последовать по плану Трубецкого после задержания императорской фамилии».

Трубецкой упорно отрицал составление им радикального плана военного переворота. В том числе и планирование захвата дворца, крепости и других правительственных мест. Но 6 мая, измученный почти пятимесчными допросами, на очной ставке с Рылеевым он подтвердил его показания. «Занятие дворца было положено в плане действий самим кн. Трубецким», — показал Рылеев. Трубецкой «согласился на показание подпоручика Рылеева».

Несомненность этой центральной тактической задачи восстания подтвердили и другие осведомленные члены общества. «В день происшествия было препоручено дворцу взять Якубовичу, в коем должен был он арестовать всю царскую фамилию, но в обществе говорили, что буйное свойство Якубовича, конечно, подвергает жизнь оных опасности», — утверждал Каховский.

(С Каховским связан важный для понимания плана эпизод: когда во время одного из общих совещаний Рылеев сказал, что в Петербурге «все перевороты происходили тайно, ночью», — память о прошлом веке и 1801 году! - то Каховский на это ответил: «Я думаю, что и теперь, если начинать здесь, то лучше ночью; всеми силами идти ко дворцу, а то смотрите, господа, пока мы соберемся на площадь... да вы знаете, что и присяга не во всех полках в одно время бывает, а около дворца полк Павловский, батальон Преображенский, да и за конную гвардию не отвечаю. Я не знаю, что там успел Одоевский, так, чтобы нас всех не перехватили, прежде чем мы соединимся». На что Рылеев отвечал: «Ты думаешь, солдаты выйдут прежде объявления присяги?»

Надо ждать, пока им ее объявят». Лидеры общества, разумеется, понимали, что было бы эффективнее ударить внезапно ночью. Но они трезво сознавали и другое — без официального объявления переприсяги, которая неизбежно потрясет и возбудит солдат, им не поднять полки. Они вынуждены были оставить первый шаг правительству.)

Поручик Сутгоф, хотя и был весьма деятельным и твердым заговорщиком, не имел подробного представления о плане действий, что соответствовало конспиративным принципам, которых лидеры общества придерживались довольно последовательно. Но 13 декабря Рылеев счел своевременным дать Сутгофу ясные указания: «Рылеев говорил мне, чтобы стараться не допускать к присяге солдат и, ежели удастся, то привести их на Петровскую площадь; на вопрос же мой: „Что мы будем там делать?“ — он отвечал: „Вы соединитесь там с Московским и Финляндским полками и получите приказание от кн. Трубецкого, который будет и командиром вашим, я же и Якубович, — говорил он, — возьмем Гвардейский экипаж, с которым зайдем за Измайловским полком и отправимся к Зимнему дворцу“».

Николай Бестужев в воспоминаниях воспроизводит один из эпизодов 13 декабря на квартире у Репина:

«В 10 часов приехал Рылеев с Пушиным и объявил нам о положенном на совещании, что в завтрашний день, при принятии присяги, должно поднимать войска, на которые есть надежда, и, как бы ни малы были силы, с которыми выйдут на площадь, идти с ними немедленно во дворец.

— Надобно нанести первый удар, — сказал он, — а там замешательство даст новый случай к действию; итак, брат твой ли Михаил с ротой, или Арбузов, или Сутгоф — первый, кто придет на площадь, тотчас отправится ко дворцу».

Здесь есть некоторые неточности, но нам важно центральное утверждение Бестужева, наверняка справедливое, — для Рылеева первой целью удара был Зимний дворец.

В периферийных следственных делах есть элементы плана, который явно шел от Рылеева и обдумывался еще до междуцарствия или в самом его начале. Подпоручик лейб-гренадерского полка Андрей Кожевников, вспоминая то, что говорил ему в первой половине ноября Каховский о будущем действии общества, показал: «Общество сие долженствовало окончиться в сем, 1826 году. В назначенный день мгновенно собраться войску на Дворцовой площади, где уже будут ожидать его люди, назначенные для принятия над ними временного начальства, и там, возвестив волюность народу, предложатся новые законы».

Подпоручик Гвардейского генерального штаба Искрицкий показал, что около 6 декабря Оболенский уговаривал его «в случае перемены присяги не присягать и явиться на Дворцовую площадь, где нам будет сказано, что нужно делать».

Ясно, что эти первоначальные наброски радикального плана связаны с Зимним дворцом.

Прямые и косвенные свидетельства можно было бы множить. Но нет в этом смысла. Из тех главных свидетельств, которые здесь приведены, можно выстроить достаточно стройную схему боевого замысла Трубецкого. (Сам Рылеев сказал на одном из допросов: «В совещаниях участвовали все; план же предложен был Трубецким».)

План был прост и надежен. Гвардейский морской экипаж вместе с Измайловским полком — а если измайловцы не подымутся, то без них — должен был идти к Зимнему дворцу, взять его штурмом и арестовать императорскую фамилию и собравшийся там для присяги гвардейский генералитет. Таким образом, правительственная партия была бы обезглавлена и некому было бы координировать сопротивление перевороту. Это и имел в виду Трубецкой, когда говорил Рылееву, что для переворота хватит одного надежного полка. Остальным восставшим полкам - сколько бы их ни было - предписывалось спешить к Сенату, на сборное место.

Для успеха переворота восставшим необходимо было захватить две позиции - Зимний дворец и Сенат. Захватом дворца и арестом императорской фамилии ликвидировалось старое правление, Сенат нужен был, чтобы провозгласить новое.

Без захвата дворца, по замыслу Трубецкого, овладение Сенатом теряло смысл, ибо в случае сохранения Николаем свободы и какой-то власти вступал в действие батеньковский вариант — переговоры с претендентом.

Именно поэтому главная и самая надежная сила тайного общества — Гвардейский морской экипаж — направлена была на дворец. Караул дворца насчитывал не более трехсот человек, из которых половина отдыхала, а половина была рассредоточена по внешним и внутренним постам.

Для того чтобы овладеть Сенатом и удержать его, достаточно было одной роты. Для штурма дворца этого было мало. По свидетельству Николая Бестужева, штабс-капитан Репин предостерегал Рылеева против попытки овладеть дворцом малыми силами: «...Репин заметил Рылееву, что дворец слишком велик и выходов в нем множество, чтобы занять его одною ротою, что, наконец, Преображенский батальон, помещенный возле дворца, может в ту же минуту быть введен туда через Эрмитаж и что отважившаяся рота будет в слишком опасном положении...» Это был один из моментов подспудного конфликта внутри тайного общества между теми, кто мыслил категориями хорошо обеспеченной боевой операции, и теми, кто оперировал категориями революционной импровизации.

Поскольку захват Сената (его караул составлял тридцать пять штыков) требовал малых сил, на него в первую очередь ориентирован был ненадежный Московский полк, в котором рассчитывали на одну-две роты.

Те части, которые оказались бы перед Сенатом, во-первых, гарантировали бы контроль над ним тайного общества, а кроме того, составили бы резерв, который после захвата дворца мог быть брошен на выполнение любой второстепенной задачи.

Маршрут лейб-гренадер из казарм к площади мог пройти (для роты Сутгофа прошел) через Петропавловскую крепость с попутным овладением ею. Трубецкой показал, что такой вариант возникал, но он отверг его. Трубецкой хотел все наличные силы — кроме тех, кто пойдет на дворец, — прежде всего сосредоточить на Сенатской площади, чтобы в случае контрмер правительства иметь возможность



Зимний Петербург. Литография К. Бегрова. Фрагмент. 1820-е гг.

подкрепить ту часть, которая будет удерживать дворец, и вообще — действовать по обстоятельствам, как сам он говорил.

Разумеется, Петропавловская крепость — если бы удалась основная операция — была бы занята лейб-гренадерами, поскольку охранял ее караул этого полка. Крепость, с ее артиллерией, могла стать базой восставших войск при попытке контрпереворота. Недаром Батеньков, опытный боевой офицер, считал нужным, ведя переговоры с Николаем, потребовать контроля Временного правления над крепостью в качестве гарантии соблюдения императором своих обещаний. Об этом же говорил и Оболенский.

(Оболенский сообщил на следствии и еще об одном элементе общего замысла: после победы восстания потребовать от Сената назначения на командные должности в гвардии людей, близких тайному обществу, - стало быть, среди генералов такие были.)

Таким образом, боевой план Трубецкого состоял из двух основных компонентов: первый — захват дворца ударной группировкой и арест Николая с семьей и генералитета, второй — сосредоточение всех остальных сил у Сената, установление контроля над зданием Сената, последующие удары в нужных направлениях — овладение крепостью, арсеналом.

План Трубецкого был именно боевой план. Осуществление общего политического плана началось бы после того, как Рылеев и Пущин вручили бы Сенату манифест для обнародования.

Главная роль в реализации боевого плана предназначалась Якубовичу.

Начальником штаба восстания Трубецкой назначил Оболенского, что было естественным как по его месту в тайном обществе, так и по его опыту старшего адъютанта гвардейской пехоты.

Остальные назначения и, главное, хронология действий должны были определиться позже — в канун присяги.

При отсутствии непредвиденных обстоятельств план был вполне надежен. Трех полков, на которые с разной степенью уверенности рассчитывали вожди общества, было достаточно для его успеха.

Полковник Г. С. Габаев, опытный офицер и крупный военный историк, писал в неопубликованной работе «14 декабря 1825 года с военной точки зрения»: «Трубецким был составлен недурной план действий. Им был разработан план овладения Сенатом, принуждения сенаторов к составлению акта в духе конституционной идеологии восставших, овладения крепостью и дворцом» *.

Имея в голове этот план, Трубецкой поехал вечером 12 декабря к Рылееву.

Батеньков и Якубович

Постоянный и настойчивый интерес, который лидеры общества проявляли к подполковнику Батенькову, вызван был не только незаурядностью его личности. Интерес этот имел и чисто практическую подоплеку. Кроме тех связей с оппозиционными верхами, которые Рылеев и Александр Бестужев подозревали у Батенькова, у Рылеева и Трубецкого в последние дни перед восстанием появился очень определенный и важный расчет на опытного в административной деятельности подполковника.

В случае образования Временного правления Трубецкой и Рылеев прочили Батенькова на пост правителя дел при членах правления — Сперанском и Мордвинове. Он не только связывал бы их с тайным обществом, но и осуществлял бы контроль над ними.

Намерение это сообщено было Батенькову, очевидно, не ранее 9 декабря. Во всяком случае, в плане, который он обсуждал с Трубецким около 8-го числа, нет никаких указаний на его будущую роль.

Сам Батеньков несколько раз возвращался на следствии к этой теме, будучи в разных душевных состояниях, что говорит о достоверности его сообщения.

«...Узнав по намекам, что я могу быть назначен в число членов Временного правления, предался разным честолюбивым мечтаниям. Мне представилась надежда играть первую роль, почему я и говорил Рылееву, чтоб не избирать Сперанского, а лучше одну духовную особу, а именно архиепископа Филарета, яко лицо почтенное и уваженное».

Батеньков был, как уже говорилось, человеком двуединой натуры — со строгой математичностью ума он сочетал страсть к мечтаниям и проектам.

* ОР РНБ, ф. 1001, № 296, с. 13. (Была прочитана как доклад в 1925 году.)

Причем мечтаниями и проектами своими он стремительно увлекался. В свое время он легко вошел в союз с деятелями тайного общества и потому также, что перед этим построил в уме грандиозный чертеж собственного тайного общества. Батеньков был

куда больший мечтатель, чем Рылеев и эта склонность к проектам и умение убедить себя в их осуществимости была унаследована им от XVIII века.

Если Трубецкой и Рылеев думали о конкретных политических мерах на 14-15 декабря, а дальнейшее предоставляли Временному правлению, то Батеньков уносился мыслью далее:

«Когда узнал я через Рылеева, что общество имеет достаточно силы, чтобы решиться на покушение 14 декабря... и что он избирает меня в число членов Временного правительства, я, сколько по уверенности в том, что сия перемена полезна государству, столько и для предстоящей мне лично славы, принял участие в сем покушении, тем более что оно представляло вид законности.

Кроме меня назначались членами Временного правительства господа Мордвинов и Сперанский; но я не желал, дабы последний из них действительно вступил в оное, зная, что при нем не мог бы уже я играть главной роли... Вместо Сперанского желал назначить одну духовную особу и, наконец, полагал, что Трубецкой скоро может заменить Мордвинова, которого считали нужным на первый раз, единственно для имени.

Таким образом, я имел надежду воспользоваться предприятием тайного общества, утвердить связи с первыми людьми учреждением родовой аристократии и, продолжив существование Временного правительства в виде регентства, управлять государством именем его высочества Александра Николаевича, занять в истории место истинного утвердителя в России представительного правления и прославиться введением в действо многих полезных предположений».

Этот текст требует некоторого анализа.

Во-первых, достойно замечания то обстоятельство, что Батеньков категорически называет себя будущим членом Временного правления, тогда как лидеры общества хотели видеть его только правителем дел правления.

Во-вторых, до самого конца Батеньков остался на позициях, принципиально отличных от позиции Рылеева и Трубецкого. Он остался сторонником переговоров и - в любом случае - сохранения на троне династии Романовых: «В случае принятия государем Николаем Павловичем условий не принимать места во Временном правлении и перейти к нему». То есть ограничиться сотрудничеством с конституционным монархом, не стараясь о созыве Собора и радикальном изменении государственной системы. Далее: «В случае отречения государя и объявления наследника принять место во Временном правлении, дабы обратить оное в регентство...»

Все варианты, которые до последней минуты продумывал Батеньков, Исключали такие чисто революционные моменты, как захват дворца, арест императорской фамилии, отстранение династии от трона.

Более того, во время общих совещаний у Рылеева Батеньков был единственным, кто убежденно возражал против захвата дворца. «Кто-то действительно говорил, что необходимо овладеть дворцом, но я сказал против сего целую речь». Этот эпизод подтвердили и другие декабристы.

Отсутствие в плане захвата дворца и ареста Николая неизбежно сводило действие к демонстрации и переговорам.

В-третьих, у Батенькова очевидны «бонапартистские» тенденции, которых и следа нет у Трубецкого и Рылеева. Трубецкой исключал свое участие во Временном

правлении. Батеньков считает это вполне возможным. Рылеев, Трубецкой и вся их группировка с полной искренностью готовы были вручить власть Сперанскому и Мордвинову. Для Батенькова это - политический маневр, направленный на конечное овладение этой властью.

Батеньков метался между пониманием необходимости перемен и нежеланием производить эти перемены огнем и штыками. Арбузов свидетельствует, что, попав 1 декабря к Рылееву, он поразился отчаянию Батенькова, сокрушенного тем, что упущена была 27 ноября мирная возможность перемен.

Драма Батенькова в декабрьские дни 1825 года была драмой убежденного реформиста, оказавшегося перед возможностью революционного действия и пытавшегося найти приемлемый путь — вплоть до узурпации власти в благородных целях реформ.

Накануне восстания Трубецкой и Батеньков принципиально разошлись.

Наконец, в-четвертых, Батеньков говорит, что Мордвинова «считали нужным на первый раз». Это многозначительная оговорка. Ни Рылеев, ни Трубецкой, исполненные уважения к адмиралу, так не считали.

Речь идет о каких-то единомышленниках Батенькова.

В канун восстания — в последние два-три дня — Батеньков прекрасно видел стремительную радикализацию планов общества. Для того чтобы отстоять собственную позицию, ему нужна была опора.

В последние дни перед восстанием лидеры общества уже знали, что Батеньков вступил в альянс с Якубовичем.

На Якубовича возлагалось много надежд. С его внешностью, красноречием — специфическим армейским красноречием, действующим на солдат, — с его боевым опытом и боевой славой, он должен был сыграть ведущую роль в процессе захвата власти. (Хотя потом, после победы, Трубецкой и Рылеев планировали принять меры против возможного бонапартизма Якубовича.) Якубович предназначался «для увлечения солдат» еще до междоусобия и в этом качестве был представлен Батенькову в конце октября. «...Мы познакомили Батенькова с Якубовичем, и они друг друга полюбили», — рассказывал Александр Бестужев.

Они тщательно старались на следствии скрыть свой альянс. Якубович на допросах ни одного раза не упомянул имени Батенькова. Батеньков пытался представить их с Якубовичем знакомство дальним и случайным. («Якубовича видал один только раз у Рылеева на именинах за обедом»-) Но потом несколько раз проговорился, будучи в состоянии возбужденном.



*Великий князь Константин Павлович.
Гравюра с портрета работы Виньерона.
1810-е гг.*

После 6 декабря, когда пошли настойчивые слухи об отречении или отстранении от трона Константина, Батеньков, по его словам, встретившись с Якубовичем, «говорил ему, что молодежь наша горячиться умеет, но смешно на них в чем-нибудь надеяться, что вернее будет, оставив их в мечтах о конституции, закричать перед толпой в пользу удаляемого государя».

Такого рода беседы были у них не раз. «Я решился зайти к Якубовичу и застал у него какого-то адъютанта, вероятно, члена общества, который, однако, скоро уехал. Мы разговаривали долго, я убеждал Якубовича, чтоб он отстал от молодежи, которая на словах только храбрится, а лучше бы сам собрал толпу и заставил бы, по крайней мере, кого-нибудь из членов императорской фамилии вести с собою переговоры».

На одном из устных допросов Батеньков показал, что говорил Якубовичу: «Чего думать о планах всего общества! Вам, молодцам, стоило бы только разгорячить солдат именем цесаревича и походить из полка в полк с барабанным боем, так можно наделать много великих дел». Помимо прочего, любопытно, что он имеет в виду не одного Якубовича — «вам, молодцам...».

Батеньков последовательно старался отколоть Якубовича от группы Рылеева и обратить в собственную, хотя бы тактическую, веру. И ему это удалось.

Излагая на следствии свое представление о плане действий, Якубович сформулировал его так: «Я был уверен, что войска соберутся пред Сенат, восклицаниями созовут Совет и Сенат, и царствующий государь, раз уж Добровольно присягая на подданство, увидя любовь и войск к цесаревичу, не усомнится новою жертвою своего честолюбия заслужить бессмертную славу от благодарного потомства и любовь современников».

Эти войска, которые, собравшись, криками созывают Совет и Сенат-плоть от плоти батеньковской идеи «собрать толпу и заставить» вести с собой переговоры, от его предложения «в барабан приударить», чтоб собрать петербургских жителей и вести мирные переговоры у всех на глазах или же на глазах собранной толпы народа вывести полки из города для переговоров.

В деле Батенькова есть решающее показание Александра Бестужева на этот счет: «Еще когда Рылеев был болен, я застал его (Батенькова. - Я. Г.) там, но как там были посторонние, то он уехал к Якубовичу. На другой день, быв у Якубовича, я заметил, что он толкует об начальстве над войсками и как бы он сдал их Константину Павловичу (важный момент! - Я. Г.). Это меня удивило, Рылеева тоже, ибо Трубецкой был уже выбран, и мы согласились с Рылеевым, что эту мысль, верно, подал ему Батеньков». Происходило это после 9 декабря - «Трубецкой был уже выбран». Увлечшись Якубовичем по его приезде в Петербург, Рылеев и Александр Бестужев приучили его к мысли, что он будет военным вождем грядущего восстания. «Якубович обещал увлечь Измайловский полк, а мы, признаемся, полагали на его красноречие и фигуру большую надежду». Позже, на следствии, тот же Александр Бестужев скажет: «Начальником войск избран был Трубецкой, хотя и думал быть им несколько времени Якубович». В этой фразе спрессована драма Якубовича. И не только Якубовича.

Приезд Трубецкого и выборы его диктатором отодвинули «храброго кавказца» на второй план. Если бы ситуация была сомнительной, Якубович без особых терзаний отошел бы от общества. Но после 9 декабря победа заговорщиков представлялась весьма реальной. И Якубович видел, что он упускает возможность войти в историю как вождь победоносного восстания и освободитель России. Лавры Риго — ни больше ни меньше... Альянс с Батеньковым открывал перед ним новые возможности. Никто из декабристов, составлявших ядро организации, равно как и никто из молодых офицеров, органично примкнувших к этому ядру (Сутгоф, Панов, Арбузов), не дал бы увлечь себя игре самолюбия и честолюбия. Якубович был героем. Но он был героем периферии — с ее размытостью политических представлений и неустойчивостью.

Призыв Батенькова порвать с «молодежью» — группировкой Рылеева — и действовать самостоятельно был соблазнителен для уязвленного и оказавшегося в подчиненном положении Якубовича.

По свидетельству Александра Бестужева, за два-три дня до восстания Якубович примерял на себя роль командующего мятежными частями, и цель его вполне соответствовала позиции Батенькова — Штейнгеля — вручить власть Константину на соответствующих условиях. Накануне этого дня у Якубовича был Батеньков. Но до 12 декабря ему еще неясна была его будущая роль в мятеже. До 12 декабря ни в ком из строевых офицеров, членов общества, он не нашел бы сочувствия своим настроениям. (Батеньков был идеологом.) Вечером 12 декабря Якубович вместе с точным боевым назначением приобрел и сильного союзника. И тогда сепаратизм Батенькова получил реальную опору.

Тайное общество. 12 декабря, вечер

В то время, когда Николай и Ростовцев беседовали в Зимнем дворце на квартире Рылеева происходило решающее собрание членов общества. Это уже не было совещание руководителей. Это было именно собрание, на котором диктатор должен был объяснить каждому его задачу.

Собрание не было единовременным — люди приходили и уходили. По следственным делам картина вечера 12 декабря выглядела пестро и противоречиво. Но ясно, что был главный момент, когда в узком кругу (пять человек, по свидетельству Трубецкого) были обозначены основные положения плана действий.

Как и в других случаях, декабристы всячески отрицали последовательность и определенность организационных решений, принятых в тот вечер. Но они восстанавливаются по деталям, а главное — сосредоточены в показаниях Рылеева. Подводя итоги последних перед восстанием дней, Рылеев показал: «...Трубецкой был уже полновластный начальник наш; он или сам, или через меня, или через Оболенского делал распоряжения. В пособие ему на площади должны были явиться полковник Булатов и капитан Якубович. Последний — по собственному желанию Трубецкого, который был слышан о храбрости его еще прежде и потому за несколько дней до 14-го числа просил меня познакомиться с ним Якубовича лично, что и было исполнено». Полковник Булатов, по утверждению Рылеева, тоже хотел прежде принятия окончательных решений познакомиться с диктатором, «с которым, — говорит Рылеев, — я и свел его». Это было вечером 12 декабря. «В это время был и Якубович. Тут рассуждали о плане действия, и положено было: князю Трубецкому быть главным начальником, а под ним — Булатову и Якубовичу; план привести в исполнение решились в тот день, когда назначается переприсяга или когда станут выводить какие-либо полки из города, об чем носились слухи». (Любопытно, что опасение вывода гвардии из столицы в решающий момент — идея Бирона, Петра III - не умирала в коллективной гвардейской памяти и возникла в междущарстие как угрожающий слух.)

Из показаний Рылеева ясно, что вечером 12 декабря лица, наделенные военной исполнительной властью, - Трубецкой, Булатов, Якубович - «рассуждали о плане действия». Это надо запомнить.

Именно встреча трех военных руководителей и была главным событием вечера. Собственно, они встретились впервые. Булатова Трубецкой видел только мельком 8 декабря. А с Якубовичем диктатор прежде не встречался. «Я его тут видел в первый и, надеюсь, в последний раз в жизни моей».

Осталось немного данных о собрании 12 декабря. Развернутые свидетельства оставили Розен в воспоминаниях и Булатов - в письме к великому князю Михаилу Павловичу. Два этих основных источника дополняются и проверяются показаниями Рылеева и Трубецкого.

Вот что вспоминал через много лет Розен: «12 декабря, вечером, был я приглашен на совещание к Рылееву... там застал я главных участников 14 декабря. Постановлено было в день, назначенный для новой присяги, собраться на Сенатской площади, вести туда сколько возможно будет войска под предлогом поддержания прав Константина, вверить начальство над войском князю Трубецкому... Если главная сила будет на

нашей стороне, то объявить престол упраздненным и ввести Временное правление... Наверно никто не знал, сколькими батальонами или ротами, из каких полков можно будет располагать. В случае достаточного числа войска положено было занять дворец, главные правительственные места, банки и почтамт для избежания всяких беспорядков. В случае малочисленности военной силы и неудачи надлежало отступить к Новгородским военным поселениям... Все из присутствующих были готовы действовать, все были восторженны, все надеялись на успех, и только один из всех поразил меня совершенным самоотвержением; он спросил меня наедине: можно ли положиться наверно на содействие 1-го и 2-го батальонов нашего полка (тогда еще не было известно об отказе Моллера и Тулубьева. — Я. Г.); и когда я представил ему все препятствия, все затруднения, почти невозможность, то он с особенным выражением в лице и в голосе сказал мне: „Да, мало видов на успех, но все-таки надо начать; начало и пример принесут плоды". Еще теперь слышу звуки, интонацию — „все-таки надо", — то сказал мне Кондратий Федорович Рылеев».

Стало быть, в этот вечер план действий был объявлен и непосредственным исполнителям — младшим офицерам. Это и понятно. 12 декабря Трубецкой узнал, что отречение Константина — дело решенное и переприсяга будет вот-вот.

Второй источник — письмо Булатова — крайне важен: он более подробен, написан через десять дней после восстания, но не лишен существенных неточностей, которые, как мы увидим, выявляются при сопоставлении с другими источниками.

Булатов приехал к Рылееву к семи часам, но участники совещания начали собираться около восьми.

На следствии, имея в виду именно эту встречу, Рылеев сказал: «На совещания приглашались, по приказанию Трубецкого, только главнейшие члены и ротные командиры или те, коим делались особые назначения, как, например, Булатов и Якубович».

Булатов вспоминал: «Начали собираться и не более как ротные командиры; во фраке был Пущин и адъютант Бестужев в военном сюртуке. Я дождал еще кого-нибудь посерьезнее, полчаса назад, не знаю, мелькнул каком-то полковник, который после не являлся и которого я почти не заметил. Приходит Трубецкой, Рылеев меня знакомит с ним; входит Якубович; не знаю, отчего, только я душевно порадовался. Я знал его прежде по одним слухам и потом по приобретенной им славе в Грузии, а здесь познакомились с ним. По числу начальников нельзя было думать, чтобы войск было более шести рот. Я не вытерпел и спросил Рылеева: „Как велика наша сила?" Он отвечал мне, что многие начальники уже разъехались и что мы довольно сильны: пехота, кавалерия, артиллерия - все есть; дав им волю, дождал распоряжения. Ротные начальники начали между собою рассуждать, и мне казалось, что они не весьма охотно вошли в этот заговор. Не знаю, кто из нашей компании, и кажется, Якубович, сказал, что для пользы нашего успеха надобно убить ныне

царствующего государя, тут он продолжал: „Я, потеряв всю мою службу, жертвовал собою против горских народов для того единственно, дабы иметь случай отмстить государю, которого я ненавидел, ждал его прибытия и сумел бы отмстить за себя. Но, господа должен вам сказать, что я, к несчастью, имею доброе сердце и на себя не надеюсь; нынешний государь мне не сделал никакого зла, и я не могу его ненавидеть, а отважиться на жизнь человека и государя — надобно иметь злобную душу"».

Этот эпизод полностью подтверждается показаниями Трубецкого: «В тот день, когда был Якубович, рассуждаемо было о том, сколько можно было надеяться на полки, и оказывалось, что надежды гораздо менее, чем полагали (интересно, что Розен запомнил настроение этого вечера совсем по-иному: „Все из присутствующих были готовы действовать, все были восторженны". — Я. Г.); и Якубович, услыша, что находили затруднение в исполнении предприятия, вдруг начал говорить, рассказывать очень горячо о себе и о известном его намерении против особы покойного государя и заключил свою речь сими словами: „Ну, вот, если нет других средств, нас здесь пять человек, метнемте жребий, кому достанется, тот должен убить его (Николая. — Я. Г.)"».

И далее почти дословно тот же текст, что и у Булатова.

Таким образом, во-первых, проверяется достоверность сообщения Булатова, а во-вторых, обнаруживается узость круга совещающихся в этот момент — пять человек. Вряд ли Трубецкой назвал бы точную цифру, если бы не был уверен. Трубецкой точно назвал и время действия — с восьми часов тридцати минут до девяти часов тридцати минут.

Булатов же, говоря о ротных командирах, явно объединил в сознании большой отрезок времени, в течение которого люди приходили и уходили. Тем более что дальше он пишет: «В это время вошел, кажется, Щепин-Ростовский». Щепин и был одним из ротных командиров.

Якубович понравился Булатову с первой минуты. «Мы мыслями были сходны; я, не зная, давно любил его, сам не зная за что, может быть, за оказанную им храбрость в Грузии. С сей минуты я полюбил его душою».

Как человек опытный, Булатов сразу увидел слабую сторону замысла — отсутствие твердых гарантий, что определенные части пойдут за членами тайного общества. «Из разговоров ротных командиров видел их нерешительность, и особенно в Щепине-Ростовском, который менее всех надеялся на солдат своих. Продолжал, обратясь опять к ним: „Нам остается мало времени рассуждать; если на себя и на солдат своих не надеетесь, то лучше оставьте до другого случая. Не забудьте еще и то, что если кто решится на наш поступок, то должен решиться так, чтобы не возвращаться назад.



*Штаб-офицер и
лейбгренадеры 1820-х гг.
Литография. Середина XIX в.*

Я здесь не имею никакой команды, хотя знаю совершенную привязанность ко мне солдат старого полка, но на лейб-гренадер я не надеюсь, и потому я могу рисковать одним собою". Якубович сказал, что он тоже при себе никого не имеет и наше дело было явиться на площадь, когда соберутся их войска на Петровскую площадь... впредь зная, что надежды их основаны на болтанье молодых людей, ибо они полагали, что надобно только начать, а там все будут на их стороне. Я предвидел по числу начальников, что затеи их пустые, то предложил им первый мой совет, состоящий в том: по собрании наших войск на площади, если увидим такое число, что можно сопротивляться, то действовать, а если нет, то по первому увещанию присягнуть без всякого действия. С князем Трубецким я не говорил ни слова, но он так уверен был в успехе предприятия, что, говоря со своими военачальниками, полагал, что, может быть, обойдется без огня; я слышал последние слова сии».

Здесь почти все верно. Но кое-что бессознательно сдвинуто - и картина оказывается такой, какой представлялась она Булатову уже после 14 декабря.

Ни он, ни Якубович не могли в тот вечер жаловаться на отсутствие при них команды. Относительно Булатова Трубецкой помнил, что, знакомя их, Рылеев сказал: «Вот полковник Булатов, который служил в лейб-гренадер-ском полку и за которым весь полк пойдет, если он прикажет: так его в оном полку любят». И, обращаясь к Булатову, сказал: «Так вы примете команду полка и поведете его?» Булатов отвечал, что он согласен, если полк выйдет.

Оболенский, который, по собственному его утверждению, не был у Рылеева вечером 12-го числа, тем не менее знал, что «полковник Булатов... должен был находиться на площади и командовать той частью, которая будет ему поручена».

Александр Бестужев, показывая на первом допросе о маршруте, намеченном для восставших полков, говорит: «Лейб-гренадерам по льду и на мост, где должен был быть полковник Булатов для принятия команды оным». Булатов, стало быть, должен был ждать гренадер на каком-то мосту и возглавить их. Как мы увидим, Бестужев говорил правду.

Всем осведомленным членам общества было известно, что Булатов принял поручение и обещал вести лейб-гренадер. И толковать об отсутствии команды у него оснований не было.

О том, что Якубович обещал возглавить Гвардейский экипаж, мы тоже прекрасно знаем.

Но далее в письме Булатова идет текст, касающийся только его и Якубовича, и тут полковник совершенно точен. То, что он рассказал, подтверждено было его и Якубовича действиями.

Трубецкой ушел, договорившись с Булатовым и Якубовичем о характере их обязанностей во время будущего восстания. Твердый и внушительный тон, которым Трубецкой — диктатор! — отдавал приказания, показался Булатову обидным. «Возвращается Рылеев и, обратясь к ним, говорит: „Не правда ли, господа, что мы избираем достойного начальника?“ Я еще не видел никаких достоинств; предполагаемое ими благо до сего времени мне не открыто; заметил только, что он принял важность настоящего монарха, усмехнулся и молчал. Якубович с усмешкою отвечал: „Да, он довольно велик“. Рылееву показалось немного обидно, он спрашивает Якубовича: „Что ты говоришь?“ Но тот обратил разговор в шутку, и толкование об князе кончилось. Странно для меня было, что мысли мои были во всем сходны с Якубовичем, и я его начинал час от часу более и более любить».

Взвинченный, одинокий, несчастный, Булатов уверовал в то, что он нашел друга и единомышленника. Это было не совсем так. Отнюдь не во всем сходны были его и Якубовича мысли. Якубович, давно связанный с тайным обществом, понимал ситуацию гораздо точнее и тоньше, чем Булатов.

Но в чем они накрепко сошлись - это в неприязни к Трубецкому. Слова Булатова о «важности настоящего монарха» — смысловой узел того, что произошло между этими тремя людьми, каждый из которых был замечателен, но — в своем роде.

Когда много лет назад я впервые прочитал в Центральном государственном архиве Октябрьской революции то, что следует дальше, — эти написанные дергающейся рукой Булатова строки, - я был ошеломлен их страшным смыслом. Когда сегодня я перечитываю их уже в печатном виде - в XVIII томе «Восстания декабристов», ощущение трагического недоразумения не оставляет меня, хотя на самом деле недоразумения не было - просто бешеный исторический поток безжалостно столкнул между собой людей с принципиально разными уровнями политического сознания...

Булатов, исповедовавшийся из крепости великому князю, уже решивший покончить с собой и потому старающийся высказать все, что было у него на душе, пишет: «Я вижу, что здесь нечего более делать, и хочу поговорить с Якубовичем, беру шляпу, он тоже, и хотим вместе ехать; я попрощался со всеми, дав им руку, и они ценили меня, и, по моему мнению, здесь было более хороших, нежели дурных людей. Выйдя с Якубовичем, мы за воротами встретили полковника Глинку, который прежде служил у графа Михаила Андреевича Милорадовича; сели с Якубовичем в карету и поехали ко мне. В карете я спрашиваю его, давно ли он в этой партии. „Нет, недавно!“ - „Знаете ли вы по крайней мере отечественную пользу сего заговора?“ - „Нет!“ - „Как велико число наших солдат?“ - „И того нет!“ - „Давно ли вы знакомы с этими людьми?“ - „Князя вижу в первый раз! Рылеева тоже хорошо не знаю».

Якубович, как видим, откровенно мистифицировал Булатова. С тайным обществом он был связан - и тесно связан! - уже несколько месяцев. Замыслы общества и смысл его деятельности были ему прекрасно известны — он многократно обсуждал эти материи с Рылеевым, Александром Бестужевым, Батеньковым и другими весьма сведущими людьми. Он скрыл от полковника, что с Александром Бестужевым он давно дружен, что с Рылеевым близок не один месяц, что ему отлично известны биография Трубецкого и его высокая репутация.

Сообразительный Якубович понял, что ему выгоднее разыграть перед Булатовым роль случайно вовлеченного в заговор простодушного храбреца. И доверчивый Булатов, оглушенный ситуацией, в которой он оказался, охотно поверил своему новому другу. И решил взять его под опеку и спасти. «Я ему открыл, что нас обманывают. Тут я ему рассказал следующее. Рылеева я знаю давно, и, быв детьми, вместе в 1-м кадетском корпусе воспитывались; мы были в одной роте; и, мне кажется, он рожден для заварки каш, но сам всегда оставался в стороне. Не один раз расстраивал дружбы кадет и заводил между ними войну и даже несколько раз против меня самого восстанавливал партии, но я, бывши кадетом, умел останавливать или удаляться и за это не любил его, но теперь он, кажется, человек порядочный, и вышло так, чего я ожидать не мог, довольно хорошо пишет; но, между прочим, думы, и все возмутительные, и я слышал об его дуэлях, и, следовательно, имеет дух. „Но я его подозреваю, и мне кажется, что они подозрительны почти все“, — отвечал Якубович. Я рад, что мы с ним одних мыслей, и я предложил ему следующее. Так как ни я, ни он не знаем предполагаемой ими отечественной пользы, ни лиц, которые с ними участвуют, кроме молодежи, которых я видел во все недавнее мое время, попав в эту партию странным образом; не знаем ни числа войск, ни совершенно ничего, что дабы узнать все подробно и если предположения их точно полезны, то будем действовать; для узнания же плана не ехать к Рылееву, но вызвать князя Трубецкого и Рылеева к себе, и так как нас здесь двое армейских, один почти из Сибири, другой из Грузии, и приехавших по делам, дадим слово в случае выезда нашего и опасности защищать друг друга. Здесь я дал слово Якубовичу и сдержал бы... Мы расстались, и я считал его истинным другом; не знаю, как полагал он меня, и если у нас чувства одинаковы, то, верно, он не считает меня обманщиком».

Булатов, как видим, предложил Якубовичу, чтобы они противопоставили себя Трубецкому и Рылееву и действовали, ориентируясь друг на друга. Он упорно говорит о том, что им был неизвестен план действий. Но у нас слишком много



Зимний Петербург. Извозчичья биржа. Литография А. О. Орловского. 1820-е гг.

свидетельств обратного. Полковник Булатов, понимавший уже в то время, когда он писал письмо, что они с Якубовичем сделали, на-ходившийся уже на грани безумия, убеждал себя в том, что их обманули, что им ничего не сообщили, не предложили. Он верно сообщает факты, но смотрит на них с определенной точки зрения. Он сообщает существеннейшие подробности, но умалчивает о главном. О том, что вечером 12 декабря они с Трубецким - у Рылеева - ясно распределили роли и что каждый из них знал, что он должен делать.

Почему за сутки до рокового дня завязался этот страшный узел?

Мотивации Якубовича понятны - обманутые ожидания несостоявшегося вождя и настойчивое давление Батенькова, предлагавшего ему первую роль при его, Батенькова, идеологическом руководстве.

А Булатов?

Чем дольше раздумывал он над происшедшим у Рылеева, тем более укреплялся в своих подозрениях. Каковы были эти подозрения и что имел в виду Якубович, говоря о Рылееве: «Но я его подозреваю, и мне кажется, что они подозрительны почти все»?



Зимний Петербург. Офицер в санях. Литография А. О. Орловского. 1820-е гг..

Идея бонапартизма, узурпации власти была естественна для русских офицеров первой четверти XIX века. Во-первых, всего пять лет назад умер Наполеон, во-вторых, к их услугам была российская история прошлого века. Известно, что многие декабристы подозревали в бонапартизме Пестеля. Рылеев при первом знакомстве заподозрил Трубецкого в «честолюбивых видах». Батеньков примерял на себя роль, которую играл некогда Би-рон при малолетнем Иоанне Антоновиче.

Но если в решающий момент ядро тайного общества сумело отказаться от взаимных подозрений и нравственно встать на уровень одушевляющей их — бескорыстной! — идеи, то декабристская периферия должна была до конца испытывать такого рода сомнения. Трудно сказать, действительно ли Якубович усомнился в чистоте намерений Трубецкого и Рылеева, но тактически в тот момент ему выгодно было укрепить подозрения Булатова. Что он и сделал.

Вернувшись домой, Булатов после разговора с Якубовичем уже не сомневался, а был убежден. «...Я думал 14-го числа узнать, и если найду настоящую пользу отечества в планах, и как искуснее Трубецкого в военном ремесле, а духом тверже и того более, то и предлагал обещаемое войско свое разделить на два отряда, и, надеюсь, после моих распоряжений, сделанных в моей голове, товарищи мои препоручили бы мне начальство войск наших». Здесь от возбуждения и торопливости Булатов проговаривается: оказывается, он имел свой собственный план действий — «предлагал обещаемое войско свое разделить на два отряда», — который считал более «искусным», чем план Трубецкого. И надеялся, что члены общества — «товарищи», — узнав этот план, когда дойдет до дела, вручат власть именно ему.

Но подоплека была, разумеется, не в изъянах плана Трубецкого.

«Товарищами я называю из нашей партии не всех, а тех только, которые так же обмануты, как и я, и которые стремились к пользе отечества. А те, которые хотели истребить законную власть и подлыми изобретениями взойти в правление государством, а может быть, и трон российский, принадлежащий законным государям царской крови Романовых, и те подлые, бесчестные люди, которым оставалась, может быть, одна тюрьма надеждою, могут ли они называться товарищами благородного заговорщика? Трубецкой напрасно имел надежду владеть народом — он имел во мне и Якубовиче врагов, и этого довольно».

Как видно из его слов, Булатов был уверен, что Рылеев и его сподвижники стараются для того лишь, чтобы сменить на российском престоле династию Романовых династией Трубецких. И решил помешать этому, перехватив у Трубецкого руководство восстанием, и тем облагодетельствовать Россию. Трубецкой для него был корыстным узурпатором, а они с Якубовичем — «благородными заговорщиками».

Так закончился вечер 12 декабря для Булатова и Якубовича.

Для Рылеева он закончился иначе. После того как все разошлись, в дом Российско-Американской компании приехал Оболенский и сообщил Рылееву и Александру Бестужеву о демарше Ростовцева.

А из Зимнего дворца отправлен был курьер на почтовую станцию за триста верст от Петербурга, чтобы вернуть в столицу великого князя Михаила Павловича.

Феномен Милорадовича

Диктатор отдал распоряжения. Ротные командиры готовы были действовать. Вернувшись поздно вечером 12 декабря от Рылеева, лейтенант Арбузов вызвал фельдфебеля своей роты Боброва и спросил, любит ли его рота и пойдет ли за ним, куда он прикажет. После утвердительного ответа велел Боброву объявить надежным матросам: «Ужели, присягнув Константину Павловичу, будем еще присягать другому царю, Николаю Павловичу или Михаилу Павловичу?» И велел сказать, что ежели будут заставлять менять присягу, то он, Арбузов, поведет роту к измайловцам, а затем они вместе с москвцами пойдут к Сенату, где их будут ждать лейб-гренадеры и финляндцы, и что они возьмут в Сенате завещание покойного государя, по которому нижним чинам назначено 12 лет службы, и «предпишут свои законы». Это был очень решительный и рискованный шаг. Но Арбузов доверял своим матросам. И, как выяснилось, не зря.

При растерянности Николая, одновременно напуганного Дибичем и дезориентированного Ростовцевым, при общем настроении гвардии тайное общество могло с высокой степенью уверенности рассчитывать на успех...

Был, однако, в столице человек, который фактически держал в руках будущие события, поскольку у него имелась полная возможность не допустить даже попытки мятежа.

Это был военный генерал-губернатор Петербурга граф Михаил Андреевич Милорадович.

Утром 12 декабря Милорадович получил от Николая список заговорщиков, в котором из присутствующих в тот момент в Петербурге лиц значились Рылеев и Михаил Бестужев. Решено было «немедля их арестовать». Так Николай писал в записках. Но и в дневниковой записи 12-го числа после совещания с Голицыным и Милорадовичем сказано, «какие принять меры». То есть решение было принято.

О сообщении Ростовцева Николай, скорее всего, известил генерал-губернатора на следующее утро. Но известил наверняка. Об этом пишет в дневнике императрица Мария Федоровна.

Зная фамилию Рылеева и то обстоятельство, что присяга может стать поводом для выступления заговорщиков, Милорадович обязан был действовать.

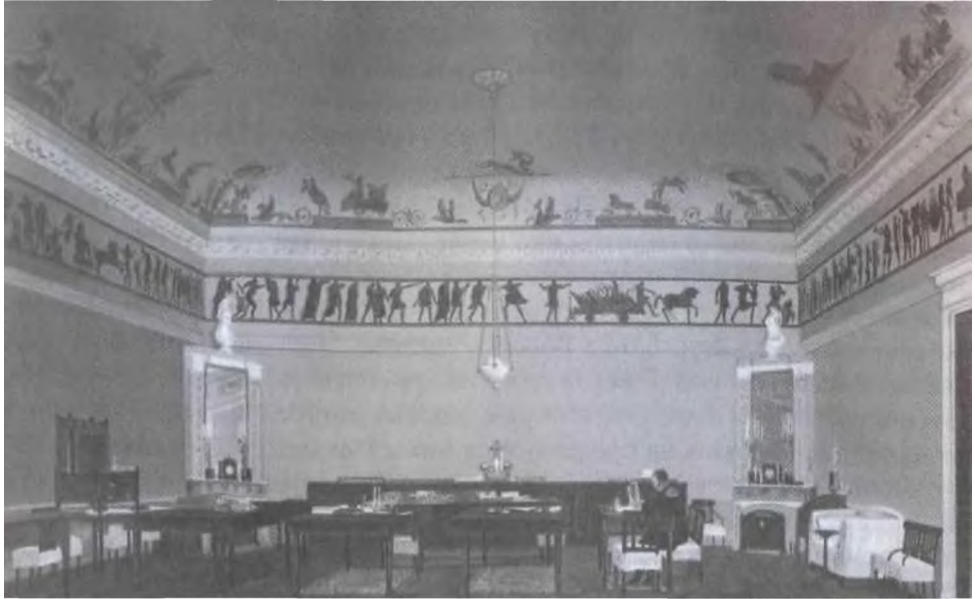
Николай писал потом: «Граф Милорадович должен был верить столь ясным уликам в существовании заговора и в вероятном участии других лиц, хотя об них не упоминалось; он обещал обратить все внимание полиции, но все осталось тщетным и в прежней беспечности».

Полиция генерал-губернатора вовсе не была беспомощной. После волнений в Семеновском полку агенты Милорадовича собрали подробные данные о настроениях гвардии. Они умели делать свое дело, когда им приказывали.

В данном случае, чтобы предотвратить мятеж, нужно было всего-навсего установить наблюдение за известными заговорщиками. Два дня наблюдения — 12 и 13 декабря — за квартирой Рылеева дали бы исчерпывающее представление о составе заговора. Позднейшие разговоры о том, что Милорадович знал о собраниях у Рылеева, но считал их встречами литераторов, являются совершенным вздором. Во-первых, Рылеев был обозначен в депеше Дибича как один из активных заговорщиков, и, следовательно, подозрительны были все, кто его посещал. Во-вторых, ездили к нему в эти два дня никак не литераторы. За двое суток его квартиру, находящуюся не где-нибудь на окраине, а в парадном районе, на Мойке, посетили добрых два десятка гвардейских офицеров разных полков. Причем некоторые по нескольку раз — от раннего утра до поздней ночи. Десятка толковых соглядатаев хватило бы, чтоб установить места жительства и личности этих регулярных гостей заговорщика, что, скорее всего, и было сделано. Это было, как теперь говорят, исключительно дело техники.

Как возмущенно писал Николай, «бунтовщики были уже в сильном движении, и непонятно, что никто сего не видел». И в самом деле — нужно было не хотеть этого видеть, чтобы не увидеть.

Правда, есть сведения, что, когда 13 декабря военный министр Татищев предложил Николаю произвести аресты, тот отказался, чтобы не подумали, что арестовывают честных сторонников Константина. Эпизод этот мог иметь место. Но мотивы Николая понять легко: производить аресты должен был не он и не военный министр, а тот, чьей законной обязанностью и правом это было, — генерал-губернатор. И Николай, как мы знаем,



Кабинет Александра I в Зимнем дворце. Картина А. Плахова. 1830-е гг.

ждал от Милорадовича действий. Но приказывать ему в данной ситуации он еще не имел законного права.

Я абсолютно не верю в апокрифическое легкомыслие Милорадовича, которое якобы и было причиной его бездействия. Я не верю, что император Александр, очень чувствительный к проблемам государственной безопасности и политического сыска, стал бы держать на ключевом посту пожилого мотылька, проводящего время в интрижках с актрисами.

Многочисленные агенты генерал-губернатора приносили ему подробные сведения о происходящем в городе. 5 декабря, например, великая княгиня Александра Федоровна записала в дневнике, что Милорадович «передал все ходящие по городу толки и разговоры солдат».

Адъютант Милорадовича Башуцкий вспоминал: «Военный генерал-губернатор беспрерывно получал записки, донесения, известия, по управлению секретной части была заметна особая хлопотливость, все люди Фогеля (агент тайной полиции. — Я. Г.) были на ногах, карманная записная книжечка графа была исписана собственными именами, но он не говорил ничего, не действовал...». А в примечании к этой фразе Башуцкий пишет: «В книжке этой, найденной по смерти графа на его столе, были вписаны его рукою почти все имена находившихся здесь заговорщиков». Башуцкий, разделявший общее недоумение по поводу бездействия генерал-губернатора, пытался объяснить его «российской беззаботностью». Но это слабое объяснение.

Хуже ли, лучше ли, но Милорадович свое дело знал. И если он, будучи столь осведомленным, не предпринимал никаких шагов, чтобы предотвратить выступление гвардии против Николая, значит, он не хотел этого делать.

Милорадович, лидер генеральской группировки, желающей Константина, совершил «тихий переворот» 27 ноября. Он не допустил Николая на престол, тем самым вызвав хорошо понятную ненависть великого князя. Он был виновником междуцарствия и всех волнений и страхов, с ним связанных. Он не мог не понимать, что при Николае он долго на первых ролях не останется. Его ждала неминуемая отставка.

Отстраняя Николая и провозглашая императором своего друга Константина, он не мог поверить, что цесаревич откажется занять трон уже после того, как ему присягнет империя. Отказ Константина его потряс. «Я на него надеялся, а он губит Россию!» - сказал он. Но Константин своим отказом губил не столько Россию, сколько Милорадовича, которому уже не было пути назад. Генерал-губернатору сочувствовало достаточно высокопоставленных военных, которые тоже на многое были готовы, чтобы не допустить Николая на престол. Вспомним Потапова с его намеками.

Милорадович вовсе не был беспечен. Он знал, что во время присяги могут быть волнения. Но он знал и то, что отказ гвардии присягать Николаю — единственный способ заставить Константина принять корону, а ему, Милорадовичу, спасти карьеру. Это была чрезвычайно рискованная игра, но он уже слишком далеко зашел.

Конечно, это была авантюра. Но Милорадович по натуре и был азартным авантюристом.

И тут возникает вопрос: что знал Милорадович? Ограничивались ли его сведения тем, что сообщили Дибич и Ростовцев? Получал ли он дополнительные данные от своих агентов? Был ли он как-то связан с декабристским центром? Близкий к нему человек, полковник Глинка, на руках которого Милорадович умер 14 декабря, во время междуцарствия не раз бывал у Рыльева и знал о замыслах тайного общества. (Якубович и Булатов, выходя вечером 12 декабря от Рыльева, встретили идущего в штаб восстания Глинку.) Был ли Глинка неким связующим звеном между декабристами и Милорадовичем? Был ли неким источником сведений для графа полюбившийся ему Якубович, которого он поощрял в нежелании присягать Николаю? (А значит, у них были разговоры на эту тему.)

Естественно, Милорадович не мог сочувствовать радикальному варианту переворота. Но если ему было дано понять, что есть люди, которые сорвут присягу Николаю и утвердят на троне Константина, то он вполне мог закрыть глаза на деятельность этих людей. До поры до времени их интересы совпадали. Он, разумеется, не хотел мятежа. Но батеньковский вариант — отказ от присяги, выход полков за город, мирные переговоры с властью о кандидате на трон - его вполне устроил бы. В такой ситуации он мог рассчитывать снова стать арбитром и овладеть положением. И тут фигура Якубовича приобретает новое значение. Отсутствие же намеков на этот сюжет как в следственном деле Глинки, так и в деле Якубовича удивления не вызывает: следствие вовсе не склонно было хоть как-то компрометировать покойного полководца. А Якубович не хотел афишировать свою «особую деятельность» внутри тайного общества — Булатова, например, он упоминает на следствии считанные разы и говорит о нем как о незнакомом человеке, а Батенькова, как известно, не упоминает вообще.

Доказать это предположение на сто процентов возможности нет. Для этого не хватает данных. Но никакое иное объяснение того, что сделал (вернее - не сделал!) Милорадович 12-13 декабря, не выдерживает критики.

Как бы то ни было, Милорадович сознательно предоставил заговорщикам свободу действий, с тем чтобы вмешаться, когда он сочтет нужным и как он сочтет нужным.

Милорадовича погубили его огромное самомнение и неверная оценка расстановки сил. Он явно считал, что у «генеральской оппозиции» и у «офицерского заговора» общие интересы.

В воспоминаниях Якушкин приводит дошедшую до него фразу Николая, произнесенную после прощания с умирающим Милорадовичем: «Он сам во всем виноват!».

«Русский Баярд» мыслил слишком узкими и устаревшими категориями. С Якубовичем и Булатовым он нашел бы общий язык. С Рылевым и Трубецким — нет⁴¹.

И остается еще один немаловажный вопрос: соответствует ли Милорадович как личность этому стилю поведения в кризисный момент?

Я попытаюсь ответить на этот вопрос несколько необычно, но, на мой взгляд, достаточно серьезно.

После смерти генерал-губернатора в его бумагах нашли удивительное письмо, которое стало потом предметом расследования.

«С.-Петербург
июля 31 дня

Сиятельнейший граф, милостивый государь.

Обстоятельства, которым мне надлежало повиноваться с юных лет, побудили меня приступить к такому занятию, которое я ненавидел, счастье и несчастье попеременно посещали меня, первому я немного радовался, а второму печалился, и около осмнадцати лет кружился я в вихре приключений, в сие время питая в груди моей врожденную склонность к добродетелям. Первый мой отъезд из города на расстояние около тысячи верст ужаснул меня положением бедных крестьян в деревнях, тогда я подумал о владыках мира в худшую сторону, но обстоятельства не позволяли политическим образом помогать несчастному человечеству, часто я размышлял, что время моей жизни утекает, а деятельного еще не произведено мною, напоследок решился искать себе особу в компанию, но по замыслам и плану должно сыскать компаньона добродетельного, умного, притом богатого, чтоб на полезные дела в случаях жертвовал своим капиталом (который впоследствии пропасть не может), а все сии качества признал я в вашем сиятельстве, и затем писал к вам письмо, которое вы получили 6-го числа за черною печатью. В оном я говорил, что государь содержит войска на щету Европы, для разорения той же Европы, и что перемена общенародных разных законов, для составления в единообразные общественные законы, означающие мною, в течение тридцати лет Европу освободят от ужасной бедности и доведут до высшей степени просвещения. Еще вы были тогда малолетны, когда французская кампания принесла в жертву императоров людей числом более миллиона, с теми, кои по разным случаям, касающимся до кампании, умирают. Они

⁴¹ Ситуацию «Милорадович — тайное общество» исследовал художественными средствами, хотя в несколько ином плане, чем здесь, Н. Эйдельман в повести «Большой Жанно» (М., 1982).

на раненых смотрят хладнокровно, стало быть, сострадание к несчастным и добродетель с ними в раздоре. Впрочем, из бывшего письма вы усмотрели и далее о некоторых обстоятельствах, которые я не почитаю за приличное здесь упоминать.

Царь правдивый, преступник и палач рождены на одной земле, и она всех нас питает, следственно, земля всем мать, а потому в бывшем письме я назвал вас братом, но по гражданскому уложению мое сословие есть купец.

Ненависть сильной руки и за истину оклеветать может. Антон Иванович с юных лет содержался в слюшенской крепости и там заколот, преступление его состояло в том, что он был наследник престола. Мирович казнен, сожжен и пепел развеян за то, что хотел его избавить от заключения. Император Павел во дворце вельможами умерщвлен, то не должно ли жестокой участи каждому остерегаться. В таком кругу, в каком вы обращаетесь, не только ушами слушают, но и ртом подхватывают речи, затем и в своем доме не надлежит говорить свободно. Особа ваша значит не то, что частное лицо, занимающееся соблюдением одного своего интереса, но вы, может быть, глаз правосудия, и угождения достойным уважения без взглядов на чины и титулы. Здесь кстати сказать: прусский король Фридрих, между прочим, писал к Вольтеру: „Бога ради, пишите ко мне просто, как к человеку, и презирайте со мною чины, титулы, весь облик наружный“.

Его сиятельство Михайло Долгоруков, который ныне в отставке, и что недавно жил на Царицыном лугу, на прошедшей святой неделе отправлял должность палача. Он в своем кабинете, где только великими делами занимаются, своими руками кучера высек кнутом; такому князю нельзя предлагать о добродетельных делах, - следовательно, добродетель ищет себе добродетель, невзирая на неравное сословие, злодей же, гордясь родом, утучняется народною кровию и ищет подобных себе злодеев.

Сиятельнейший граф, я человек холостой, родства у меня нет и потому за удобное почел вас к себе пригласить для собеседования о предлагаемой мною материи, а мне к вам явиться неспособно, потому что вы окружены многим количеством людей, через что не могло бы последовать какое-либо подозрение. Если Бог благоволит приняться за дело, то, может быть, тайна потребует, чтоб мне в дом к вам ходу не иметь, а чтоб свидание иметь только у меня в доме. Прежде всего Вы должны мне оказать свое бескорыстие и расположение высылкою пяти тысяч рублей с сим же извозчиком, запечатанные в пакет без надписи вручите с приказом, чтоб извозчик сей пакет отдал тому, кому я приказывал, мною же меры приняты к получению пакета от извозчика. Если же мне без сего опыта Вам объявить имя свое, и Вы не быв согласны к восприятию дел, то я по гроб должен лишиться покою



Силы небесные и земные. Массонская аллегория. Гравюра начала XIX в.

и от ужаса трепетать правительства. Когда же я получу от Вас деньги, то буду разумеать, что Вы желаете взойти в дело, а потому и возвещу Вам о месте пребывания и о имени через письмо, а сам буду ожидать Вас к себе в дом, как друга человечеству. Впрочем, лучшей удобности к короткому сближению знакомства я не нашел, между тем предворяю, что Вам не надлежит думать, чтоб я сии два письма сочинил и послал к Вам для того, чтоб выманить у Вас сей капитал, ибо я оный имею, при том бы писать бы уж более, если насчет обмана, ибо для Вас не важны и 25-ть тысяч рублей. Только я Вас заверяю, что страсть влечет искать сподвижника в делах, и повторяю прошедшего письма заклятье, и что самую смерть ни во что ставлю противу добродетели. Затем, пожелав всякого благополучия, остаюсь с истинным высокопочитанием

Вашего сиятельства

Милостивого государя

нижайший преданный покорный слуга брат»⁴².

«Брат» — это, естественно, «масонский след»...

По поводу этого уникального документа после окончания следствия над декабристами заведено было «Дело о письме от неизвестного, коим граф Милорадович приглашался к злонамеренному действию». Дибич отправил письмо военному министру Татищеву на экспертизу. Эксперты военного министерства

⁴² ОР РНБ, ф. 859, к. 18, № 12, лл. 65-66.

сличили почерк неизвестного «брата» с почерками недавно осужденных государственных преступников, но идентичного не нашли...

Письмо это дает возможность для обширного и содержательного социально-психологического анализа. Это яркий знак умершей веры в правительственные реформы, свидетельство жажды перемен и готовности каждого мыслящего и совестливого человека на свой страх и риск заняться переустройством жизни.

Конечно, в письме этом есть некоторые странности - автор его почему-то считает, что Милорадович был еще «малолетним» во времена наполеоновских войн. Мы не будем заниматься этими странностями. Мы не будем вдаваться в гадания относительно личности автора - можно заподозрить его в безумии, можно - в излишней наивности. (В попытке мошенничества - вряд ли.) Но если представить себе купца-самоучку, два десятилетия занимавшегося ненавистным ему торговым делом, одушевленного масонской идеей совершенствования мира, при этом насыщавшего свой ум чтением исторических сочинений, человека, пришедшего к идее абсолютной ценности гражданской добродетели, по особенностям своей судьбы и профессионального мышления считающего денежный залог естественным знаком доверия к компаньону, — то все становится на свои места.

Для нас в данном случае важны два момента.

Во-первых, то, что Милорадович явно не сделал никаких попыток искать своего корреспондента. А сделать это было весьма просто, допросив извозчика, который привез письмо и ждал ответа. Если бы он сделал это, то следы обязательно остались бы и не было бы надобности производить розыск после его смерти.

Во-вторых, и это главное, — взыскующий справедливости мечтатель из третьего сословия счел именно Милорадовича подходящим компаньоном для изменения «всемирных законов» и спасения России (под Европой он, бесспорно, подразумевает именно Россию. Это тоже одна из странностей письма). Состоятельный купец — у «брата» есть собственный дом и капитал — мог встречаться с Милорадовичем, который как генерал-губернатор занимался и делами купечества. Но скорее всего, он доверился общественной репутации Милорадовича.

Общественная репутация — вот что здесь главное. Общественная репутация бывает неточной, но всегда содержит в себе определяющие черты личности.

Репутация Милорадовича как человека, которому можно предложить тайный союз для борьбы с несправедливостью, представление о нем как о «русском Баярде» - рыцаре без страха и упрека, вкупе с азартной аван-тюристичностью характера и безвыходностью положения, в которое загнал себя граф, - все это делает предлагаемую ситуацию альянса генерал-губернатора и умеренного крыла тайного общества вполне правдоподобной.

День 13 декабря

На рассвете этого дня за тысячи верст от столицы — в Тульчине, где располагался штаб 2-й армии, был арестован полковник Пестель. Дибич начал разгром Южного общества.

В Петербурге об этом знать, разумеется, не могли, но и там для вождей тайного общества день начался тревожно. Утром Рылеев оповестил своих соратников о

встрече Ростовцева с Николаем и, стало быть, о том, что великий князь предупрежден о возможном мятеже. (Любопытно, что лица, которым Ростовцев непосредственно сообщил о своем поступке, на следствии о том молчали. Оболенский вспоминал Ростовцева исключительно как члена общества, которому он отдавал распоряжения, а в рылеевском деле имя Ростовцева вовсе не упоминается.) Как реагировали руководители заговора на акцию «благородного предателя», мы узнаём со слов Штейнгеля, Александра и Николая Бестужевых.

Штейнгель показывал: «...13 числа он (Рылеев. — Я. Г.) мне объявил, что Ростовцев предварил государя, и показал мне его черновое письмо и самый разговор его с государем, кои Ростовцев ему доставил, вероятно, для того, чтобы их остановить. Я спросил: „Что вы теперь думаете, неужели действовать?“ — „Действовать непременно, — отвечал он, — Ростовцев всего, как видишь, не открыл, а мы сильны, и отлагать не должно"».

Странное впечатление производит этот диалог. В вопросе Штейнгеля — осторожная надежда, что все кончится мирным образом, в ответе Рылеева — бодрость и решимость, как будто акция Ростовцева пошла на пользу обществу. Он уверен, что Ростовцев не выдал ничего существенного.

Александр Бестужев пишет несколько иначе: «В тот же день я узнал, что он писал письмо к ныне царствующему императору. Сначала он обманул Оболенского, сказав, что будто бы Николай Павлович журил его за какие-то стихи, а потом отдал и письмо, но настоящее ли, мы сомневались, и это еще более придало нам решимости».

Николай Бестужев: «...дошло до сведения нашего, что г. Ростовцев, имев прежде наше доверие, письменно отнесся к самому императору о существовании общества. Сие решило нас назначить во время присяги собрание на площади близ Сената». В другом месте: «...внезапное известие, что общество уже обнаружено письмом г. Ростовцева к его высочеству Николаю Павловичу... решило нас поступить так, как то показало несчастное 14 декабря».

Очень все же странно. Почему о таком экстраординарном событии, как предательство доверенного члена тайного общества, друга одного из лидеров, наглухо молчат самые осведомленные лица? Оболенский демонстративно называет Ростовцева в ряду тех, кто никого не предавал и старался выполнить ответственные поручения, — называет не через двадцать лет, а через несколько дней или недель после восстания. И неужели Оболенский в своем христианском всепрощении дошел потом до такой благодности,

что не только не упрекнул своего друга и сподвижника, подло воспользовавшегося его доверием, но и вступил с ним в дружескую переписку?

Почему Николай Бестужев противоречит Рылееву (в передаче Штейнгеля), говоря, что Ростовцев сообщил императору о «существовании общества»? Из двукратного утверждения о том Николая Бестужева явствует, что он не знал содержания письма Ростовцева, которым располагал Рылеев. А в воспоминаниях, созданных уже на поселении, получив сведения, наверно, от Оболенского, он пишет, что в письме Ростовцева «ничего не было упомянуто о существовании общества», то есть пишет ту правду, о которой прежде не знал. Почему?

Объяснение здесь может быть одно - Рылеев и Оболенский превратили неопределенное и даже дезинформирующее письмо Ростовцева в средство агитации за немедленное выступление, не ознакомив членов общества с документом, но представив его более опасным, чем он был на самом деле. Тот же Николай Бестужев говорит: «...он (Рылеев. — Я. Г.) объявил мне, что Ростовцев писал письмо к императору Николаю Павловичу... и что общество наше и заговор известен». Отсюда ясно, что Рылеев не показал Бестужеву письма, а пересказал его в соответствующем духе. Николай Бестужев четырежды возвращается к этой теме, — по-видимому, Рылеев наиболее подробно обсуждал ее именно с ним.

Все утро у Рылеева ушло на «ростовцевский сюжет». Он был у Трубецкого. Потом поехал к Николаю Бестужеву. Из следственных дел явствует, что Рылеев оповестил очень ограниченный круг людей. Николай Бестужев в воспоминаниях утверждает, что он посоветовал Рылееву действовать. Очевидно, Трубецкой держался такого же взгляда. Во всяком случае, акция Ростовцева лишь укрепила заговорщиков в намерении выступить в момент присяги.

О присяге стало известно в тот же день.

Николай Бестужев показывал: «Поутру 13 числа Рылеев приезжал к матушке моей поздравить ее с приездом из деревни (когда он и сообщил Бестужеву о Ростовцеве. - Я. Г.) и, взяв меня с собою, отвез к Торсону, откуда я едуци, встретился с Батеньковым и братом моим, едущими в коляске. Тут Батеньков объявил о известии, что цесаревич отказался и завтрашний день будет новая присяга, и мы все трое отправились к Рылееву». Однако в другом месте он сформулировал свое показание несколько по-иному: «Декабря 13, видевшись со Сперанским, Батеньков сказал.. что Сперанский, возвратясь из Совета, объявил ему, что завтрашний день назначена присяга его величеству Николаю Павловичу и что цесаревич отказался совершенно». Но Государственный совет, на котором был Сперанский, заседал вечером, а встретился Николай Бестужев с Батеньковым и братом Александром в середине дня. Николай Бестужев явно перепутал две разные встречи с Батеньковым.

Тот факт, что о присяге вожди общества узнали днем, как мы увидим, подтверждается.

И встреча, о которой пишет Бестужев, была, и была она нерадостной...

День 13 декабря, как и предыдущий, прошел в неистовой деятельности по собиранию сил. План был ясен, но неясны те штыки и сабли, которые сделали бы его реальным. И на Бестужева возложили обязанность добиться от полковников Финляндского полка четкого ответа.

Настойчивость эта получила еще один мощный импульс - стало известно, что 14 декабря 2-й батальон финляндцев, которым командовал Моллер, будет нести караул во дворце и в присутственных местах вокруг дворца, в том числе возле Сената. Таким образом, в случае согласия Моллера содействовать обществу резиденция Николая и всей августейшей фамилии и Сенат оказывались под контролем восставших без всякого штурма. Обладая в качестве начальника караулов большой властью, Моллер мог пропустить во дворец любую воинскую часть. И наоборот — воспрепятствовать проходу недружественных обществу войск.

Днем 13 декабря разыскивающий Моллера Николай Бестужев выяснил, что полковник находится у своего дяди — морского министра. Бестужев послал за ним, пригласив его к капитан-лейтенанту Торсону. «Он явился, — вспоминал Бестужев, — но уже не тот, с которым я говорил накануне. При первом вопросе о его намерениях он вспыхнул, сказал, что не намерен служить орудием и игрушкой в таком деле, где голова нетвердо держится на плечах, и, не слушая наших убеждений, ушел».

Тулубьев, узнав о решении Моллера, тоже отказался.

Розен, явно со слов Бестужева, дополнил в своих записках этот важнейший эпизод живыми деталями: «...в этот самый день (14 декабря. — Я. Г.) занимал караулы во дворце, в Адмиралтействе, в Сенате, в присутственных местах 2-й батальон л.-гв. Финляндского полка под начальством полковника А. Ф. Моллера, старинного члена тайного общества; в его руках был дворец. Относительно Моллера я должен сказать, что накануне, 13 декабря, был у него Н. А. Бестужев, чтобы склонить его на содействие с батальоном; он положительно отказался и среди переговоров ударил по выдвинутому ящику письменного стола, ящик разбился. „Вот слово мое, — сказал он, — если дам его, то во что бы то ни стало сдержу его; но в этом деле — не вижу успеха и не хочу быть четвертованным“».

Поручик Розен, только что посвященный в тайну существования общества, имевший молодую жену на сносях, тоже не очень видел успех предприятия и вряд ли так уж мечтал быть четвертованным — но отказаться не считал возможным.

Позиции определялись не абсолютной уверенностью в успехе, а готовностью или неготовностью к действию. Моллер своим согласием почти гарантировал бы успех переворота. Но он был не готов.

Едва ли полковник Моллер до конца понимал, что он делает. Объективно он совершил поступок исторический — зловещий исторический поступок.

Николай Бестужев повествует о своих переговорах с Моллером иронически. Розен говорит об этом совершенно бесстрастно. Но тогда, 13 декабря, они сознавали, что происходит нечто трагическое. Это и была одна из трагедий кануна восстания, которые, сложившись, образовали на следующий



*А. Ф. Моллер.
Литография. 1830-е гг.*

день огромную, страшную фреску гигантского перелома, рухнувшей великой надежды.

О завершении «моллеровского сюжета» рассказал на следствии Александр Бестужев: «Накануне (то есть 13 декабря. — *Я. Г.*) во 2-м часу я увидел во дворе Батенькова (он, вероятно, шел от Штейнгеля. — *Я. Г.*), собираясь сам ехать. Он спросил: „Куда?“ Я сказал, что хочется матушку увидеть, которая за два дня только из деревни приехала, да спросить брата Николая о Моллере, с которым упробил его Рылеев накануне повидаться. Он сказал: „И мне очень любопытно знать это — поедем вместе“. Мы сели в его колясочку, и я ему по-французски рассказал, на какие полки надежда есть. Впрочем, как он плохо объясняется по-французски, а по-русски нельзя было по близости кучера, да и стук колес мешал, то разговор наш был недолог и прерывен. Я выходил на минуту, чтоб поздороваться с матушкой, и мы поехали назад. Я, между прочим, сказал, что всего можно ожидать от оборота дела. И он сказал: „Конечно, так. Только, по-моему, я бы желал Елиса-вету или Михаила Павловича, он имеет добрейшую душу и скорее всех примениться бы мог к конституционным формам“. У конногвардейского манежа встретились мы с братом Николаем. Он слез с дрожки и на вопрос мой по-французски: „Что Моллер?“ — так отвечал: „Моллер решительно отказался“. Тут и Батеньков сказал: „Это худо, он может донести“. Довезши меня домой, он куда-то поехал, а я с братом Николаем, который воротился, вошел к Рылееву, где он подробно и рассказал ответ Моллера».

Во время этой встречи столкнулись два важнейших известия — о завтращней присяге и об отказе Моллера.

Если вспомнить, что братья Бестужевы готовились на следующий день с оружием в руках выводить из казарм мятежные полки, то весь этот конспективный и спокойный рассказ наполняется нервной энергией ожидания: прощание с матерью, известие об отказе Моллера, члена тайного общества, становятся драматическими

узлами последнего дня и не нужно напрягать воображение, чтобы представить себе горькую и суровую сцену у Рылеева. Моллер не донес. Он все же был человеком закваса почти декабристского. Полковник, заступающий в дворцовый караул, знает о назначенном мятеже — и не доносит. Согласимся, что это не совсем тривиальная ситуация.

Разные показания разных людей, перекрещиваясь, воссоздают общую картину: утром Рылеев с Бестужевым обсуждают «ростовцевский сюжет», едут к Торсону, Рылеев уезжает оттуда по делам, а Николай Бестужев вызывает Моллера, затем, после разговора с Моллером, спешит к Рылееву, встречает по дороге Батенькова и брата Александра, сообщает им печальную новость, Бестужевы едут к Рылееву.

Показания Николая Бестужева позволяют проследить и дальнейшее. Рылеев и Николай Бестужев обедают у матери Бестужевых. «После обеда мы поехали с Рылеевым к штабс-капитану Репину, которого Рылеев хотел видеть и узнать об успехе сделанного ему поручения склонить офицеров своего полка не делать новой присяги». (Это было особенно важно теперь, ввиду отказа Моллера и Тулубьева.) «Но как Репин был у своей сестры, то мы, захав туда, взяли его с собою и привезли ко мне. Рылеев, прося Репина подождать, отлучился куда-то часа на два, и в это время приехал ко мне Батеньков, а вскоре и Торсон; сей последний, пробыв у меня несколько минут, ушел к матушке, а мы остались одни, а как Батеньков был незнаком с Репиным, то разговор был о посторонних предметах и вскоре склонился на Карно и Лафаета). Тут нам представляется редкая возможность узнать, о чем говорили три члена тайного общества накануне восстания, в минуты передышки. «Что говорили о Карно, я того не знаю, отлучаясь несколько раз по обязанности хозяина, но о Ла-фаете говорили при мне, что случай доставил ему гораздо блистательнейшее поприще, нежели Карно, потом о приеме, который сделали ему американцы во время последнего его посещения Америки». Они толковали о Карно - «организаторе победы» революционной Франции над интервентами - и о Лафайете - герое американской революции и деятеле революции французской.

Торсон и Батеньков ушли.

Рылеев между тем не случайно просил Репина ждать его. Он поехал к Оболенскому, куда вызваны были ротные командиры, сообщить о присяге и получить свежие сведения. Вернувшись, он хотел обсудить вместе с Бестужевым и Репиным, ставшим теперь главной надеждой в Финляндском полку, новую ситуацию.

Совещание у Оболенского началось в четыре часа дня. Извещенный запиской Арбузов застал там, кроме хозяина, Рылеева, Щепина-Ростовского и еще ряд офицеров. «Только что вхожу, Рылеев и Оболенский говорят мне, что завтра присяга...»



*А. М. Муравьев.
Рисунок П. Соколова. 1822 г.*

(Заслуживает внимания, что совещание происходило на общей квартире Оболенского и Ростовцева и, значит, начальник штаба восстания 13 декабря не опасался Ростовцева и совсем от него не таился.)

Проинструктировав офицеров и назначив Арбузову быть у него в восемь часов вечера, Рылеев направился обратно к Бестужевым. По дороге он заехал за Пушиным.

«...Приехал Рылеев с Ив. Пушиным, — свидетельствует Николай Бестужев, — которые начали убеждать Репина, чтобы он употребил все усилия к склонению офицеров своего полка не делать новой присяги. Репин, хотя представил несколько оговорок, что он сказывается больным и потому не может выйти к фрунту, сверх того, что рота его стоит в деревне, но со всем тем обещал действовать на офицеров, сколько будет в его возможности, сказывая, что есть несколько человек, на которых он надеется...»

Было уже не менее шести часов пополудни, и Рылеев заторопился к себе на квартиру, куда должны были явиться члены общества. Пушкин — с ним.

Около шести часов лейтенант Арбузов, вернувшись от Оболенского в экипаж, вызвал снова фельдфебеля своей роты Боброва и сказал ему: «Теперь ты мне верь, завтра поутру будет присяга Николаю Павловичу, и куда мы денем другого царя? А потому иди в роту и объяви там, чтобы держаться как возможно первой присяги, а завтрашняя будет обман!».

В это время группа офицеров собралась у Каховского, державшего связь с лейб-гренадерами и измайловцами. Он уже побывал в тот день и у Панова, и у Рылеева.

Подпоручик Измайловского полка Фок показал: «...накануне сего происшествия, 13 декабря, пришел я вечером к подпоручику Малютину (племянник Рылеева. — Я. Г.), и он мне сказал, что есть некто Каховский, который

желает меня видеть, и что он живет у Вознесенского моста. Я было хотел к нему ехать вместе, но пришел к нему подпоручик Андреев 2-й и они поехали... а я, оставшись один, поехал к подпоручику Кожевникову объявил ему то, что мне подпоручик Малютин сказал, и мы поехали к Каховскому... У него застали мы подпоручика Андреева, Малютина и еще двух, мне незнакомых, - один свитский офицер, а другой в черном фраке О фамилии свитского офицера я спрашивал, и, сколько могу упомнить, то, кажется, что Палицын, а другого как фамилия, не знаю. Кожевников спустя несколько минут куда-то уехал, кажется, что к Рылееву, а наверно утверждать не смею. Каховский говорил нам, что присягать не должно чтобы люди имели при себе боевые патроны, что он знает, что весь Гвардейский экипаж присягать не хочет, что есть некто Якубович, которого я никогда не видел, который хочет принять на себя всем управление, и то, что нам должно будет делать во время присяги, чрез нарочно присланных для сего офицеров даст знать. После сего я и Андреев 2-й поехали от него к Кожевникову и нашли уже его дома и остальную часть времени провели у него. Тут же поздно вечером приезжал к нему опять Каховский и спрашивал, где ему сыскать подпоручика лейб-гвардии Гренадерского полка Кожевникова...».

Конспективные показания молодого измайловца Фока, несмотря на их нарочитую краткость и наивность, дают нам картину достаточно выразительную: Каховский собирал в кулак нити, ведущие к измайловцам и гренадерам. Фок наверняка умалчивает о многом из того, что обсуждалось у Каховского. Но сведения о Якубовиче, который будет распоряжаться всем, что касается моряков и измайловцев, говорят сами за себя — предстоял захват Зимнего дворца. Молодых офицеров об этом заранее не уведомляли, но их готовили к совместной с экипажем акции. Лидеры общества не без основания считали, что, выйдя во главе солдат под командованием такого яркого начальника, как Якубович, они наэлектризуются атмосферой мятежа и выполнят все, что от них потребуется.

Измайловец Кожевников после Каховского посетил Рылеева, где застал Трубецкого, Пущина и Арбузова. Рылеев подтвердил слова Каховского. Вернувшись домой, Кожевников отправил в Петергоф, где стоял 3-й батальон Измайловского полка, «своего человека» — слугу — с запиской: он сообщил подпоручику Лаппе все слышанное им в продолжение последних трех дней. В следственном деле Лаппы сохранился текст записки. Это отнюдь не просто сообщение о слышанном: «Завтрашнего дня в 10 часов назначена присяга Николаю Павловичу. Нас несколько человек решились прежде умереть, нежели присягнуть ему».

Подпоручик Фок после встречи с Каховским написал письмо отцу. Он прощался с ним, предполагая, что они, быть может, больше не увидятся, но просил, чтобы отец не огорчался, ибо сын его «если падет, то за отечество».

Измайловские офицеры готовы были действовать. В двух стоявших в столице батальонах их было шестеро во главе с ротным командиром капитаном Богдановичем.

Интенсивная подготовка шла и в Московском полку. Штабс-капитан Щепин-Ростовский, недавно еще очень далекий от всяких политических мечтаний, распропагандирован был Михаилом Бестужевым. Но для него главным в надвигающихся событиях было сохранить верность Константину.

На первом допросе Щепина-Ростовского вечером 14 декабря генерал Левашев записал: «...13 числа уже на квартире Щепина-Ростовского собрались Волков, Бестужев, Брое, князь Кудашев (а капитан Корнилов за несколько дней, по имеющимся слухам, говорил, что он ни за что не присягнет при жизни императора Константина никому другому) и клялись, что прольют последнюю каплю крови за императора Константина».

Волков и Кудашев 11 декабря были с Михаилом Бестужевым и Щепиным у Рылеева, где Александр Бестужев и Рылеев убеждали их, что, препятствуя вторичной присяге, они сделают святое дело. Это все, что сохранилось в следственных материалах. Настоящий же разговор, естественно, был более подробным и убедительным.

13 декабря у Щепина речь, судя по всему, тоже не выходила за пределы защиты прав Константина. Щепин показывал: «...я также и господина Бестужева (Михаила. — Я. Г.) перебил, когда он начал говорить о конституции, и доказал ему ясно, что она в теперешних наших обстоятельствах вредна для России, что подтвердят и господа Волков, Брое и князь Кудашев, и Бестужев клялся идти вместе с нами за цесаревича!».

«Идти за цесаревича» согласны были еще штабс-капитан Лашкевич, поручик Цицианов, подпоручик Кушелев и прапорщик Багговут.

Лидеров тайного общества эта ограниченная позиция офицеров-москвитин вполне устраивала. Им важно было, чтобы полк вышел к Сенату и блокировал здание, а проблемами конституции все равно предстояло заниматься Собору.

Офицеры Кавалергардского полка Александр Муравьев, Анненков, Арцыбашев и Горожанский обсудили положение 12-го числа и теперь ждали событий.

Сутгоф поддерживал постоянную связь между гренадерами и тайным обществом. «13-го декабря дали знать Рылееву, что 14-го будут приведены к присяге полки, в это время я был у Каховского, куда приехал за мной Гвардейского штаба прапорщик Палицын и привез меня к Рылееву».

Упомянутый Сутгофом прапорщик Палицын, подпоручик Петр Коновницын, поручик Искрицкий - офицеры Гвардейского генерального штаба — выполняли функции офицеров связи.

Если бы мы могли с достаточной полнотой проследить маршруты членов тайного общества 13 декабря, то маршруты эти покрыли бы столицу густой сетью. Как видим, производилась огромная и кропотливая работа, чтобы наладить механизм восстания, связать между собой и с рылеевским центром офицеров-исполнителей.

Якубович был всю вторую половину дня с графом Милорадовичем в гостях у драматурга Шаховского и оттуда вечером отправился к Рылееву.

Булатов провел 13 декабря в напряженном беспокойстве. Рано утром он повидал Якубовича, и они подтвердили свою договоренность вызвать на следующий день к себе Трубецкого и Рылеева. О завтрашней присяге они еще не знали. Ближе к вечеру Булатова посетил Сутгоф, который перед этим был у Каховского и Рылеева. «Я догадался, - рассказывал Булатов, что он имеет во мне надобность, вышел в другую

комнату и получил от него письмо следующего содержания: „Любезный друг! Сейчас приехал его императорское высочество великий князь Михаил Павлович ⁴³, явись завтра, пожалуйста, в 7 часов в лейб-гвардии Гренадерский полк. Любезный, честь, польза, Россия". Подписано: Кондратий Рылеев». Это было некоторое изменение прежнего плана, по которому Булатов должен был встретить лейб-гренадер по пути от казарм к площади. Булатов от этого изменения отказался. Сутгоф уехал обратно к Рылееву.

Еще до прихода Сутгофа Булатов узнал, что прибыло из Варшавы отречение цесаревича. Записка Рылеева означала, что утром будет присяга и связанный с ней мятеж.

Покая Булатов не находил. Он поехал к своим маленьким дочерям и, плача, простился с ними. «От сих невинных творений я поехал к товарищам преступного отца их. Прежде всего заезжаю к избранному мною Якубовичу; не застав его дома, оттуда — к Рылееву...»

В отличие от всех остальных активных членов общества, которые весь этот день были друг с другом связаны, неоднократно встречались, Булатов и Якубович провели его в стороне и приехали к Рылееву только вечером...

Батеньков прожил 13 декабря в растерянности. Он видел Сперанского и обменялся с ним несколькими горько-ироническими фразами.

«Мне было очень грустно, — пишет Батеньков, — и я вышел поспешно от Сперанского, сказал в другой уже зале его дочери, что всякий думает о себе, а об России никто не заботится; она указала на своего малютку, говоря, что это им предоставляется.

Пошел я домой и хотел тотчас ехать к Трубецкому, чтобы узнать у него, не будет ли чего в войсках, но остановился и, вспомнив, что дал слово обедать у градского главы или у купца Сапожникова, поехал к Прокофьеву, заезжал в другие места, но не помню куда. В рассеянности и досаде, увидев Рылеева, сказал ему, что все кончено и что мы опять присягнем по манифесту, он, казалось, оставил это без внимания. Я обратился к Бестужевым, толковал о том, что если бы взять и немного войск да пройти с барабанным боем от полка к полку, то можно бы множество произвести славных дел. Ехав в коляске с А. Бестужевым, изъявил желание видеть на престоле Елизавету Алексеевну или Михаила Павловича и, наконец, с спокойным духом пошел к купцу Сапожникову обедать, играл там на бильярде и в бостон с женщинами.

Я не верил уже, чтобы могло что-нибудь случиться... но, зайдя к Прокофьеву и увидев Рылеева, услышал от него, что завтрашним днем можно воспользоваться и что я буду во Временном правлении с Мордвиновым и Сперанским. Я говорил ему, что Сперанский не примет в таких случаях никакого места, и не расспрашивал совершенно ни о чем, ибо он тотчас меня остановил; уехал домой и лег спать.»

Интересно, что в отличие от предшествующих дней, когда Батеньков принимал активное участие в деятельности общества, в последние три дня его как-то отстраняют. Из его рассказа ясно, что с ним - человеком, которого выдвигают во Временное правление! - обсуждать конкретные шаги Рылеев воздерживался.

⁴³ Или ошибся Рылеев, или запаматовал Булатов — великий князь приехал только на следующее утро.

После того как Батеньков «сказал целую речь» против идеи захвата дворца и ареста императорской фамилии, он уже не встречался с Трубецким. «Прошло опять около трех суток, кои провел днем в одном рассеянии, а по утрам и вечерам в занятии делами, в чтении и мечтаниях, каким образом присвоить власть во Временном правлении и утвердить в России родовое вельможество...» Поскольку Батеньков говорит о трех сутках, его отстранение от активной деятельности произошло 11 декабря, то есть на следующий день после того, как он выступил против радикального плана, а Рылеев с Бестужевым обнаружили его сепаратные переговоры с Якубовичем. Эта дата подтверждается и другими расчетами.

Он по-прежнему был нужен — как правитель дел Временного правления, но подготовка к выступлению и само восстание совершаться должны были без него. Как мы помним, когда 12-го числа Батеньков находился у Николая Бестужева, с ним велись разговоры о Лафайете и Карно, но никак не о деле.

Виделись ли Батеньков и Якубович 13 декабря — неизвестно.

Вечер 13 декабря

Государственный совет, на котором должны были быть оглашены документы, подтверждающие отречение Константина, и манифест о восшествии на престол Николая, по настоянию нового императора назначили на восемь часов вечера.

До этого Николай вызвал к себе командующего Гвардейским корпусом Воинова, уведомил его о предстоящей на завтра присяге, повелел собрать утром всех полковых командиров и генералов гвардии.

Воинов отдал соответствующее распоряжение начальнику штаба корпуса генералу Нейдгардту 2-му. Нейдгардт немедленно разослал следующую бумагу:

«Циркулярно по секрету

Начальник штаба Гвардейского корпуса генерал-майор Нейдгардт 2-й имеет честь уведомить, что г. командующий Гвардейским корпусом приказать изволил завтрашнего дня, то есть 14 числа сего декабря, в 7 часов утра всем г. г. генералам, полковым командирам, равно командирам л. г. Саперного батальона, Гвардейского экипажа и Артиллерийских бригад, явиться в Зимний дворец к его императорскому высочеству государю великому князю Николаю Павловичу. Одетым быть в полной парадной форме, а г. г. генералам в лентах»⁴⁴.

Члены Государственного совета между тем ждали появления Николая а Николай ждал приезда Михаила Павловича, чтобы представить его государственным мужам как непосредственного свидетеля позиции Константина. Михаил, поздно получивший вызов в столицу, опаздывал.

Наконец в половине одиннадцатого Николай решил действовать не дожидаясь брата. Он отправился в залу, где заседал совет.

«Подойдя к столу, я сел на первое место, сказав:

— Я выполняю волю брата Константина Павловича.

⁴⁴ ОР РНБ, ф. 380, № 58, л. 9 об.

И вслед за тем начал читать манифест о моем восшествии на престол».

В то время, когда члены Государственного совета ждали великого князя Николая, на квартиру Рылеева приехали из дома Сперанского члены общества капитан Корнилович и обер-прокурор Сената Краснокутский, побывавшие уже у Трубецкого, но не заставшие его. Они привезли точные сведения о завтрашней присяге.

Краснокутский сообщил, что Сенат собирается для присяги в семь часов утра.

В нашей исторической литературе существует мнение, что Николай, извещенный Ростовцевым о плане восстания, специально назначил присягу Сената на столь ранний час, чтобы лишить возможности мятежные полки захватить сенаторов на заседании.

Это неверно. Декабристы и не рассчитывали успеть с солдатами на площадь к сенатской присяге. Они знали, что полки присягают после правительственных учреждений. Им было известно, что присяга в полках начнется не ранее восьми утра, а до начала присяги они и не надеялись поднять солдат. Еще днем 13 декабря на встрече у Оболенского Рылеев говорил Арбузову, что войска будут присягать в семь или восемь утра. А Булатову, как мы знаем, предлагал быть в казармах гренадер в семь часов. Вечером же, увидевшись с Булатовым, назначил сбор на восемь утра 14 декабря, ибо очевидно было, что между началом присяги Сената и присягой войск должно пройти время.

Кроме того, семь утра вовсе не было для Петербурга той поры ранним временем.

Лидеры тайного общества не сомневались, что ежели им удастся совершить переворот, арестовать императорскую фамилию и взять под контроль здание Сената, то собрать сенаторов с помощью сенатских курьеров будет несложно. Застанут они сенаторов в Сенате или нет - их совершенно не волновало. Во всяком случае, нет ни одного указания, что они беспокоились по этому поводу. Зато есть прямые свидетельства, что они намеревались созвать сенаторов уже после выхода войск. Якубович утверждал, что восставшие хотели «восклицаниями собрать Сенат», «кричать „Ура, Константин!», пока не соберется Сенат».



Смотр гвардии. Силуэт работы Ф. П. Толстого. 1820-е гг.

Якубович, разумеется, дал здесь весьма приблизительный вариант. Но нам важно его представление об очередности действий — сперва вывести войска, а потом созывать сенаторов.

13 декабря члены тайного общества начали сходиться у Рыльева между семью и восемью часами вечера. Приехали Арбузов, Михаил Бестужев, Михаил Пущин, Репин, пришел Александр Бестужев. Приехали Краснокутский и Корнилович с сообщением о часе присяги. Затем приехал Трубецкой.

Все уже было решено. Но Трубецкой решил еще раз проверить готовность офицеров и реальность вывода войск. Его — едва ли не единственного — мучила мысль о солдатах, которых они могут зря погубить в случае заведомого поражения.

«13-го числа, когда я пришел к Рылеву, — показывал князь Сергей Петрович, — я нашел уже несколько человек. Репин оказывал неуверенность, чтоб можно было вывести Финляндский полк, если даже солдаты и откажутся от присяги (на последнее он надеялся); Бестужев (Московский) также говорил, что он не может вывести роту, когда другие роты не тронутся, и оба они спрашивали, что делать в таком случае? Я отвечал, чтоб стараться поддержать солдат в отказе от присяги до тех пор, как услышат, что какой другой полк вышел или что прочие присягнули; в последнем случае делать нечего, а в первом, услышавши, что другой полк вышел, то и их полк, верно, выйдет». Это утверждение вполне правдоподобно. Трубецкой, как мы знаем, считал главным и решающим моментом действия захват дворца. Ни москвичи, ни финляндцы не имели к этому отношения. Первыми должны были выйти Гвардейский экипаж и, возможно, измайловцы — ударная группа. После их выхода и успеха — а при своевременном выступлении успех был гарантирован — другие подготовленные части, безусловно, последовали бы их примеру. О чем и говорил диктатор. Если срывается первая акция восстания, считал Трубецкой, проблематично и все остальное.

Но Рыльева такая позиция не устраивала. Именно в этот вечер с абсолютной откровенностью выявилась разница в подходе Рыльева и Трубецкого к самой сути революционного действия. Трубецкой, и в этом он сходился с Николаем Бестужевым,

полагал целесообразной только хорошо подготовленную в военном отношении операцию с высокими шансами на успех.

Для Рылеева драгоценен и безусловен был сам факт восстания, вне зависимости от непосредственного результата.

Далее Трубецкой рассказывает: «Рылеев на это вскричал: „Нет, уж теперь нам так оставить нельзя, мы слишком далеко зашли, может быть, нам уже и изменили“. Я отвечал: „Так других, что ли, губить для спасения себя?“ Бестужев (адъютант) возразил: „Да, для истории" (кажется, прибавил: „страницы напишут"). Я отвечал: „Так вы за этим-то гонитесь?!"».

Столь резко они разговаривали между собой впервые.

Мы помним, что сказал Рылеев Розену накануне, 12-го числа: «Все-таки надо». Несмотря ни на что. Это была его главная идея. Николай Бестужев вспоминал потом слова, которые Рылеев повторял в те дни: «Тактика революций заключается в одном слове: дерзай!».

Но Трубецкому была чужда подобная тактика. Он продолжал беседовать с ротными командирами, призывая их мыслить и действовать реалистично. Почти все они на следствии это подтвердили.

Быть может, из-за происшедшего столкновения Рылеев поздно вечером 13 декабря просил Штейнгеля написать свой вариант манифеста для Сената: «Напиши, пожалуйста, на всякий случай». Видимо, он не намеревался отступать и в том случае, если Трубецкой сочтет восстание бессмысленным.

Надо иметь, однако, в виду, что Трубецкой на следствии старался преувеличить свою осторожность и нерешительность, равно как и нерешительность многих других. Штейнгель, наблюдавший происходящее в тот вечер на квартире Рылеева, оставил несколько иную картину, схожую по темам и направлению разговоров, но с иным градусом настроения: «Пушин ручался за своего брата и за некоторых офицеров конной артиллерии, что они дали слово не присягать... Репин заверил, что за часть Финляндского полка он отвечает. Бестужев Николай и лейтенант Арбузов отвечали за Гвардейский экипаж; Бестужев Московского полка — за свою роту. Корнилович, если это точно он, высокий, белокурый, торжественно уверял, что во второй армии сто тысяч готовы и что он ручается головою». С одной стороны, Штейнгель утверждает, что вечером 13 декабря заговорщики «уверились в силе», но с другой - подтверждает, что Трубецкой, когда все разошлись, при нем, Штейнгеле, «говорил Рылееву тихо, что „если увидим, что на площадь выйдут мало, рота или две, то мы не пойдем и действовать не будем", с чем и Рылеев согласился».

Арбузов и Репин отправились в казармы своих частей. (Арбузов позже вернулся.) Их сменили другие. Приехал Сутгоф: «Когда я приехал с Пали-Цыным к Рылееву, я там застал Гвардейского экипажа Кюхельбекера, ^{иняя} Трубецкого, Бестужева (Александра. — Я. Г.), коннопионерского офицера (Михаила Пушина. -Я. Г.) и измайловского (Кожевникова. — Я. Г.), графа



*И. П. Коновницын.
Рисунок К. Гаммельна. 1820-е гг.*

Коновницына 1-го и еще одного офицера Гвардейского генеральского штаба (Искрицкого. — Я. Г.)».

Палицын из этого посещения запомнил еще Корниловича.

Рылеев дал штабным офицерам Палицыну, Коновницыну и Искрицкому задание на утро 14 декабря — объезжать полки, следить за прохождением присяги и координировать действия членов общества в разных полках.

Затем, по свидетельству Сутгофа, Рылеев поехал в Финляндский полк. Однако он скоро возвратился. С кем он виделся у финляндцев — можно лишь гадать. У Розена он не был. Репин только что покинул его квартиру. Остается — Тулубьев.

Приехали Щепин-Ростовский и Одоевский. Приехал, расставшись с Милорадовичем, Якубович. Милорадович отправился во дворец — на заседание Государственного совета, а Якубович — в штаб завтрашнего восстания.

В докладе Следственной комиссии, суммировавшем сведения, полученные в ходе допросов, сказано: «Собрание их в сей вечер (13 числа) было столь же многочисленно и беспорядочно, как прошедшее: все говорили, почти никто не слушал». Кроме желания представить тайное общество сборищем буйных и беспомощных на деле фантазеров и крикунов, следователи искренне не видели за внешними проявлениями возбуждения и энтузиазма последовательной, упорной и строгой организационной работы лидеров общества. Но мы знаем, что на «прошедшем» собрании, 12 декабря, были приняты важные решения, четко распределены роли; 13 декабря под слоем неизбежной суеты, смены лиц, нервозности, сомнений составители доклада тоже просмотрели последние приготовления к восстанию и резкие столкновения позиций. То, что они пытаются представить разнузданным фарсом, было прологом высокой трагедии.

Но это бурление поверхности и атмосфера взвинченного ожидания и на самом деле были. И не могли не быть. К восстанию готовились не холодные аскеты или твердолобые фанатики. К восстанию готовились молодые страстные люди, любившие жизнь. Они готовы были умереть, но куда больше жаждали победить. За несколько часов до решительного момента общеполитические соображения, примеры древних героев и романтический патриотизм отступили - перед молодыми гвардейцами оказалась неумолимая реальность, требовавшая конкретных действий, хладнокровных, целеустремленных, а то и жестоких. И вели они себя в эти последние часы по-разному.

Очевидно, в тот вечер Якубович, верный своей любви к завышенным декларациям, которые он вовсе не склонен был реализовать, предложил разбить кабаки, вынести из церкви хоругви и идти ко дворцу — гипертрофированный вариант идеи Батенькова «приударить в барабан», «собрать толпу и заставить вести с собой переговоры».

Михаил Бестужев через тридцать с лишним лет в воспоминаниях воспроизвел именно атмосферу последних часов, сведя в рылеевской квартире всех, кто был в ней в разные промежутки времени: «Шумно и бурливо совещание накануне 14 в квартире Рылеева. Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно-высоконастроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобноисполнимые предложения и распоряжения, слова без дел...».

Было и это. Но сам же Бестужев пишет, что там присутствовали люди, которые — как он и Сутгоф — оставались спокойны и деловиты. И в них была суть происходящего...

Щепин, Михаил Бестужев отправились в свой полк.

Между одиннадцатью и двенадцатью часами Александр Бестужев и Якубович (возможно, вместе с Арбузовым) уехали в Гвардейский экипаж. Бестужев повез Якубовича посмотреть заранее, где расположены казармы гвардейских матросов, и познакомить его с офицерами, которых Якубовичу предстояло по плану возглавить на следующее утро.

Механизм был запущен сильно и умело. Все казалось выполнимым.

Отступление о цареубийстве

В начале первого часа Николай вышел из залы, где заседал Государственный совет, и пошел в свои комнаты. Он шел мимо вытягивавшихся при его появлении конногвардейцев, стоявших во внутреннем карауле. Командовал внутренним караулом князь Александр Одоевский.

Перед тем как лечь спать, Николай сказал Александре Федоровне, своей супруге: «Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество и, если придется умереть, — умереть с честью»-

Его предчувствия были небезосновательны не только потому, что династия могла быть отстранена от власти. В доме Российско-Американской

компании на Мойке, совсем недалеко от Зимнего дворца, соратниками начальника внутреннего караула в этот день многократно обсуждалась проблема царевубийства.

Вопрос - что делать с императорской фамилией после победы восстания, - естественно, обдумывался в Северном обществе и раньше. Мнения расходились: от уничтожения до вывоза морем за границу. Но тогда прения носили теоретический характер, теперь - через несколько часов - этот вопрос, быть может, пришлось бы решать практически и радикально.

Потенциальный царевубийца Якубович предназначался для другого дела. Главной фигурой в этом плане стал в канун восстания Каховский. Каховский, «ходячая оппозиция», как назвал его Рылеев, человек раздираемый противоречивыми страстями и тенденциями, - герой-одиночка и целеустремленный организатор, убежденный сторонник народовластия, подозревающий даже Рылеева в излишнем властолюбии, и поклонник сильной личности в революции, человек с трезвым пониманием экономических и политических бед России и романтический тираноборец. Каховский, резко возражавший против мгновенной мысли Рылеева зажечь Петербург в случае отступления, «чтоб и праха немецкого не осталось», и «пламенный террорист», по выражению Штейнгеля, кричавший 12-го числа: «С этими филантропами ничего не сделаешь; тут просто надобно резать, да и только».

Отношения Каховского и Рылеева в продолжение 1825 года — с тесной дружбой, расхождениями, новыми сближениями, принципиальными спорами, но с конечной неразрывностью уз, ибо они были необходимы друг другу, — являют собой многосложный сюжет для отдельной книги. Сейчас мы коснемся одного аспекта — царевубийства.

Рылеев, удержавший в свое время Якубовича — по видимости, неуправляемого, — исподволь готовил вместо него Каховского. Царевубийству и самопожертвованию посвящались их долгие беседы и споры. В дни междуцарствия Каховский был готов к своей роли, хотя его мучили сомнения, что его «полагают кинжалом», орудием чужих целей, «ступенькой для умников».

Царевубийство не входило как существенный компонент в план Трубецкого. Это была сфера Рылеева. Хотя и другие лидеры общества понимали, насколько устранение Николая облегчило бы захват власти.

Уже после полуночи - в ночь с 13 на 14 декабря - Оболенский приехал к Рылееву (можно с уверенностью сказать, что он не присутствовал на последнем собрании в штаб-квартире общества только потому, что завязывал последние организационные узлы). Он хотел узнать об окончательных решениях. Застал у Рылеева Пущина и Каховского, а вскоре к ним присоединился Александр Бестужев.

Оболенский рассказывал следователям об этой встрече: «После нескольких минут разговора он (Каховский. — Я. Г.) и Пущин надели шинели, чтобы ехать, я сам уже прощался с ним, как Рылеев при самом расставании нашем подошел к Каховскому и, обняв его, сказал: „Любезный друг, ты сир на сей земле, ты должен собою жертвовать для общества — убей завтра императора". После сего обняли Каховского Бестужев, Пущин и я. На сие Каховский спросил нас, каким образом сие сделать ему. Тогда я подал мысль надеть ему лейб-гренадерский мундир и во дворце сие исполнить. Но он нашел сие невозможным, ибо его в то же мгновение узнают. После сего предложил не помню кто из предстоящих на крыльце дожидаться прихода государя, но и сие было отвергнуто как невозможное».

Оболенский — по вполне понятной причине - последней фразой смягчил ситуацию. Александр Бестужев внес существенные коррективы: «Когда, воротясь из экипажа, вошел я в кабинет Рылеева, Оболенский и Пущин на выходе целовали Каховского; когда я сделал то же, прощаясь с ними, Рылеев сказал мне: „Он будет ждать царя на Дворцовой площади, чтоб нанести удар"».

Для Рылеева царсубийство должно было предшествовать захвату дворца или совпасть с ним по времени.

Трубецкой об этом замысле узнал только на следствии.

Ночь на 14 декабря

Вернувшись от Рылеева в казармы Гвардейского экипажа, Арбузов сообщил сослуживцам о завтрашней присяге и постарался воодушевить и укрепить их. Было уже за полночь, но никто из офицеров-моряков не спал.

Мы не знаем, разумеется, всего, что происходило в экипаже, но главная ситуация ночных часов известна нам из показаний мичмана Дивова, подтвержденных другими показаниями.

Дивов поздно приехал в казармы — на квартиру, где он жил вместе с братьями Беляевыми. У них сидели лейтенант Бодиско, мичман Бодиско и Измайловский поручик Гудимов. «Они мне сказали, что великий князь Константин Павлович отказался от престола и что поутру будет присяга». И далее идет эпизод очень характерный: «Гудимов рассказывал, что слышал от Львовых (измайловские офицеры. - Я. Г.), что сейчас у отца их был член Совета Мордвинов и что он, уезжая во дворец для принятия присяги, говорил: „Может быть, я уже более не возвращусь, ибо решился до конца жизни противиться сему избранию", - а обращаясь к детям Львова, сказал: „Теперь вы должны действовать"».

Лейтенант Бодиско передает тот же эпизод подробнее и в более резких тонах: «...г. Гудимов, будучи у г. Беляевых 13 числа, сказал: Государственный совет собирается во дворце, адмирал Николай Семенович Мордвинов объявил бывшим у него офицерам гвардии (назвав г. Львовых): „Совет призывают для принесения присяги новому императору", — что он до последней капли крови будет защищать правое дело, и стыдно будет им, господам офицерам, „буде не последуют его примеру". Вскоре после этого пришел г. Арбузов и присовокупил, что адмирала не пустили в Совет и он уже возвратился домой. Еще г. Гудимов уверял, что во все полки были подсылаемы



*Н. С. Мордвинов.
Гравюра с портрета работы Д. Доу.
1820-е гг.*

лазутчики, которые донесли, что все солдаты расположены быть верными данной ими присяге».

Бодиско добавляет еще один весьма важный штрих, который упустили и Дивов, и Беляевы: «Когда г. Арбузов пришел к г. Дивову, г. Гудимов хотел ему говорить, но первый, остановив его, спросил: „Да ты когда там был?“ На ответ г. Гудимова, что он был поутру, г. Арбузов возразил, что он сей час оттуда». Речь здесь может идти только о квартире Рылеева. И стало быть, измайловец Гудимов предстает активно сочувствующим тайному обществу агитатором.

Маловероятно, чтобы Мордвинов столь определенно призывал братьев Львовых к неповиновению. Но на пустом месте такие легенды не возникают. Тем более что Львовы, как и Гудимов, были связаны с тайным обществом. Следствие располагало сведениями, что Львовых предупредил о будущем восстании подпоручик Ростовцев.

(Как бы то ни было, мы точно знаем, что утром 14 декабря перед присягой гвардейские офицеры просили совета у Мордвинова. Его дочь вспоминала: «...прибежал к отцу Г. Д. Столыпин, в большом смущении и со слезами спрашивал: что делать? „У меня три сына, молодые офицеры гвардии, приказано сегодня присягать Николаю Павловичу, Г... уверяет, что Константин Павлович не отрется"». Графиня Мордвинова в воспоминаниях старалась всячески доказать верноподданность покойного отца. По ее словам, адмирал посоветовал Столыпину присягать. Но главное здесь то, что именно к Мордвинову в утро перед мятежом обратились за столь рискованными разъяснениями.)

Очевидно, состоялся некий разговор оппозиционного адмирала с молодыми офицерами, который они истолковали в своем духе, и, скорее всего, не без оснований. А декабристы немедленно превратили это толкование в средство агитации.

Дивов вслед за Бодиско подтверждает, что Арбузов вошел во время рассказа Гудимова и сообщил, что Мордвинов вернулся домой. Затем Арбузов сказал

офицерам: «Господа, зная ваш образ мыслей, кажется, я могу говорить с вами открыто. Завтра, вы знаете, что будет присяга; мы не должны присягать и приготовить к тому и роты. Завтра, когда люди откажутся от присяги, пользуясь сим, выведем роты на Петровскую площадь, где уже будут все полки, и там принудим Сенат утвердить составленную давно уже конституцию, чтобы ограничить государя». Обратясь к Бодиско, сказал: «Вероятно, и вы не откажетесь содействовать?» — но Бодиско ему отвечал, что он со своею ротою не будет: «Ибо как могу действовать, не зная вашего плана. Вы бываете между теми, с которыми составили заговор, вы знаете весь план и, может быть, даже уверены в хорошем окончании оногo; я же, не зная ни плана, ни одного из ваших сообщников, как могу вам дать слово к содействию». После сего ответа Арбузов старался уверить, что опасаться неудачи нечего, что все полки будут на площади и что он и сам всего плана не знает, но то лишь, что нужно ему самому делать, и открыл ему лишь то, что можно, что «если вы точно не на словах показывали любовь к отечеству, то не должны ли, оставя самолюбие, действовать всеми силами». Бодиско еще колебался. И Арбузов ушел, сказав, что у него гости.

Но, в отличие от лейтенанта Бодиско, трое мичманов, присутствовавших при этом разговоре (Гудимова уже не было), безоговорочно согласились действовать.

Гости, о которых упомянул Арбузов, — Якубович с Александром Бестужевым. Об этой важной встрече мы, к сожалению, имеем только свидетельство старшего Беляева, пришедшего в самом конце ее. А по косвенным данным ясно, что Якубович разговаривал с несколькими ротными командирами. Когда братья Беляевы явились к Арбузову, Якубович с Бестужевым собрались уже уходить. Якубович стоял со шляпой в руке. Желая ободрить молодых моряков и не упустить случая покрасоваться, он сказал им: «Господа, хотя я и не сомневаюсь, чтобы вы не были храбры, но вы еще все никогда не были под пулями, и я вам покажу пример собою». Тут и он, и Бестужев уверили мичманов в сочувствии гвардии их общему делу и в несомненности успеха.

Конечно же, эти протокольные записи, даже при обилии живых деталей, не дают представления о той атмосфере суровой целеустремленности (Арбузов), колебаний (лейтенант Бодиско), восторженного энтузиазма (Дивов, Беляевы), в которой проходили эти часы. «Когда мы остались одни с Беляевыми, - рассказывал двадцатилетний Дивов, - то восхищались торжеством, если будет удача, и воображали, как народ нас будет приветствовать как избавителей».

Большинство офицеров-моряков готово было наутро следовать за Якубовичем. Однако суть их предназначения - захват дворца - знал лишь Арбузов. Вероятно, было решено открыть им истину, только когда мощная

инерция восстания исключит всякие колебания, а героическая фигура Якубовича, его красноречие и темперамент увлекут даже слабодушных.

Якубович отправился домой, Бестужев — к Рылееву.

Тогда же в дом Российско-Американской компании приехал Булатов, заезжавший перед тем к Якубовичу, но разминувшийся с ним. «„Здравствуйте, друзья мои, я сделал для вас всех то, что тяжелее было для меня всего на свете, я простился с милыми моими сиротками", - и слезы покатались из глаз моих. Бестужев принял во мне участие и сквозь слезы проговорил, обратя взор к небу: „Боже, неужели отечество не усыновит нас?" - „Ну, оставьте это", — сказал я им; требовал, чтобы Рылеев сказал мне, как он распорядился и много ли мы имеем силы. Он насчитал мне очень довольно, и вот они: Измайловский целый полк, Финляндский батальон, Московские две роты, лейб-гренадер две роты, экипаж весь, кавалерии будет часть и также артиллерии. Рылеев говорит, что Якубович поехал в батальон экипажа с ними говорить и поведет их; мне это стало досадно потому, что я дал ему слово защищать друг друга. Я опять сказал ему, что если войска не придут и их будет мало, то я не потеряю даром детей и моего имени и действовать не буду; распоряжения одни и те же и нового только, что в 8 часов собраться».

В булатовском тексте, как всегда, много сведений и смысла.

Не вызывает сомнений, что в ночь с 13 на 14 декабря вожди общества были уверены в Измайловском полку — по настроению молодых офицеров; в 1-м батальоне Финляндского полка, которым командовал Тулубьев, поскольку 2-й батальон Моллера шел в караул (и породил эту уверенность, скорее всего, результат вечерней поездке Рылеева в полк); с ротами мос-ковцев Михаила Бестужева и Щепина и лейб-гренадерами все было ясно и ранее; в экипаже находились верный Арбузов и несколько офицеров, готовых идти за Якубовичем. Рассчитывали они и на кавалерию — имелся в виду коннопионерный эскадрон младшего Пушкина, и на артиллерию — конноартиллерийскую бригаду, с которой был связан старший Пушкин.

На исходе 13 декабря тайное общество располагало внушительными и преимущественно надежными силами. Дело было за четкостью исполнения приказаний диктатора.

Булатов уехал, недоумевая, почему Якубович все же взялся исполнять план Трубецкого, когда они словом обязались ориентироваться друг на друга...

Первый эпизод надвигающихся событий произошел еще поздним вечером.

Ротный командир Преображенского полка, а впоследствии генерал-адъютант Игнатъев вспоминал: «Во 2-ю роту, составленную из молодых солдат, вошел внезапно незнакомый офицер в адъютантском мундире ⁴⁵. Польстив нижним чином уверением, что вся гвардия ждет от них примера и указания, объявил он в превратном виде о назначении на следующее утро присяги государю императору Николаю Павловичу и уверял, что он собою пожертвовал, чтобы спасти первый полк русской гвардии от присяги, дерзновенно называемой им клятвopеступлением. Фельдфебель ⁴⁶, человек умный и вполне надежный, послал предупредить начальство и убеждал

⁴⁵ Александр Чевкин (брат сенатора), бывший адъютантом Витебского генерал-губернатор: князя Хованского, ныне генеральный консул в Норвегии. (Примеч. Игнатъева.)

⁴⁶ Дмитрий Косяков, бывший впоследствии полицмейстером Павловска, уволен от службы полковником.



*Великий князь Николай Павлович.
Гравюра с портрета работы О. А.
Киренского. 1818 г.*

Чевкина прекратить пагубные рассказы, но безуспешно. Выведенные из терпения его дерзостью, нижние чины объявили Чевкину, что они его не выпустят. На беду, не случилось в казармах ни ротного, ни батальонно-го, ни полкового командиров. Пришел дежурный по батальону, перед тем прикомандированный из армии офицер, князь Урусов, товарищ Чевкина по Пажескому корпусу. Чевкин встретил его жалобами (на французском языке) на грубость нижних чинов и угрозами, что он известит начальников о его неисправностях. Урусов, сам испуганный, повелительным голосом приказал его выпустить. Тотчас после его отъезда Косяков доложил начальству обо всем, и в продолжение ночи Чевкин был отыскан и арестован... В тяжком волнении длилась бесконечная ночь».

Эпизод этот странный и непонятен по сию пору. Плохо верится, чтобы Чевкин действовал сам по себе. Известно, что лидеры общества думали о способах воздействия на преобращенцев, стоявших рядом с дворцом и представлявших собой главную опасность при попытке ареста Николая и его семейства. Не установлено никаких связей Чевкина с обществом. Но и связей Рылеева с измайловцем Гудимовым (переведенным после 14 декабря из гвардии в армию) тоже нет на поверхности. Очевидно, мы плохо знаем этот второй ряд декабристской периферии.

Во всяком случае, появление Чевкина в казармах рядом с Зимним дворцом было зловещим признаком...

Государственный совет не оказал сопротивления воцарению Николая, потому что было уже ясно, что Константин трона не примет. Хотя некоторые из членов совета — Милорадович, Сперанский, Мордвинов — могли с надеждой ждать завтрашнего утра.

Николай понимал, что через несколько часов решаться будет не просто вопрос престолонаследия, но вопрос его жизни и существования династии. Он понимал: ему понадобится максимум аргументов, чтобы, если вспыхнут волнения, убедить гвардейские полки в справедливости и законности второй присяги. Он понимал, что заговорщики предложат гвардии свои аргументы, что козырей у них много и, быть может, главный из них — его, Николая, репутация. И потому необходим был великий князь Михаил, живой свидетель отречения Константина. Более популярный среди солдат, умеющий разговаривать с солдатами.

А Михаила Павловича все не было. На разбитой, заметенной снегом ночной российской дороге могло произойти что угодно.

Николай с ужасом думал, что присяга начнется в отсутствие Михаила. Он послал своего флигель-адъютанта Василия Перовского на заставу, через которую должен был въехать в город великий князь.

Перовский вспоминал: «Что касается собственно меня, то к вечеру 13 числа и ночь с 13-го на 14-е я провел на Нарвском въезде в ожидании е. и. в. кн. Михаила Павловича, коего государь император повелел мне предупредить, что утром 14-го числа назначена войсковая присяга».

Николай опасался, как бы его брат, не зная серьезности положения, не отправился прежде всего отдыхать с дороги. Перовскому было предписано, перехватив Михаила Павловича на заставе, объяснить ему ситуацию и немедля везти во дворец. Волею обстоятельств младший брат стал для Николая залогом спасения. И, как мы увидим, император не преувеличивал. Задержись Михаил на два-три часа — пала лошадь, сломался экипаж, — и события могли пойти по-иному.

Караул на Нарвской заставе несли солдаты Московского полка. Начальником караула был подпоручик Кушелев. Вместе с Перовским они коротали часы этой тревожной ночи. Перовский подробно рассказывал подпоручику о причинах междоусобицы и переприсяги.

«Среди ночи Кушелева вызвали из караульной на улицу. То были Щепин и, кажется, Бестужев, приехавшие уговаривать Кушелева не присягать государю императору Николаю Павловичу. Но офицер этот, предваренный мною, не поддавался злонамеренным внушениям и удержал от того свою команду».

Перовский ошибся. К Кушелеву приезжали Михаил Бестужев и князь Кудашев, который членом общества не был, но вошел в проконстантиновскую группу,



Зимний дворец. Литография К. Бегрова. 1820-е гг.

созданную Бестужевым. Зачем же они оказались среди ночи на краю города? Та часть роты Кушелева, что стояла в карауле, все равно не успевала в казармы к присяге, да она и не была решающей боевой силой.

Пресняков, не склонный к беспочвенным предположениям, выдвигает любопытную версию: «...надо полагать, что их (Бестужева и Кудашева.— Я. Г.) мыслью было склонить на свою сторону начальника караула, с его помощью не пропустить в город Михаила или его арестовать, так как приезд этого представителя Константина грозил, как было им ясно, сорвать их агитацию в войсках»⁴⁷.

Если это так, — а иначе трудно объяснить ночной вояж Бестужева, — то перед нами еще одно свидетельство, что план действий был продуман руководителями общества куда подробнее и основательнее, чем это выявилось на следствии. Эпизод с Кушелевым, скажем, вообще не всплыл.

Такая акция, как арест москвичами великого князя, шефа полка, почти не выполнимая в иных условиях, была реальна в данном случае, ибо Кушелев, как караульный начальник, обладал исключительной властью и мог, убеждая солдат, сослаться на инструкцию свыше, привезенную Михаилом Бестужевым. Бестужев был в ту ночь дежурным по караулам, и, таким образом, соблюдалась полная видимость законности. Для солдат это было крайне важно.

Однако столь значимая акция, которая могла иметь серьезнейшее влияние на ход событий, сорвалась из-за присутствия в карауле флигель-адъютанта полковника

⁴⁷ Пресняков А. Е. *14 декабря 1825 года. Л., 1925. С. 105.*

Перовского. И дело тут, скорее всего, не в его разъяснениях, а в том, что его присутствие, его вмешательство как непосредственного представителя высшей власти могло нейтрализовать в решающий момент приказ Кушелева...

Поручика Розена разбудил ночью вестовой, который принес приказ командира полка всем офицерам собраться на его квартире к восьми часам утра (Розен пишет в воспоминаниях о семи часах, но это ошибка - к семи часам полковые командиры вызваны были во дворец). «Сон прошел; с женою рассуждали об обязанностях христианина, гражданина, о предстоящих опасностях, о коих в эти последние дни мы беспрестанно беседовали; я мог ей совершенно открыться, - ее ум и сердце все понимали. Наконец, с молитвою предались воле божьей». (Розен женился в апреле 1825 года на сестре своего сослуживца и друга Ивана Малиновского, лицейского товарища Пушкина. Посаженной матерью на свадьбе была жена полковника Тулубьева. Гостей развлекал поручик Финляндского полка Павел Греч — остряк и балагур, брат известного литератора...)

Мичман Петр Бестужев, пришедший после полуночи к брату Александру, увидел, что тот заряжает пистолеты.

Истерзанный сомнениями, Булатов почти не спал в эту ночь — писал прощальные письма, приводил в порядок бумаги, молился...

Не спал Якубович, взвешивая возможные варианты поведения.

Кончалась ночь рубежа. Начинался день 14 декабря, который сам по себе станет огромной эпохой, огромным, необозримым историческим пространством.

В эти ночные часы шансы тайного общества на победу были гораздо выше, чем у Николая. В случае выполнения плана Трубецкого растерявшемуся и внутренне готовому к катастрофе императору с его многочисленными сторонниками нечего было бы противопоставить стремительному удару заговорщиков.

Наступал великий день 14 декабря...

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. ВЛАСТЬ И ГВАРДИЯ.

Солдаты реформ	4
Пушки на Истре	6
Политика по-гвардейски	8
Завоеванная страна	17
Заботы Верховного тайного совета	19
Политические аргументы	21
«Зверски в отчаянии живут...»	29
Великий обман	34
Наследники века	47
Старшие	47
Младшие	54
Поиски тактики	58
Рубеж	60

Часть вторая. МЕЖДУЦАРСТВИЕ.

Застольная беседа о судьбе престола	64
О чем говорили генерал и полковник 19 ноября 1825 года	67
Аничков дворец, 25 ноября	71
Тайное общество, 26 ноября	76
Зимний дворец, 27 ноября	78
Отступление: романтический герой в сфере практической политики	80
Тайное общество, 27 ноября	86
Зимний дворец, 27 ноября	88
Константин и Николай: за и против	90
«Единообразие есть лутчая краса в массе», или эпистолярный автопортрет генерала Желтухина 1-го	95
Отступление: рационалист в сфере практической политики	98
Оппозиция обиженных	100

Тайное общество. 27 ноября	103
Зимний дворец. После 27 ноября	105
Варшава. 25 ноября	108
Тайное общество. После 27 ноября	109
Петербург — Варшава. После 27 ноября	111
Сила крайностей	113
Тайное общество. После 6 декабря	114
Генералы	115
Тайное общество. Мобилизация сил	118
Стратеги	121
Диктатор	123
Финляндский полк. 9—12 декабря	127
Зимний дворец. 12 декабря	129
Полковники	132
Феномен Ростовцева	135
Сильные персоны	140
Что задумали Трубецкой и Рылеев	144
Батеньков и Якубович	149
Тайное общество. 12 декабря, вечер	151
Феномен Милорадовича	155
День 13 декабря	159
Вечер 13 декабря	164
Отступление о царубийстве	166
Ночь на 14 декабря	167

Горди́н Я. А.

Г68 Мятеж реформаторов: Драма междуцарствия: 19 ноября-13 декабря 1825 года. Книга 1. — (Серия: Былой Петербург. Цикл: Русский дворянин перед лицом истории). — СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2006. — 288 с, илл.

ISBN 5-89803-150-2 (кн. 12)

ISBN 5-89803-009-3

Второй том цикла «Русский дворянин перед лицом истории» посвящен политической истории русской гвардии и роковому финалу этой истории — мятежу гвардейцев против имперской власти.

Восстание 14 декабря оставило трагический след в истории России, и потому интерес к этому событию не ослабевает. В первой части книги «Мятеж реформаторов», названной «Драма междуцарствия», автор рассказывает о роли русской гвардии в политической истории страны и подробно исследует головоломную ситуацию, возникшую после смерти Александра I, — с дворцовыми интригами, борьбой генеральских группировок и энергичными действиями лидеров Северного тайного общества по подготовке вооруженного переворота. Автор предлагает свои решения загадочных ситуаций и труднообъяснимых поступков некоторых участников событий, отыскивает смысл и логику там, где они, казалось бы, отсутствуют...

УДК 008

ББК 84. Р